академия
наук
СССР

Старинная русская повесть

АКАДЕМИЯ НАУК С.С.С.Р.
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМ. А. М. ГОРЬКОГО



СТАРИННАЯ РУССКАЯ ПОВЕСТЬ

СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Н. К. ГУДЗИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1941 ЛЕНИНГРАД

ОТ РЕДАКТОРА

Публикуемые в настоящем сборнике исследования и материалы по старинной русской повести выделены из числа докладов, прочтенных и обсужденных в Отделе древнерусской литературы и литературы XVIII века Института мировой литературы им. А. М. Горького Академии Наук СССР.

Несмотря на то, что старинная русская повесть в деле уяснения нашего далекого литературного прошлого представляет очень большой интерес, она далеко еще не может считаться изученной, и этим определяется тематика данного сборника.

Самый термин «повесть» впервые в древней русской литературе встречается в применении к материалу нашего древнейшего летописания: первый дошедший до нас летописный свод носит название «Повести временных лет», чем подчеркиваются особенности жанровой структуры этого свода.

Статья С. А. Бугославского ставит старый, но все еще не разрешенный вопрос о редакциях и первоначальном тексте «Повести временных лет». Автор сопоставил все списки «Повести временных лет» (критическое издание текста печатается Учпедгизом) и, в результате тщательного их изучения, попытался установить историю текста памятника, одновременно пересмотрев и существенно уточнив работу над текстом «Повести временных лет» А. А. Шахматова, который и сам свою конъектуральную работу над «Повестью» считал не окончательной и подлежащей пересмотру и проверке. Существенной особенностью работы С. А. Бугославского является то, что он, в отличие от А. А. Шахматова, прибегавшего большею частью к конъектуральной критике, — в ряде случаев весьма плодотворной, но недостаточной для вполне бесспорных выводов,— основывает свои положения на изучении всех дошедших до нас вариантов текста «Повести временных лет», что является наиболее надежным путем для установления критического текста памятника.

В статье автора этих строк рассматривается главным образом вопрос о тех дополнениях в духе христианского вероучения, которые отличают древнерусский перевод знаменитой «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия от дошедшего до нас греческого текста. Возражая против гипотезы, впервые выдвинутой

в науке А. Берендсом, о том, что эти дополнения принадлежат самому Иосифу Флавию и существовали якобы в первоначальной редакции «Иудейской войны», автор ставит себе целью доказать непричастность к ним Иосифа Флавия и принадлежность их позднейшим христианским авторам.

Две статьи сборника посвящены «Слову о полку Игореве». В первой из них, принадлежащей В. А. Дынник, дано сопоставление «Слова» с «Песнью о Роланде», из всех памятников европейского героического эпоса стоящей в наибольшей близости к гениальной русской поэме XII в. Наблюдения В. А. Дынник имеют значение преимущественно в плане установления сходства поэтического стиля двух памятников героического эпоса европейского средневековья. Во второй статье о «Слове о полку Игореве», написанной М. П. Штокмаром, содержится критическое рассмотрение проблемы ритмического строя «Слова». Сам автор убедительно, как кажется, высказывается в том смысле, что звуковая организация памятника является прозаической по своей природе.

В работе В. Д. Кузьминой, представляющей собой извлечение из ее обширного исследования о судьбе «Повести о Бове-королевиче» на русской почве, прослеживается рукописная ее традиция в русских списках XVI—XIX вв. В. Д. Кузьмина изучила почти все известные русские списки повести о Бове — общим количеством свыше 50 (т. е. во много раз больше, чем ее предшественники). Это дало ей возможность определить очень любопытную тематическую и стилистическую эволюцию повести в различных слоях русского общества. Статья предваряется критическим рассмотрением западноевропейской и русской литературы, посвященной изучению повести. В результате самостоятельных разысканий В. Д. Кузьмина, отвергая предполагавшееся сербское посредство, приходит к бесспорному заключению об итальянском оригинале познанского текста «Бовы», а также о генетической зависимости великорусских текстов «Бовы» от белорусского текста, дошедшего до нас в Познанском сборнике, и убедительно отвергает наличие особого великорусского перевода повести.

В работе А. В. Позднеева на основе исследования сюжета, стиля, основной идеи и характеристик действующих лиц «Сказания о хождении киевских богатырей в Царьград» (с привлечением нового — третьего списка памятника, еще не бывшего в научном обороте, но, к сожалению, дефектного, не имеющего окончания) делается попытка восстановить первоначальную редакцию «Сказания» и установить его прототип, каким является былина об Илье и Идолище. Вместе с тем определяются те изменения и наслоения в «Сказании», которые появились в результате работы позднейших переписчиков, перерабатывавших

его. Автор выставляет гипотезу об отражении в «Сказании» исторического события — покорения Сибири Ермаком, подкрепляя эту гипотезу сходством сюжета «Сказания» с данными истории, извлекаемыми из летописей, песни о покорении Сибири (по сборнику Кирши Данилова), показаний иностранцев, а также архивных материалов. В приложении к работе впервые публикуется текст «Сказания» по рукописи, хранящейся в Институте мировой литературы им. А. М. Горького Академии Наук СССР.

М. О. Скрипиль в статье о «Повести о Соломонии», установив, что повесть в своей основе представляет собой рассказ о живых людях, принадлежавших к определенной группе духовенства Устюжской епархии последней трети XVII в., в дальнейшем ставит ее в связь с жанром «богородичных легенд», «посмертных чудес», богослужебной церковной литературы и особенно русского фольклора. Касаясь идейной стороны повести, автор высказывает не лишенное вероятия предположение, что повесть возникла в процессе религиозной борьбы никониан со старообрядцами.

Наконец, статья А. В. Кокорева исследует не изученные еще русские стихотворные обработки фацеций 20—30-х гг. XVIII в. по дошедшим до нас рукописным сборникам, в том числе по сборнику, принадлежащему автору и до сих пор не известному исследователям. Эти обработки восходят к переводным прозаическим фацециям. Они в свою очередь легли в основу такого популярного печатного сборника стихотворных фацеций, как «Старичок-весельчак», и повлияли на лубочные тексты народных картинок. В приложении к статье напечатаны самые тексты стихотворных фацеций.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

От редактора 3

Сергей Бугославский «Повесть временных лет» (списки, редакции, первоначальный текст) 7

Н. К. Гудзий. «История иудейской войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе 38

Валентина Дынник. «Слово о полку Игореве» и «Песнь о Роланде» . 48

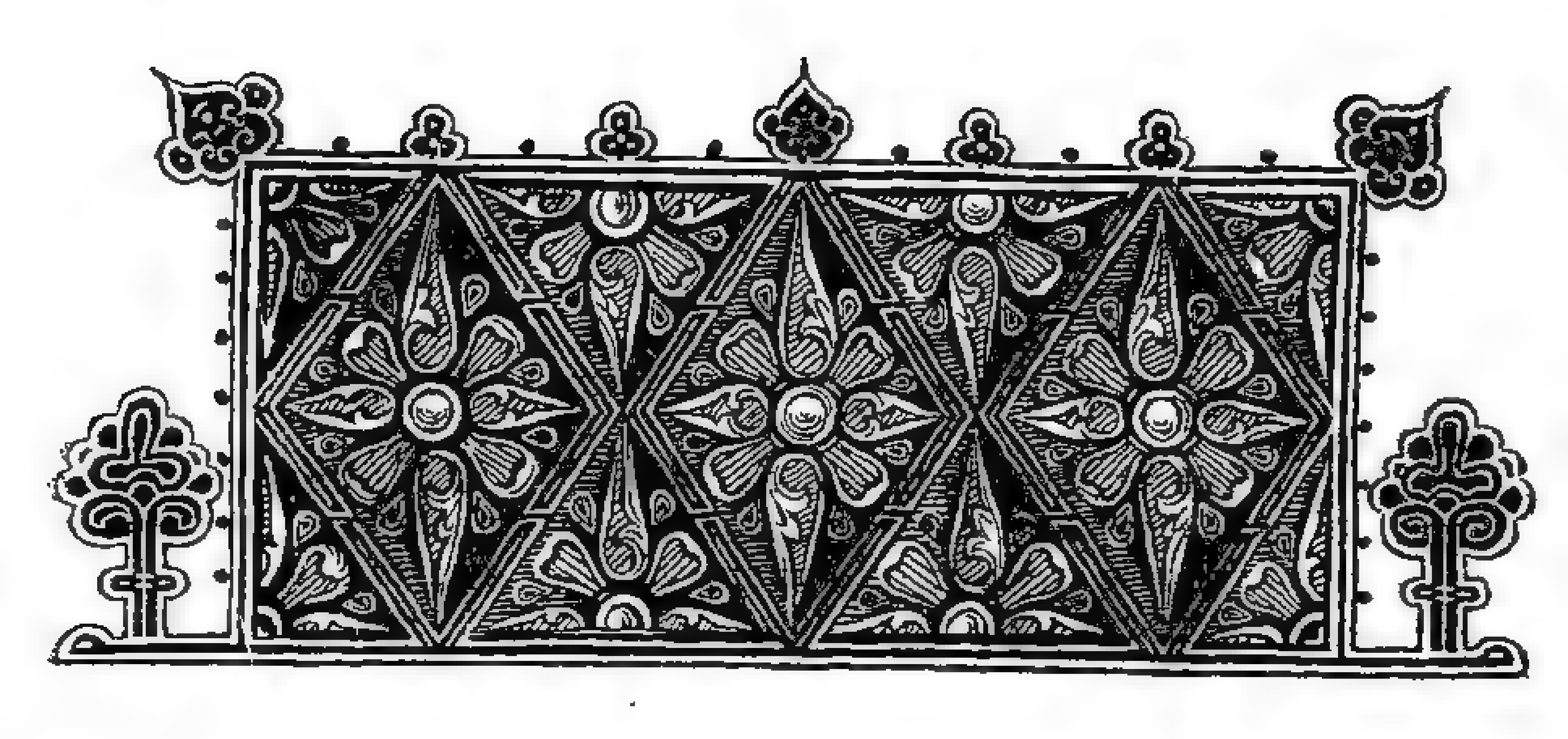
М. П. Штокмар. Ритмика «Слова о полку Игореве» в свете исследований XIX—XX вв. 65

В. Д. Кузьмина. Повесть о Бове-королевиче в русской рукописной традиции XVII—XIX вв. 83

А. В. Позднеев. Сказание о хождении киевских богатырей в Царьград . 135

М. О. Скрипиль. Повесть о Соломонии 197

А. В. Кокорев. Русские стихотворные фацеции XVIII в. 216



СЕРГЕЙ БУГОСЛАВСКИЙ

«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

(Списки, редакции, первоначальный текст)

С термином «повесть» мы встречаемся впервые в русской литературе в оригинальном наименовании древнейшего известного нам киевского летописного свода — *Повесть временных лет*. Позже в русских летописных сборниках мы не найдем такого четкого, такого конденсированно-выразительного определения историко-публицистического, научного и в то же время беллетристического жанра. В заглавии, созданном неизвестным автором или редактором одного из ранних сводов XI—начала XII в., определяется единство композиции (повесть) и ее хронологическая структура (временные лета).

Начальная киевская летопись — увлекательная повесть о судьбах молодого государства, свидетельствующая о высокой культуре мастеров слова, участвовавших в создании «Повести временных лет».

Вопрос о первоначальном тексте ПВЛ (в дальнейшем так будет сокращенно обозначаться «Повесть временных лет») являлся первым и неотложным вопросом у многих исследователей раннего русского летописания на протяжении более полутора веков.

Начало критики текста ПВЛ положено Августом-Людвигом Шлецером в его «Несторе» (I ч. вышла в 1809, II ч. — в 1816 гг.); последним этапом является грандиозная работа покойного академика А. А. Шахматова.

Устойчивость и убедительность устанавливаемого текста памятника рукописной традиции всецело зависит от метода критики текста.

Август Шлецер сопоставлял списки ПВЛ по отдельным отрывкам текста, не учитывая реального исторического взаимоотношения списков в целом; он стремился, по его словам, в каждом отрывке «из десяти найденных разнословий определить одно настоящее слово или отгадать, что собственно хотел сказать летописец».

Работая над ПВЛ около 40 лет, Шлецер при таких неэкономных и нецелесообразных приемах только конъектуральной критики текста приготовил своего, как он называет, «очищенного Нестора» только до времени Владимира I Киевского (до 980 г.). При подобном субъективном выборе чтений должен был, конечно, получиться «Нестор» Шлецера, а не приближенно установленный древний текст летописного свода.

Последнее слово в науке по вопросу о первоначальном тексте ПВЛ сказал акад. А. А. Шахматов, но и его мысли остались недосказанными. А. А. Шахматов умер, не закончив своего замечательного исследования «Повесть временных лет» (I том вышел в 1916 г.) и не успев проверить свои выводы. Недавно в IV томе «Трудов древне-русской литературы» Института литературы Академии Наук СССР (М.-Лгр., 1940 г.) напечатан вчерне подготовленный А. А. Шахматовым II том его исследования: «Повесть временных лет и ее источники» (университетский курс лекций).

До сих пор по классическим «Разысканиям о древнейших русских летописных сводах» Шахматова, по I тому его «Повести временных лет» и ряду предшествовавших работ мы знали главным образом лишь итоги работы ученого, чрезвычайно кропотливой и вместе с тем грандиозной по охвату материала. Только сейчас, когда Академия Наук СССР выпустила в свет (в 1938 г.) «Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв.» акад. Шахматова, мы получили, наконец, возможность заглянуть и в научную творческую лабораторию покойного ученого, разобраться в методах его текстологической работы, ознакомиться с приготовленным им материалом текстуальных особенностей сводов, на основании которых он строил историю русского летописания.

А. А. Шахматов был замечательным ученым, умевшим гениально воссоздавать старинные памятники русского народа. Прекрасно сознавая, что его реконструкции летописных сводов, установ-

ление их генеалогии, состава и текстов — только гипотезы, он неоднократно призывал к критической проверке этих гипотез.

В своих «Разысканиях» акад. Шахматов говорил, что его ссылки на критический аппарат, которым он так полно снабжал восстанавливаемые им летописные тексты, «не равносильны утверждению», что он «в своей конъектуральной работе достиг твердых и положительных результатов». «Я хорошо сознаю, — пишет Шахматов, — субъективность многих из моих „ученых доводов“ и понимаю, что достоянием науки добытые доводы могут стать только после всесторонней оценки их другими исследователями. Предстоит еще решение общего вопроса: правильно ли поставлена мною задача, и каковы должны быть приемы исследования» (Предисловие, стр. VII—VIII). И А. А. Шахматов там же подчеркивает, что разработке вопроса об источниках и составе Древнейшего свода «уместнее появиться после проверки критикой тех приемов и результатов, к которым пришло настоящее исследование при восстановлении текста Древнейшего свода».

А. А. Шахматов целесообразно связывает установление текста старых летописных сводов с генеалогией последующих сводов, но в установлении взаимоотношения списков он не опирается на всю совокупность вариантов позднейших списков «Повести временных лет», а исходит чаще всего из анализа смысла, связи, логики автора, нередко усваивая последнему свое мышление. Другими словами, он применяет методы преимущественно конъектуральной критики. Шахматов предъявляет к летописцу чрезмерно повышенные требования строгой логичности, последовательности мышления; он не допускает у него возможности противоречий, забывчивости, неумения синтаксически ясно построить свое изложение. Шахматов предполагает у каждого редактора-переписчика наличие безупречного литературного мастерства, законченности формы, стиля и четких формулировок. Если летописец не отвечает какому-либо из этих требований, Шахматов усматривает в его тексте позднейшую вставку или искажение.

Предполагая на основании ряда остроумных заключений существование документально не засвидетельствованных летописных сводов, Шахматов часто принимает высказанную им догадку за истину, за исторический факт, на который он опирается в дальнейшем исследовании. Таких предполагаемых сводов в работах Шахматова указано немало; на них он часто ссылается (особенно на Владимирский полихрон начала XIV в.) как на реальный источник ряда известных летописных сводов. Проф. М. Д. Приселков в новейшем исследовании о Лаврентьевской летописи (Ученые Записки Ленинградского Государственного Университета, № 32, серия исторических наук, вып. 2, 1939 г., стр. 86) отрицает существование этого полихрона. В исследованиях Шахматова

даются как бы уравнения со многими неизвестными; в ряде случаев возможно не одно, а несколько вероятных решений вопроса.

Устанавливая генеалогию и источники летописных сводов, Шахматов часто базируется на анализе вариантов не всей совокупности списков, а только двух или трех, и делает отсюда вывод об общем их источнике, при этом источником он нередко считает предполагаемый им неизвестный в рукописях свод.

Проанализировав все чтения, приведенные Шахматовым в его Обозрении (так сокращенно будет в дальнейшем называться «Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв.»), мы убедились, что эти чтения находятся не только в двух или трех названных Шахматовым списках, но и в других родственных им летописных сводах. Таким образом, выбор вариантов из двух или трех списков, — особенно если эти своды принадлежат к различным родственным группам списков, — дает неверное представление о взаимоотношении летописных сводов.

Так, например, Шахматов анализирует ряд чтений, общих для Ипатьевской, Радзивилловской и Новгородской I летописи,—представителей, как мы покажем ниже, трех семейств летописных сводов. Из общности чтений Ип., Радз. и Новг. I летописи Шахматов делает заключение о ближайшем общем источнике этих сводов. При поверке же оказывается, что эти чтения свойственны и другим спискам основных групп, а отступает от них один только Лаврентьевский список. Из родства списков Лавр. (сокр. Л), Радзив. (Р), Акад. (А), с одной стороны, Ипатьевск. (И), Погодинск. (П), Хлебниковск. (Х), с другой, а также списков новгородской группы, о чем речь будет ниже, ясно видно, что приведенные Шахматовым чтения восходят не к ближайшему общему источнику данных трех списков, а к тексту, к которому восходят списки всех трех указанных групп; другими словами, это чтения оригинала ПВЛ, чтения же Лавр. списка являются лишь его индивидуальными текстуальными особенностями, — позднейшими отступлениями от первоначального чтения, сохранившегося в Ип., Радз. и Новг. I летописях. Примеры, приведенные Шахматовым, — это чтения более далекого оригинала, а не предполагаемого ближайшего общего источника этих трех списков. Такого непосредственного общего источника у редактора Ип., Радз. и Новг. I летописи не было.

Приведем примеры (см. Обозрение, стр. 32—33). *1.* Под 6463 (955) годом, стр. 49, вариант 6, читаем в Лаврентьевск. списке (ссылаемся на страницы «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку в отдельном издании Археогр. комиссии, СПБ, 1910; варианты даем из критического аппарата установленного нами текста «Повести временных лет», издание Учпедгиза): «благословити тя хотять»; в Радз., Ип., Новг. I вместо «хотять» читается «имуть»; так читается не только в РИ Новг. I, а и в РАИПХ

и в списках Новг. I летописи. *2.* Под тем же годом, стр. 61, вар. 3—4, в Радз. и Ип. (по Шахматову) добавлено «и яко же рькохом»; эти слова читаются также в РАИПХ и Новг. I. *3.* Под 6486 (978) г., стр. 73, в Лавр. читаем «ратившемася полкома»; в РА Новг. I (по Шахматову) «сразившимася полкома»; последнее чтение находим в тех же списках РАИПХ Новг. I. *4.* Под 6488 (980) г., стр. 75, вар. I, в Лавр. читается «имети тя хочю», в ИР Новг. I «начну» вместо «хочю», и это чтение свойственно РАИПХ Новг. I. *5.* Под 6493 (985) г., стр. 82, вар. 5, в Лавр. читается «а хмель почнеть тонути»; в РА Новг. I (Шахматов) — «а хмель грязнути»; это чтение также находим в РАИПХ Новг. I, Соф. I, Львовской летописях. *6.* Под тем же годом в Лавр. сп. читаем «и всякоя нечистоты», в РАИ Новг. I (по Шахматову) «всякого скаредия»; и это чтение находим в списках РАИПХ Новг. I.

Шахматов (Обозрение, 63) перечисляет чтения, общие Ип. и Радз. летописям; но эти текстуальные особенности характеризуют все списки обеих групп ЛРА, ИПХ, а не только двух списков (в Погод. списке в этом отрезке пропуск).

В качестве доказательства старшинства Лаврентьевского списка Шахматов приводит ряд чтений этого списка в сопоставлении с Радзивилловским, Ипатьевским и Хлебниковским; при этом он устанавливает старшинство чтений Лаврентьевского списка на основе анализа их смысла.

Просмотрев по критическому аппарату все чтения, приведенные Шахматовым в доказательство старшинства текста Лаврентьевской летописи (Обозрение, стр. 28—29), мы убедились, что данные Шахматова свидетельствуют о том, что старшими являются чтения РА и ИПХ; чтения же Лаврентьевского списка — позднейшие поправки в архетипе ЛРА.

1. Под 6605 (1097) г., стр. 255, в Радз. и Ип. списках (по Шахматову) опущены слова «тезу своему» (в ЛА они имеются); слова эти опущены не только в РИ, но и в ПХ. *2.* Под 6597 (1089) г., стр. 202, слова «бе скопец высок телом» опущены не только в РИ, но и в АПХ; в Лавр. сп. эти слова вставлены на основании ранее сказанного о митрополите Ефреме. *3.* В эпизоде вводной части ПВЛ об апостоле Андрее и новгородских банях, в Лавр. летописи и в Троицкой, почти тожественной тексту Лаврентьевской, читается: «и облеются квасом уснияном»; в РИ (по Шахматову) «и обльются мытелью»; последнее чтение находим в РАИПХ. *4.* Под 6604 (1096) г., стр. 224, в Лавр. читаем: «зажгоша болонье»; в РИ (по Шахматову) «по песку»; так читается в РАИПХ. *5.* Под 6604 (1096) г., стр. 225, в Лавр. «к югу устроении»; в РИ (по Шахматову) «сторонний»; так читается в РАИПХ. *6.* Под тем же годом, стр. 226, в Лавр. «Торци и Кумани, рекше Половци»; в РИ (по Шахматову) опущены слова

«Кумани, рекше»; эти слова не читаются в РАИПХ. 7. Под 6599 (1091) г., стр. 206, в Лавр. читается «иже и по отшествии твоемь от сея жизни молишися»; в РИ «по отшествии его моля[т]ся», последнее читается в РАИПХ. 8. Под тем же годом, стр. 206, в Лавр. читается: «в словесех книжных веселуяся»; эти слова опущены не только в РИ (Шахматов), но и в РАИПХ.

При установлении генеалогии сводов Шахматов базируется часто на показаниях таких чтений, которые могли возникать многократно в одной и той же форме, независимо от родства списков: это мелкие особенности языка и орфографии. Таковы приводимые Шахматовым разночтения: исшедше (Радз., Новг. I) вместо шедше (Ип.), приду—пойду, почнешь—начнешь, живот—жизнь, послуша—послушание, п[ъ]лотьскыя—полотьская, сыночи—синочи (т. е. сей ночью), постриган—постриглся, пропуски или вставки союзов *и, да, но* и т. п. (см. Обозрение, 32, 106—108 и и другие места).

Делая заключения о взаимоотношении летописных сводов на основании чтений, выбранных из двух-трех списков без учета вариантов остальных, а также на основании не показательных для родства списков мелких вариантов языкового и орфографического характера, Шахматов приходил к неверным итоговым выводам; при поверке их он должен был нередко менять эти выводы, как частные, так и общие (ср. поправки в I томе «Повести временных лет», также в Обозрении, в главах XI, XVI, XX, XXI).

Применяя однородные конъектуральные приемы анализа текстов, Шахматов приходит к однотипной характеристике работы летописцев различных эпох. По Шахматову, почти каждый редактор-переписчик свода, копируя свой основной источник, сверял его с другим сводом, выбирал то из одного, то из другого своего источника не только статьи и фактические данные, но отдельные фразы, слова, даже орфографию слов. Такой взгляд на метод работы летописца представляется нам модернизацией; он напоминает скорее кропотливое сличение текстов, подведение вариантов, выполняемые современными филологами, чем творчество летописца.

Близкое, доходящее почти до тожества родство текстов ПВЛ, с одной стороны, в Лавр., Троицк., Радз., Акад. списках, с другой, — в Ип., Хл., Погод., свидетельствует об ином: переписчики сводов относились к своей работе очень бережно; они чаще всего копировали свой оригинал точно, не исправляя часто даже явные его ошибки (ср. общность ошибок в ЛРА и ИПХ)

Случаев пересказа фраз, замены (чаще всего незнакомых слов или устаревших фонетических и морфологических форм) в списках ПВЛ немного. Редакционные добавления и изменения в тексте ПВЛ, как мы увидим ниже, — явление редкое.

Контаминация текстов, конечно, имела место, но чаще всего

в московских сводах XVI—XVII вв., когда собирание старых материалов и стремление к созданию таких грандиозных компилятивных трудов, как Никоновская летопись, Степенная книга, Великие Четьи Минеи, обусловлены были политическими идеями усилившейся власти московских царей. Но и в этих грандиозных компиляциях мы обычно наблюдаем метод сводной работы, взаимного пополнения, наслоения источников, а не детальную сверку их текста, не правку текста одного источника мелкими текстуальными особенностями другого.

Иногда летописец и сам ссылался на свой дополнительный источник. В Софийской I летописи (по спискам Карамзинскому и Оболенского) под 6598 (1090) г. читается приписка: «ищи в Киевском» (подразумевается — «летописце»). В Никоновской летописи под 6406 (898) г. замечено: «о том же от иного летописца», и здесь же (под 1455 г.): «от иного летописца о том же».

Все сказанное приводит нас к заключению о необходимости критики текста всех списков ПВЛ. Только на основе такого сравнительного филологического изучения вариантов можно получить исторически верные данные по генеалогии сводов. Нужно заставить заговорить самые документы, варианты списков, отрешившись от приемов конъектуральной критики. Только после этой работы можно строить гипотезы о сводах, предшествовавших ПВЛ. Мы в праве выделить и анализировать только текст ПВЛ из состава различных сводов, не касаясь истории этих летописных сводов в целом, так как ПВЛ имела свою самостоятельную историю до продолжения ее новыми погодными записями.

Наша работа над текстом ПВЛ заключалась в построении критического аппарата к тексту Лаврентьевского списка, наиболее типичного, т. е. наиболее близкого ко всем остальным. Текст Лаврентьевского списка как бы входит в состав прочих списков. С текстом Лавр. списка как единицы сравнения сопоставлены списки Ип., Погод., Хлебн.; использованы, конечно, варианты Радз., Акад., Троицкого списков, а также списков, в которых ПВЛ вошла в соединение с новгородскими погодными записями (каждый из списков Новг. I летописи сравнен нами с Лавр. списком), и списки Софийской I летописи, Никоновская, Львовская, Ермолинская, Воскресенская летописи, Летописец Переяславля Суздальского. Остальные списки ПВЛ проанализированы также сравнительно с Лаврентьевским, но в критический аппарат их варианты (как явно позднейшие) вошли лишь в отдельных местах. После завершения работы по критике текста ПВЛ, после анализа вариантов, классификации списков и установления их взаимоотношений критический аппарат нами сокращен (удален ряд особенностей позднейших сводов и некоторые детали). Устанавливая взаимоотношение списков только одной ПВЛ, т. е. начальной части названных сводов, мы сверяли полученные резуль-

таты с генеалогией летописных сводов в целом, преимущественно по работам акад. Шахматова.

Вся совокупность вариантов дает право классифицировать списки ПВЛ, объединив их в три хорошо известные и ранее группы. Каждая из этих трех групп характеризуется совокупностью чтений, свойственных только данной группе. Это 1) списки новгородского извода ПВЛ (сокращенная ее редакция), 2) группа Ип., Хлебн., Погод. и родственных им списков, 3) группа Лавр., Троицк., Радз., Акад. списков и родственных им. Каждая из этих групп восходит к одному общему для всех списков тексту, который будем называть архетипом Новгородского извода, архетипом ИПХ, архетипом ЛРА.

Проанализируем каждую из трех названных групп.

Вопрос о взаимоотношении списков, а в итоге и вопрос о первоначальном тексте новгородского извода ПВЛ—тема особого исследования, чрезвычайно необходимого. Мы сейчас можем утверждать, что списки новгородского извода ПВЛ восходят к одному тексту, в котором сокращенный текст ПВЛ соединен с новгородскими погодными записями и статьями. Исключение представляет Никоновская летопись, в которой отрывки ПВЛ ближе всего к Лавр. списку (остальные списки близки, как мы увидим, к архетипу ИПХ).

ПВЛ в Никоновской летописи (Полн. Собр. Русских летописей, т. IX), составленной по Шахматову, между 1529—1539 г. (Обозрение, гл. VIII), чрезвычайно близка к тексту Лаврентьевской летописи, повторяя ряд ее явно ошибочных чтений.

Укажем следующие общие текстуальные особенности Лавр. и Ник. списков ПВЛ.

1. Под 6545 (1037) годом., стр. 148, вар. 12, находим ошибочное «мости» вместо правильного «мудрости». *2*. Под 6579 (1071) г., стр. 170, вар. 2, в архетипе ЛРА и в Ник. (сокр. Н) находим гаплографию. *3*. Под 6582 (1074) г., стр. 187, вар. 2—3, там же (ЛРА—Н) другая гаплография; под тем же годом, стр. 188, вар. 12—13, — еще гаплография, находящаяся только в Лавр. и Ник. сп. *4*. Под 6597 (1089) г., стр. 201, вар. 7—8, опущена фраза с наименованием епископов (ЛИ). *5*. Под 6600 (1092) г., стр. 208, вар. 4, ошибочное чтение «наяве» вместо «навье» (ЛН). *6*. Под 6601 (1093) г., стр. 209, вар. 7—8,—гаплография (ЛН). *7*. Под 6602 (1094) г., стр. 218, вар. 13—15, опущена фраза (ЛН).

8. Под 6604 (1096) г., стр. 223, вар. *10—11* опущено «к Переяславлю» (ЛН). *9*. Под тем же годом, стр. 231, вар. 9, добавлено «завед Кунуи» (ЛН и Воскр. летоп.). *12*. Под 6624 (1116) г. в Ник. лет. читается в риторически расширенной формулировке запись игумена Сильвестра, имеющаяся только в списках группы ЛРА.

Текст Ник. летописи нельзя, однако, возвести непосредственно к Лавр. списку, т. к. в Ник. летоп. нет, например, гаплографии Лавр. сп. под 6596 (1088) г., стр. 201, вар. 2—3; его можно возвести лишь к архетипу ЛРА.

В Ник. летоп. использован дополнительный источник (на него летописец, как мы указывали, сам ссылается). Можно предполагать на основании ряда общих чтений, что это был свод, близкий к Софийской I летописи.

Ермолинская летопись (второй полов. XV в., ПСРЛ, т. XXIII), как и Львовская XVI в. (ПСРЛ, т. XX) относятся к той же категории новгородского извода ПВЛ. Наши варианты указывают на близость Ерм. и Льв. летописей к Софийской I (списки XV—XVI в., ПСРЛ, т. V); ср. 6575 (1067) г., стр. 162, вар. 3.; 6524 (1016) г. Син., Соф., Льв.; 6479 (971) г., стр. 70, вар. 2,— ошибочное чтение «Редестр» вм. «Дерестр» в Соф. и Льв.

Новгородская IV летопись конца XV — начала XVI в. (ПСРЛ, т. IV) близко родственна Софийской I. Соф. I летопись сохранила полнее и бережнее текст ПВЛ, положенный в основу как ее, так и Новг. IV летописи.

Новгородская II и III летописи (ПСРЛ, тт. III и IV), сохранившие старинные местные летописные записи без сочетания с древней киевской летописью, может быть, восходят к первичным зачаткам новгородского летописания, к статьям, которые позже вошли в соединение с ПВЛ.

Большое количество текстуальных черт сближает между собой Софийскую I, т. наз. Софейскую, Воскресенскую и Тверскую летописи. ПВЛ в этих сборниках восходит, несомненно, к одному тексту. К тому же архетипу Соф. I, Софейской, Воскресенской (ПСРЛ, т. VII) и Тверской летописей (ПСРЛ, т. XV) восходит так называемый «Летописец русских царей», известный под названием Переяславской летописи (по изданию М. А. Оболенского, М., 1851 г.). Она сближается с архетипом Соф. I и остальных летописей рядом чтений; самая яркая общая их особенность — вставленное под 6523 (1015) г. анонимное Сказание о Борисе и Глебе («Род праведных благословится») в редакции, возникшей в средине XV в., согласно нашему исследованию текстов анонимного сказания. Стало быть, архетип Соф. I, Софейской, Воскрес., Тверской и Переясл. летописей возник не ранее половины XV в. В основе Переяславской летописи лежит новгородский свод; так, под 6579(1071) г. мы читаем здесь: «яко же и в нашем Новеграде при Глебе».

Из всех списков ПВЛ новгородского извода ближе всего к старинному тексту по составу и по деталям списки Новгородской I летописи (Синодальный пергаментный список XIV в., Комиссионный, Академический, Толстовский), а также списки Софийской I летописи.

В Комиссионном и Академическом списках А. А. Шахматов видит остатки летописного свода, предшествовавшего ПВЛ, именно Киевского Начального свода 1095 года, а в Софийской I и Новгородской IV—следы Древнего новгородского свода 1050 года.

Академик В. М. Истрин в «Замечаниях о начале русского летописания» задает вопрос: «Должно ли смотреть на отсутствие ряда известий в Новгородской I летописи непременно как на остаток древности и нельзя ли, наоборот, смотреть на это отсутствие как на явление позднее, т. е. считать, что Новгородская I летопись (или один из ее предшествовавших сводов) выпустила все эти рассматриваемые известия?» (ИОРЯС, 1921, т. XXVI, стр. 65). В. М. Истрин справедливо отмечает, что Новгородская I летопись сокращает ПВЛ на всем ее протяжении. Все же отсутствие в Новгородской I летописи трех отрывков из полной хроники Георгия Амартола заставляет и В. М. Истрина принять гипотезу А. А. Шахматова о том, что Новгородская I летопись в первой своей части, в которой читались византийские известия, восходит к летописному своду, предшествовавшему ПВЛ. Для решения этого вопроса необходимо, конечно, знать первоначальный текст древнейшей новгородской редакции ПВЛ и убедиться в том, что и указанные В. М. Истриным места не попали в число эпизодов, сокращенных редактором Новгородской I летописи.

Обратимся к рассмотрению ПВЛ по Соф. I летописи (ПСРЛ, т. V).

Основным оригиналом архетипа Соф. I летописи и родственных ей — Софейской, Воскр., Тверской — был тот же текст новгородского извода ПВЛ, который положен в основу списков Новгородской I летописи. Но редактор-переписчик архетипа Соф. I летописи начинает сначала копировать свой дополнительный источник, который он сам называет киевским сводом; под 6597 (1089) г. мы читаем в Соф. I: «ищи в Киевском». Дойдя до статьи 6360 (852) г., он обращается к своему основному источнику — списку ПВЛ новгородского извода: он переписывает отсюда предисловие, которое Шахматов возводит к Начальному своду 1095 г., и далее весь последующий текст; лишь изредка редактор Соф. I летописи обращается снова к своему дополнительному источнику, и это его явно затрудняет. Так, например, он три раза неумело рассказывает о смерти митрополита Иоанна скопца. Впрочем, случаев контаминации текста обоих источников в Соф. I немного. В общем, редактор архетипа Соф. I тщательно копирует свой оригинал, что видно из того, что текст ПВЛ у него близок и к ЛРА, и к ИПХ.

Новгородская I летопись известна по старейшему Синодальному пергаментному списку XIV в. (обозначаем его Син.), начинающемуся, вследствие утраты первых 15 тетрадей, с середины

статьи 6524 (1016) г., и по трем более поздним спискам: Комиссионному, т. е. Археографической Комиссии XV в. (сокращенное обозначение — К), Академическому XV в. (Акад. Наук из собрания Татищева, обознач. — А) и Толстовскому XVIII в. (Лгр. Публ. библ. F. IV, № 223; обознач. — Т).

В виду отсутствия в Синодальном списке начала, а в Комиссионном нескольких начальных листов, летописное предисловие в издании Археогр. комиссии 1888 г. «Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку» печатается сначала по исправному Толстовскому списку, затем по Комиссионному и лишь с 1016 г. по Синодальному (см. также более раннее издание Новг. I летописи, по Синодальному списку, начиная с 1016 г. в ПСРЛ, т. III, 1841 г.).

Прежде всего необходимо установить взаимоотношение между Синод. списком XIV в. (Син.) и списками КАТ. Списки КАТ очень близки друг к другу. Они, несомненно, восходят к одному общему тексту, к архетипу КАТ.

А. А. Шахматов (Обозрение, стр. 128—129) полагает, что восстановить утраченное начало Синодального списка по другим спискам Новгородской I летописи невозможно; «это видно, — говорит он, — из полного несходства их с Синодальным списком в части от 1016 и до 1074 г. включительно; только с 1075 года видим сходство, а местами даже и тожество, продолжающееся до 1333 г. Сравнительное изучение Синодального и прочих списков в части от 1075 до 1333 г. убеждает в том, что протограф этих последних списков скопирован с того же оригинала, что Синодальный, причем местами текст их точнее и полнее, чем этот список».

Анализ вариантов Син. и КАТ приводит нас к заключению, что все четыре списка во всем их объеме восходят к общему тексту.

Анализ текста не дает никакого права предполагать, что у Син. списка в части до 1074 г. был иной источник, — не архетип Син.-КАТ.

Приведем наиболее значительные текстуальные особенности, общие Син. списку и спискам КАТ в статьях от 1016 по 1074 г.

Под 6524 (1016) г., с 139, в Син. и КАТ, а также в Соф. и Льв. находим статью с новым содержанием (текст во всех списках один и тот же, в КАТ он несколько полнее, чем в Син.); Син. и КАТ одинаково сокращают статью 6545, 6547 гг., опускают статьи 6530—6535, 6548, 6549 гг.; Син. и КАТ одинаково отступают от основного текста ПВЛ в статье 6558 г. Под 6568 (1050) г. Син. и КАТ добавляют новгородскую статью о походе Изяслава на Сосолы. Под 6573 (1065) г. Син. и КАТ дают дословно одинаковое сокращение текста ПВЛ.

На протяжении 1016—1074 гг. списки КАТ неизменно ближе к ЛРА и ИПХ, чем Синодальный список, но местами Син. и

КАТ, как указано, совершенно одинаково сокращают и видоизменяют текст ПВЛ.

В основе Син. списка и списков КАТ лежит один и тот же древний текст. Син. список этот общий текст сокращает больше, чем это делает редактор архетипа КАТ, но с 1074 г., повидимому, новый переписчик Син. списка начинает копировать текст архетипа Син. КАТ более точно, поэтому текстуальная близость между Син. и КАТ становится большей.

Анализ вариантов показывает, что архетип Син. КАТ восходит к одному общему тексту с архетипом Софийской I летописи и родственных ей сводов. *1.* Так, под 6504 (996) г., стр. 122, в Син. и Соф. I (также в Воскрес. и Тверской летописях) вместо «300 провар» читается «варя 300 берковцев меду»; *2.* под 6463 (955) г., стр. 61, вар. 5, в Син. и Соф. I добавлено ошибочно «Чемьский» (вм. «Цимисхий»); *3.* под 6491 (983) г., стр. 81, вар. I, в Син. и Соф. I вставлены слова «секирою и ножем»; *4.* в Син., в Соф. I, Ник., Воскр. списках под 6523 (1015) г. сделаны вставки из анонимного Сказания о Борисе и Глебе; *5.* под 6560 (1052) г. в Син. и Соф. добавлена дата «месяца октября в 4 день»; *6.* под 6582 (1074) г., стр. 182, вар. I, в списках КАТ, Соф. I, Воскр., Новг. IV летописях находим одно и то же ошибочное чтение «издалеча» вместо «с Льтеца»; *7.* под 6585 (1077) г., стр. 193, вар. 3, в Син. и Соф. I вместо текста списков ЛРА и ИПХ помещено сообщение о смерти новгородского архиепископа Федора; *8.* в Син., Соф. I, Воскр., Тверской, Новгор. IV летописях под 6576 (1068) г. опущено все Поучение о казнях божиих; в списках КАТ текст Поучения сохранен. Поучение это отразилось (во всех списках) в Предисловии (см. ниже наши примечания к тексту Предисловия).

Списки новгородского извода ПВЛ, особенно старшие (Син., КАТ, Соф. 1), сближаются с текстуальными особенностями списков Ип., Хлебн., Погод., другими словами, с архетипом ИПХ.

Приведем значительное количество показательных в этом смысле чтений. *1.* Во вводной части ПВЛ (стр. 11, вар. 4, вместо «Съжю» (реки) в Соф. I читаем «Рсышю», в ИХ «Ръжю» (в Погод. текст здесь опущен). *2.* Под 6453 (945) г., стр. 53, вар. 5, в ИПХ и КАТ добавлено: «Древляне». *3.* Под 6453 (945) г., стр. 54, вар. I, вместо «Свенельд» в КАТ читаем «Свендельд»; Соф. I «Свентельд»; в ИПХ «Свиндельд». *4.* Под 6472 (964) г., стр. 63, вар. 2—3, в КАТ, Соф. I, Ник. и ИПХ вместо «и легко ходя» (ЛРА) читается: «бе бо сам хоробр и легок». 5. Под 6473 (965) г., стр. 64, вар. I, в КАТ и ИПХ добавлено: «и прииде (КАТ ошибочно: «приведе») к Киеву». *6.* Под 6476 (968) г., стр. 65, вар. I, в КАТ и ИПХ добавлено: «и люди» (см. здесь же перифраз, сходный в ИПХ, КАТ и Соф. I, вар. 3—4). 7. Под 6478 (970) г., стр. 68, и ИПХ и КАТ добавлено: «рькя:

се город мой». *8.* Под 6479 (971) г., стр. 69, вар. 3, в КАТ, Соф. I, Воскр. и ИПХ добавлено: «и греци противу, и сразистася полка и отступиша греци». *9.* Под 6494 (986) г., стр. 95, вар. 3, в КАТ и ИПХ добавлено: «вельми». *10.* Под 6495 (987) г., стр. 105, вар. 1, в КАТ, Ник., летописи Переясл. Сузд. и ИПХ доб.: «и службу». *11.* Под 6496 (988) г., стр. 110, вар. 2, в КАТ и ИХ (в Погод. здесь опущен текст) добавлено: «и безначален»; здесь же под 6496 (988) г., стр. 113, в КАТ и Ипатьевск. (в Хлебн. и Погод. здесь утрачены листы) добавлено: «тем же держат не в едино соглашение, но раздно» и ниже добавлено: «ина же многа раздно держат». *12.* Под 6496 (988) г., стр. 118, вар. 2, в КАТ и ИПХ вместо «верных» (жен) читается «говейных». *13.* Годы 6497—6498 и в КАТ и в ИПХ пустые. 14. Под 6504 (996) г., стр. 123, в ИХ (в Погод. опущен текст), КАТ и Льв. добавлено: «на обеде том». *14.* Под 6523 (1015) г. в КАТ, Соф. I, Воскр., Новг. IV и ИХ (в Погод. здесь пропуск) две большие вставки: а) «Аще бо преже в невежестве етера быша съгрешения» и т. д. б) «Рече бо (бог): „кто идеть прельстить Ахава“» и т. д. *15.* Под 6558 (1050) г., стр. 152, в Соф. I, Софейской, Воскр., Тверск. и ИПХ вставлено: «февраля в 10». *16.* Под 6579 (1071) г. в КАТ и ИПХ добавлено: «и веверицю». *17.* Под 6582 (1074) г., стр. 181, вар. 1—2, в КАТ и ИПХ опущено: «и большю».

Мы имеем основание утверждать, что текст новгородского извода ПВЛ, к которому восходят все наши списки, в том числе и наиболее авторитетные Син., КАТ, Соф. I восходят к протографу архетипа ИПХ, т. е. к тексту, более древнему, чем архетип ИПХ. Эту поправку мы делаем потому, что в архетипе Син.-КАТ-Соф. I имеются чтения, более древние, чем в ИПХ. Например, под 6536 г. в ИПХ нет известий, в то время как в Син., КАТ и Соф. I имеется текст, совпадающий с ЛРА. В новгородских списках нет ряда ошибок архетипа ИПХ, отмеченных в Обозрении Шахматова (стр. 99).

Во всяком случае мы в праве утверждать, что первоначальный текст, к которому восходят архетипы списков Син., КАТ, Соф. I, не старше того текста, к которому восходят архетипы ЛРА и ИПХ. Другими словами, списки новгородского извода ПВЛ не восходят к летописному тексту, более древнему, чем ПВЛ.

Предисловие, читавшееся в архетипе КАТ, Соф. I (добавим и Син.), подтверждает наш вывод. Мы находим его почти тожественным в списках Соф. I, Софейской, Новг. I, Воскресенской и Тверской летописей.

Весь текст Предисловия является сокращенным изложением материала, известного нам по основным спискам ПВЛ. Это видно из нижеследующего сопоставления текстов.

Предисловие (По Толстовскому списку в издании Новг. I летописи 1888 г., а далее и по Комисс. и Академич.)	Параллели и комментарии
Временник[1], еже есть[2] нарицается летописание[3] князей[4] земля русския и како избра бог страну нашу на последнее время и грады почаша бывати по местом, преже Новгородчкая волость,[а] и потом Киевская и о поставлении[5] Киева, како[6] во имя назвася[7] Киев.	а) Местнопатриотическая тенденция новгородца отметить старшинство Новгорода перед Киевом.

Варианты. Соф. 1 лет. (Сф) и по реконструированному А. А. Шахматовым тексту Нач. свода 1095 г. («Пов. вр. лет», т. I, 1916) обозначаем Ш. Текст дается в современной орфографии. [1–2] Ш—иже. [3] Ш. *доб.* Русьскых [4] Ш. *доб.* и [5] Ш — статьи. [6–7] Ш въименовася (по Новг. IV).

Якоже[1] древле царь Рим назвася[2] и во имя его город Рим и паки Антиох, и бысть Антиохия великая, и паки Селевк(ъ), и бысть Селевкия, и паки Александр, и бысть в имя его Александрия и многая[3] места тако прозвани быша, грады[4] в имена царев[5] тех[6]: также и в нашей стране зван[7] бысть град великий князем[8] во имя Кия[б], его же[9] нарицають тако перевозника бывша. Инеи же яко ловы деяше около города[в]. И тако[10] бо есть промысел божий еже яв[и] в последняя времена.	б) Автор забывает о своем желании отметить бóльшую древность Новгорода перед Киевом и, под влиянием своего источника, обращается прежде всего к Кию. Ср. ПВЛ Лавр. сп. стр. 8: «Сидяще Кий на горе» и т. д.; там же: «Инии же, не сведуще рекоша, яко Кий есть перевозник был». в) ПВЛ (Лавр. стр. 8—9): «И бяше около града лес и бор велик и бяху ловяща зверь мужи мудри и смыслени, нарицахуся Поляне» (ниже, под 6362 г., новгородский летописец повторяет буквально то же).

Варианты. [1] Ш. *доб.* бысть. [2] Ш.—прозвася [3] Ш.—по многа [4] Ш.—*доб.* ти. [5] Ш.—цесарь. [6] Ш.—*доб.* и князь тех (*по Соф. Тр. и Новг.* IV). [7] Ш—.прозван. [8] Ш.—Киев *вм.* князем. [9] Ш.—(*по Соф.*) *доб.* древле [10] Ш.—Велик бо *вм.* И тако

Куда же древле погания жряху[г)] бесом на горах,[1] ныне же паки тут святые церкви златоверхия каменнозданные стоят, и монастыреве велицы поставлени быша, и черноризец в них исполнено бысть, беспрестани славяще бога в молитвах, в	г) Ср. ПВЛ под 6494 г. (стр. 89): «по дьяволю наущению ови рощением, кладезем и рекам жряху». Ср. также о жертвоприношении сына варяга (6491 г.), о крещении киевлян; ср. упоминание о Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве, также о

Предисловие	Параллели и комментарии

бдении, в посте и в слезах, их же ради молитв мир стоит. Еще бо к святым с[им][1] прибегнем церквам, тем велику пользу приемлем души и телу. Мы же паки[д] на последование возвратимся, глаголюще сице.

Варианты. 1 Т — сий.

монастырях в статье 6559 (1051) г. и 6545 (1037) г.: «церковь на золотых воротах..., по семь святаго Георгия монастырь и святые Ирины..., и черноризцы почаша множитися и манастыреве починаху быти».

В ранние статьи своего источника ПВЛ автор Предисловия вносит отсутствующую здесь монастырско-аскетическую идеологию.

д) Автор возвращается к своему источнику, ПВЛ.

О[1] начале Русьския земля[е] и о князех, како и откуду быша.[1] Вас молю, стадо христово, с любовию приклоните уши ваши разумно: како быша древнии князи и мужие их и како. о[т]бараху[ж] Русския земле, и ины страны придаху под ся; тии бо князи не сбираху многа имения, ни творимых вир, ни продаж въскладаху на люди; но оже будяше правая вира, даяше дружине на оружье.

Варианты.[1] 1—1 В Соф. I написано в виде заглавия.

е) Ср. заглавие в ПВЛ: «откуду есть пошла Русьская земля, и кто в ней почал първее княжити и откуду Русьская земля стала есть».

ж) пересказ воинских эпизодов ПВЛ в преломлении монаха-проповедника. Ср. под 6504 (996) г. слова князя Владимира; «дед мой и отец мой доискася дружиною злата и сребра... рать многа: оже вира, то на оружья и на коних буди».

з) Ср. также вариант 1—3, стр. 139, под 6526 (1018) г. — новгородская запись о борьбе Ярослава со Святополком.

А дружина его кормяхуся воююще ины страны и бьющеся и ркуще: «братие, потягнем по своем князе и по Русской земле!» Глаголюще: «мало есть нам, княже, двусот гривен». Они бо не складаху на свои жены златых обручей, но хожаху жены их в сребряных, и расплодили были землю Русьскую. За наше несытьство навел бог на ны поганыя,[и] а и скоты наши и села наша и имения за теми суть, а мы своих злых дел не останем. Пишет бо ся: «богатство неправдою сбираемо[1] извеется.[2] И паки: «сбирает[3] и не весть кому сбирает я», а паки: «луче[4] малое...

Варианты: [1] Соф. *доб.* скоро. [2] *Кн. Премудр. Соломона, XIII*, [3] *Псалтырь, XXXVIII, 7*, [4] *Псалтырь, XXXVI*, 16.

и) Ср. Поучение о казнях божиих в ПВЛ под 6576 (1068) г.: «Наводить бо бог по гневу своему иноплеменники на землю... но мы на злое възвращаемся». Ср. также статью 6601 (1093) г., — стр. 215: «Ибо лукавии сынове Измаилеви пожигаху села и гумна и многи церкви запалиша огнемь... Праведно и достойно есть, тако да накажемся... Да нахождением поганых мучими ими, владыку познаем его же мы прогневахом. Городи вси опустеша, села опустеша, прейдем поля, иже пасома беша стада конь, овце и волове, все тьще ныне видим, нивы поросше, зверем жилища быша». В статье 1093 г. также цитируется Псалтырь (CXVIII, CII).

Предисловие	Параллели и комментарии
Праведнику, паче богатство грешных (*далее—по Комиссионн. списку*) вмнога. Да отселе, братия моя возлюбленная, останемся от несытьства своего, но довольнее будете уроки вашими, яко и Павел пишеть: «ему же[1] дань, то дань, ему же урок, то урок». Никому же насилья творяще, милостынею оцветуще, страннолюбием, в страсе божии и правоверии свое спасении сдевающи, да и сде добре поживем[2] и тамо вечной жизни причастьници будем. Си же таковая. Мы же[к] от начала Русскы земля до сего лета и все по ряду известно да скажем от Михаила царя до Александра[3] Исакья.	к) ПВЛ под 6360 (852) г.: «Наченши Михаилу царствовати, начася прозывати Русьская земля». Ниже под 6362 г. новгородский летописец повторяет то же о Михаиле.
Варианты: [1]. *Посл. к Римлянам, XIII, 7,* [2]. Поживем *доб. из* Соф. Т. III. [3]. Ш Олексия (*по Тр.*); Соф. Ком., Толст. Александра.	

На этом заканчивается Предисловие, и в Новг. I, Соф. I, Софейск., Воскр., Тверск. лет. читается нижеследующий летописный текст (по Комисс. сп.).

Комисс. сп. Новгор. I летоп.	Параллели и комментарии
В лето 6362. Начало земли Руской. Живяху[л] каждо с родом своим, на своих местех и странах, владеюща каждо родом своим. И быша три братья: единому имя Кий, второму же имя Щек (*далее сокращенно копируется текст ПВЛ*). И бяша около их лес и бор велик и бяху лозища зверие и беша мужи мудри и смыслени, наречахуся Поляне... бяху же погани, жруще озером и кладезем и рощением, якоже прочии погани.[м]	л) Летописец снова обращается к уже использованному им в Предисловии отрывку ПВЛ (стр. 8, введение), проставив здесь 6362 г. без всяких оснований. Ср. ПВЛ: «Полем же живущим особе и володеющем роды своими, иже и до сего братье бяху Поляне и живяху каждо своим родом. И быша три братья, единому имя Кий», и т. д. Толст. список здесь ближе к ПВЛ, чем Комиссионный и Академический.
В сие же времена бысть в Гречьской земли царь, именем Михаил[н] и мати его Ирина. При сем придоша Русь на Царьград.[о]	м) Эта фраза взята из статьи ПВЛ 6494 (986) г.: «ови рощением кладезем и реками жряху». Повидимому, здесь мы имеем дело с тенденциозным стремлением новгородского летописца очернить полян, которых он ранее так же тенденциозно не называет, читая им похвальные реплики в своем источнике, в ПВЛ.

Новгор. I летопись	Параллели и комментарии
	н) Новгор. летописец снова возвращается к статье 6360 (852) г. ПВЛ.
	о) Далее из ПВЛ почти дословно переписана статья 6374 (866) г. без ее начала. Новгородский летописец механически переходит от слов «при семь цари приходиша Русь на Царьгород» (ПВЛ., стр. 17, 852 год) к словам «яко Русь на Царьгород идеть» 6374 (866) года, отбрасывая ее начало и отожествляя, таким образом, поход, описанный в ПВЛ под 862 г., с походом Аскольда и Дира 866 года.
Вслед за переписанной летописцем статьей 6374 г. из ПВЛ: «По сих летех[п] братия сии изгибоша и быша обидими Древляны инеми окольными и наидоша я Казаре на горах сих седяща в лесах» *и т. д. по ПВЛ до статьи 6360 г. За этим:* «Но мы на преднее возвратимся.[р] И по сих братии той придоста два варяга и нарекостася князема: одиному бе имя Аскольд, а другому Дир, и беста княжаща в Киеве,[1] и владеюща полями, и беша ратнии с Древляны и Улици.	п) Новгородский летописец возвращается снова к Введению, где говорилось о Кие, Щеке и Хориве (стр. 16): «По сих летех по смерти братье сея быша обидимы Древлями и инеми окольними и наидоша я Козаре, седящая на горах сих в лесех».
В времена же Кия и Щека и Хорива Новгородстии людие, рекомии Словени и Кривици и Меря, Словене свою волость имели, а Кривичи свою, а Мере свою, каждо своим родом владяше, а Чюдь своим родом, и дань даяху Варягом от мужа по беле и веверици,[с] а иже бяху у них, то ти насилье деяху Словеном, Кривичем, и Мерям, и Чюди. И въсташа Словене и Кривичи, и Меря, и Чюдь на Варягы и изгнаша я за море и начаша владеть сами собе и городы ставити. И всташа сами на ся воеват, и бысть межи ими рать велика и усобица, и всташа град на град и беша в них правды. И реша к себе: «князя поищем, иже бы владел нами и рядил бы по праву...»	р) Реплика, применявшаяся и ранее новгородским летописцем при обращении к новому эпизоду своего источника ПВЛ. Ср. ПВЛ, стр. 9 Вводной части: «И по сих братьи держати почаша род их княженье в Полях, а в Деревлях свое, а Дреговичи свое, а Словени свое в Новгороде... От них же Кривичи иже седять на верх Волги, а на Ростове озере Меря. А се суть инии языци, иже дань дають Руси Чюдь, Меря, Весь...» Новгородский летописец пересказывает в сокращении географический очерк ПВЛ. с) Ср. ПВЛ 6367 (859) г.: «Имаху дань Варязи из заморья на Чюди и на Словенех, на Мери, на Вьсех, Кривичех, а Козари имаху на Полянех и на Северех, и на Вятичех имаху по беле и веверице от дыма». Новгородский летописец сокращенно пересказывает эту статью и далее обращается к следующей статье ПВЛ 6370 (862) г., так как статей под 860 и 861 г. не имеется в ПВЛ: «Изгнаша Варяги за море и не даша им дани и почаша сами в собе володети, и не бе в них правды».

[1] *В оригинале ошибочно* — Киева.

И в дальнейшем изложении новгородский летописец продолжает сокращенно пересказывать основной текст ПВЛ, но не делает, как в начале, выписок из разных мест своего оригинала, не нарушает исторической правды.

Сокращение текста ПВЛ в списках КАТ, Соф. I и родственных им сводах производится систематически. Приведенное нами сопоставление Предисловия и первых летописных статей Новгор. летописи к ПВЛ подтверждает вывод, сделанный на основании критики текста, что в руках у новгородского автора этих статей был текст ПВЛ, восходящий к протографу архетипа ИПХ.

Мы видели, как свободно и в то же время неумело обращался новгородский летописец со своим источником.

Сопоставляя приведенные нами данные о родстве всех списков Новг. I летописи (Син. и КАТ), а также списков Софийской I летописи с протографом архетипа ИПХ, мы можем утверждать, что древнейшая новгородская летопись, известная нам в соединении с ПВЛ, возникла на основе сокращения текста ПВЛ, известной нам по Ип., Погод. и Хлебн. спискам.

У редактора новгородского извода были, конечно, готовые погодные записи о новгородских событиях; соединяя их с ПВЛ, летописец создавал новгородский свод, большую историческую и литературную композицию по образцу киевского свода, а может быть, руководствуясь знакомым также ему русским переводом Хроники Георгия Амартола. С другой стороны, мы видим, что и киевский летописец, один из предшественников составителя ПВЛ, был хорошо знаком с общественно-политической жизнью Новгорода, но относился он к новгородцам недружелюбно (ср. иронический эпизод о новгородских банях).

Для установления первоначального текста ПВЛ из сказанного о новгородском ее изводе мы делаем следующий вывод: первоначальный текст новгородского извода ПВЛ (архетип списков Син., КАТ, Соф. I) не дает оснований судить о летописном тексте, предшествующем ПВЛ, но для установления текста ПВЛ, известного по спискам ЛРА и ИПХ, архетип Син.-Кат-Соф. I дает весьма авторитетные указания, особенно там, где он поддерживает не столько чтения родственного ему архетипа ИПХ, сколько чтения архетипа ЛРА.

Обращаемся к анализу списков группы ИПХ.

Ипатьевский список двадцатых годов XV в. и изданные в вариантах к нему Хлебниковский XVI в., и Погодинский (№ 1401) XVI в. (ПСРЛ, т. II), несомненно, восходят к одному общему тексту, мало отличающемуся от каждого из трех списков, близких между собой. К тому же архетипу ИПХ восходят и поздние списки, более изменившие текст архетипа ИПХ: Ермолаевский XVIII в., также близкий к Хлебниковскому, написанный

латинскими буквами Краковский список, скопированный, повидимому, с Погодинского (Шахматов, Обозрение, стр. 103), и Густынская летопись, восходящая к Хлебниковскому или ее протографу (по Шахматову).

Для восстановления архетипа всех этих списков вполне достаточны списки Ипатьевский, Хлебниковский и Погодинский.

Признавая Ип. и Хлебн. списки почти тожественными и восходящими «несомненно, к одному оригиналу» (вводн. часть к «Пов. вр. лет», стр. IV), А. А. Шахматов все же предполагает наличие общих источников и для Хлебн. с Лавр., и для Хлебн. с Радзивилловской летописей. Предположение общих источников для ЛХ и РХ является результатом анализа А. А. Шахматовым списков, изолированно от целых групп списков. У списков Ип., Пог., Хлебн. был ближайший общий текст, архетип ИПХ, отличный от текста и Лаврентьевского, и Радзивилловского списков.

Хлебниковский список представляет особый интерес, так как в его заглавии проставлено имя Нестора как автора (или редактора) ПВЛ. Имя Нестора в Хлебниковской летописи заимствовано, по А. А. Шахматову, из Владимировского полихрона начала XIV в., который впервые решился приписать ПВЛ киево-печерскому агиографу (Обозрение, стр. 115). Во вводной части к своей работе «Повесть временных лет» Шахматов считает, однако, что Нестор сам проставил свое имя в заглавии летописи (стр. XVIII). Вероятнее же всего, имя Нестора, встречающееся в Хлебн. сп. и немногих южнорусских списках летописи, проникло сюда из Киево-печерского патерика или же из отдельных списков статей, извлеченных из того же патерика и сохранивших имя киево-печерского агиографа.

Варианты к статьям 1051, 1074 гг. из Кассиановской II редакции Киево-печерского патерика, а также варианты к статье 6599 (1091) г. с именем Нестора из рукописи XVI в. Ленингр. Публ. библ. из собрания Погодина, № 898, указывают на близость всех этих текстов к архетипу ИПХ.

Сопоставляя обе старшие группы списков ПВЛ — группу Ип., Хл., Погод. списков и группу Лавр., Радз., Акад. списков, мы видим, что архетип ИПХ отличается от архетипа ЛРА настойчиво проводимым в нем расширением текста: добавлением статей, известий, а также и стилистической амплификацией. Все это наблюдается на всем протяжении ПВЛ.

Если бы текст новгородского извода ПВЛ восходил к тексту более древнему, чем текст архетипов ИПХ и ЛРА, то его свидетельство могло бы решить вопрос в пользу старшинства текста архетипа ИПХ, или архетипа ЛРА. Наши наблюдения, которые должны быть проверены детальной критикой текста всех списков новгородского извода, говорят о том, что текст

новгородского извода ПВЛ не старше архетипов ЛРА и ИПХ. Стало быть, важный вопрос о том, сократил ли редактор архетипа ЛРА протограф ПВЛ или же его дополнил и амплифицировал редактор архетипа ИПХ приходится решать на основе конъектуральной критики.

Самая яркая черта редактора архетипа ИПХ — его стремление усилить впечатление от излатаемых фактов путем их повышенной оценки и детализации. Редактор вставляет в текст своего оригинала большие эпизоды церковно-нравоучительного, проповеднического характера; он усиливает утверждения и оценки своего оригинала, добавляя слова и фразы.

Приведем примеры в порядке хронологического изложения ПВЛ. 1. Под 6476 (968) г., стр. 64, вар. 8—9, вместо лаконического «и реша: иди!» (ЛРА), в ИПХ читаем: «горожанин же ради бывше, ркоша отроку: „аще можети, како ити"». *2*. Под 6505 (997) г., стр. 124, вар. 7—8, вместо лаконического «и не бе воїі у него» в ИХ (в Погод. сп. здесь пропуск), читается: «и не бе лзе поити ему, и еще бо ся бяхуть не собрали к нему вои». *3*. Под 6523 (1015) г. стр. 128, вар. 10, в ИПХ и в списках новгородского извода вводится большая церковно-ораторская тирада в том же стиле редактора ИПХ: «Аще бо преже в невежестве етера быша съгрешения...». *4*. Под тем же годом, стр. 132, вар. 6, аналогичное добавление (ИХ и Син.): «Рече бо бог: кто идеть прельстить Ахава?». *5*. Под тем же годом продолжен текст псалма XXXV (стр. 133, вар. 14). *6*. Еще, стр. 134, вар. 1: «яко бритва изострена...» и далее цитата из Псалма I. *7*. В статье 6545 (1037) г., стр. 148, в ИПХ находим амплификацию статьи о Ярославе I в том же церковно-риторическом стиле. *8*. Под 6586 (1078) г., стр. 196, вар. 5—6, вместо «сечець исече» в ИПХ «Кияне исекл, котореи же высадили Всеслава из поруба». *9*. В статье 6605 (1097) г., стр. 257, вар. 3, вставлена фраза: «иже поидоша Береньдичи ко мне и веселися сердце мое и възвеселися ум мой». *10*. Самое значительное расширение текста находим в статье 6618 (1110) г., в большом рассуждении об ангелах. И этот эпизод написан в той же морализующей манере, как и предыдущие церковно-нравоучительные рассуждения редактора архетипа ИПХ, с его многочисленными цитатами. Наблюдения над текстом этого эпизода приводят к заключению, что он является позднейшей вставкой в ПВЛ. Распространенный эпизод ИПХ следует после слов, читающихся и в архетипе ЛРА о Моисее пророке, руководимом ангелом в виде огненного столпа: «ангел вож[д]ь бысть на иноплеменники и супостат бысть (ЛРА — и супостаты), якоже рече: ангел пред тобою предъидеть, и паки: ангел твой буди с тобою». В конце рассуждения редактор ИПХ повторяет ту же мысль, на которой он остановился, копируя свой основной источник, и в тех же выражениях:

«Яко же рече к Мойсееви: се ангел мой предидеть пред лицем твоим, яко же рекохом преже. Знаменье се бысть месяца февраля в 11 день, исходяще сему лету 18». Редактор текста ИПХ еще раз почти дословно воспроизводит текст ЛРА. Начало этого эпизода под 6618 г. читается в ИПХ (с вариантами из ЛРА) так: «В то же лето (ЛРА — том же лете) бысть знаменье в Печерском монастыри февраля в 11 день» (ЛРА—«в 11 день февраля месяца»).

А. А. Шахматов замечает о тексте ИПХ (Обозрение, стр. 81): «Многоречивость летописца, сказавшаяся в статье 1114 года, обличает его тожество с многоречивым составителем благочестивых рассуждений 1110 и 1111 года». Однако же на основании близости содержания статей обоих этих годов он полагает, что рассуждения об ангелах в Ипатьевской летописи все же являются первоначальным текстом, в ЛРА дает сокращенный его пересказ, с чем, в виду изложенного, нельзя согласиться.

Приведем еще несколько мелких амплификаций, характерных для стиля редактора архетипа ИПХ. Особенно часто он вставляет слова, усиливающие мысль: так, например, добавлено «вельми» к словам — «детеск» (6454 г.), «смыслен» (6463), «креститися» (6463), «разгневася» (6494); добавлено: «борзо» к слову «посла». К словам «моляще бога» добавлено «беспрестани» (6582); вместо «смирен» в ИПХ читается «смирен же умом» (6547), вместо «стонаньем», читается «стонаньем великом» (6605); вместо «и вынез нож и зареза Редедю», в ИПХ читаем: «и вынем нож, удари и в гортань ножем, и ту бысть зарезан Редедя» (6530). Архетип ИПХ отличается от архетипа ЛРА не только стилистически, но и значительным количеством фактических данных, являющихся записями современника излагаемых событий. Перечислим все эти летописные заметки в хронологическом порядке.

1. Под 6450 (942) г., стр. 4, вар. 4, в ИХ (в Погод. сп. здесь пропуск) добавлено: «В се же лето родися Святослав у Игоря». Это единственное добавление из глубокой древности; все же остальные записи относятся к событиям, начиная от 6584 (1076) г. Эти последние записи сделаны, повидимому, одним лицом. *2.* Под 6584 (1076) г., стр. 193, вар. 2, добавлены сообщения о рождении у Владимира Мономаха сына Мстислава и о том, что Всеволод Ярославич сел на столе 1 января. *3.* Под 6595 (1087) г., стр. 201, вар. 1, в ИПХ добавлено: «в се же лето ходи Всеволод к Перемышлю». *4.* Под 6606 (1098) г., стр. 263, после повторения в одной фразе о походе на Святополка, изложенного ранее под предыдущим, 1097 годом, в ИПХ читаем: «В се же лето заложи Володимер церковь камяну святое богородици Переяславли на княже дворе. Того же лета за-

ложи Володимер Мономах город на Вътри». *5.* Под 6607 (1099) г., стр. 263, вар. 8, в ИПХ читается сообщение об астрономическом явлении («знамение над Володимеремь»), имевшем место в апреле месяце. *6.* Под 6609 (1101) г., стр. 265, вар. 1, добавлено: «В се же лето Володимер заложи церковь у Смоленске святое богородице камяну епискупью». Под 6610 (1102) г., стр. 266, еще два фактических добавления в ИПХ: «в се же лето преставися Володислав, Лядьский князь» и ниже: «в то же лето родися у Володимера сын Андрей». *7.* Под 6613 (1105) г., стр. 270, находим три новых известия: а) «увалися верх святого Андрея», б) «том же лете явися звезда с хвостом на Западе и стоя месяц» и непосредственно за этим в) «того же лета пришед Боняк зиме на Зарубе и победи Торки и Берендее». *8.* Под 6614 (1106) г., стр. 271, вар. 7, в ИПХ добавлено: «того же лета помраченье бысть в солнци августа» (в Ип. здесь пропуск). *9.* Под 6617 (1109) г., стр. 273, вар. 15, добавлено: «1000 вежь взя послани Володимером князем»; под 6618 (1110) г., стр. 273, вар. 16, добавлено: «Того же лета пришедше Половци, воеваша около Переяславля по селам; того же лета взяша Половци, идучи назад, много сел (в ХП «полон у Чючина», вместо «много сел»).

Не трудно заметить, что наибольшее количество известий относится к начальным годам XII в.: интенсивнее становится здесь и стилистическая переработка текста (сравнительно с текстом архетипа ЛРА). Широко литературно разработанная статья 6619 (1111) г. о походе русских князей на половцев, о котором в ЛРА упомянуто в одной лишь фразе, обнаруживает основные черты стиля того же редактора, редактора архетипа ИПХ, талантливого повествователя, хорошо владеющего проповедническим стилем. Это, повидимому, образованный монах, близкий к Владимиру Мономаху, на что указал А. А. Шахматов (Обозрение, 85), отмечая, что фактические добавления в ПВЛ и особенно статья 1111 г. связаны с деятельностью этого князя. Мы знаем и о другом писателе, повидимому, светском лице, приближенном Владимира Мономаха, который в манере, сходной с летописной, но более сдержанной, чем у редактора архетипа ИПХ, без его церковно-учительных и ораторских приемов, завершил Сказание о чудесах Бориса и Глеба эпизодом о перенесении их мощей в 1115 г.

Статья этого автора написана в тоне панегирика Владимиру Мономаху и с явно пристрастным отрицательным отношением к его врагу Святополку Изяславичу.

В статье 6616 (1108) г. редактор архетипа ИПХ называет печерского игумена Феоктиста «анхимандритом игуменом» (так читается во всех трех списках). Стало быть, архетип ИПХ возник после 1174 г., когда Киево-печерский монастырь становится

архимандритией. Это, конечно, не заставляет относить к этому времени работу редактора протографа архетипа ИПХ: слово «анхимандритом» могло быть вставлено в одну из последующих копий.

Обращаемся к рассмотрению последней группы близко родственных списков: Лаврентьевского, Радзивилловского, Московско-Академического и известной нам части сгоревшего Троицкого списка.

Летопись, переписанная в 1377 г. с готового оригинала (Шахматов, Обозрение, стр. 9) монахом Лаврентием для великого князя Дмитрия Константиновича, в той части, которая содержит ПВЛ, не обнаруживает по сравнению с близко родственными списками и списками других групп (ИПХ, новгородский извод) элементов редаторской переработки. Это текст, который входит в состав двух остальных групп. Лаврентий был исправным переписчиком, о чем свидетельствует почти полное тожество его списка с Радзивилловским, Академическим и особенно Троицким. Описки и пропуски в Лавр. списке легко восстанавливаются по остальным трем спискам группы при поддержке текста других групп. «Повесть временных лет» Лаврентьевская передает так же полно, как Ипатьевская», пишет А. А. Шахматов (Обозрение, стр. 16), и с этим нельзя не согласиться. Сопоставляя мелкие чтения списков группы ЛРА, Шахматов, как и в других аналогичных случаях, объясняет совпадения мелких чтений списков мозаичной работой редактора Лавр. списка. Текст Лаврентьевской летописи составлен, по Шахматову, из элементов (часто очень мелких) текста Владимирского полихрона XIV в. и из летописи Переяславля Суздальского, т. е. — из памятников, самое существование которых является гипотезой. Если бы один из предшественников монаха Лаврентия действительно проделал такую сложную и кропотливую работу, мы имели бы в Лаврентьевской летописи текст, значительно более отличающийся от Радз., Акад. и Троицкого списков, а между тем все списки близки один к другому местами до полного тожества, повторяя одни и те же гаплографии и другие ошибки, которых немало и в архетипе ЛРА.

Все указания Шахматова на статьи, заимствованные в Лаврентьевскую летопись из того или иного источника, построены на гипотезах, не подтверждающихся документально. Так, например, на стр. 24—25 Обозрения Шахматов пишет, что текст Похвалы Владимиру под 1015 г. «в Лаврентьевской летописи производит впечатление краткого извлечения из текста Ипатьевской; также на основании близости содержания статей 1110 и 1111 гг. (рассуждение об ангелах) Шахматов полагает, что текст Лавр. сокращает соответствующий текст Ип., но ниже (Обозрение, стр. 83) мы читаем: «Критерием для признания того или

другого места Ипатьевской летописи вставкой, появившейся во второй редакции „Повести временных лет“, мы признаем или отсутствие его в Лаврентьевской, или сокращенную передачу его в Лаврентьевской, или, наконец, замену его в Лаврентьевской другим текстом». Лаврентьевский список, стало быть признается Шахматовым первоначальным исправным текстом ПВЛ.

Приведя ошибки Лавр. списка, Шахматов замечает: «Из всего вышеизложенного явствует, как ненадежен текст Лаврентьевской летописи для восстановления по нему первоначального текста „Повести временных лет“» (Обозрение, стр. 37). Не так пессимистически, и вполне основательно, оценивает Шахматов текст Лавр. списка в своей вводной части к «Пов. вр. лет» (т. I, стр. IX): «Список Лаврентьевский, — пишет он, — должен быть признан наиболее исправным». Установление первоначального текста «Повести временных лет» вполне целесообразно выполнено Шахматовым на основе Лаврентьевской летописи.

Сгоревший в 1812 г. Троицкий пергаментный список XV в. известен по вариантам к изданию Лаврентьевского списка до средины статьи 6415 (907) г. Он восходит к архетипу ЛРАТ, сближаясь то с Л, то, реже, с РА. С текстом Троицкой летописи тожественна Симеоновская летопись XVI в. (библ. Академ. Наук; о ней см. Обозрение Шахматова, стр. 38). Дополнительного источника у Троицкой летописи в дошедшей части ПВЛ мы, вопреки А. А. Шахматову (см. Обозрение, стр. 39—40), не усматриваем. Троицкая и Лаврентьевская летописи являются копиями с одного оригинала.

Радзивилловская или Кенигсбергская летопись (список конца XV в.) и Московско-Академический список XV в., несомненно, восходят к одному тексту, к архетипу РА.

Так как Радз. и Акад. списки не повторяют ряда ошибок Лавр. списка, их, понятно, нельзя возводить к последнему, как это делает А. А. Шахматов (Обозрение, таблица на стр. 55). Мы можем с уверенностью говорить только об архетипе РА, восходящем к тому же тексту, к которому восходит и Лаврентьевский список ПВЛ.

Все огромное количество вариантов РАТ к тексту Лаврентьевского списка явно свидетельствует о наличии архетипа ЛРАТ, отличного от архетипов остальных групп. Архетип ЛРАТ заключает в себе наиболее типичный текст ПВЛ, входящий с рядом изменений в состав остальных групп и ИПХ, и новгородского извода, а это значит, что он ближе всего к первоначальному тексту ПВЛ, т. е. к тому тексту, к которому восходят все три группы.

Критика текста известных нам списков ПВЛ дает возможность восстановить только этот текст, по составу близкий к архетипам ЛРА и ИПХ. Предшествующая же история текста ПВЛ — тема для более или менее обоснованных и остроумных гипотез.

Совершенно очевидно, что архетип ЛРА нельзя возвести к архетипу ИПХ, так как в ЛРА нет многочисленных пропусков архетипа ИПХ (они перечислены Шахматовым, на стр. 94—96 Обозрения в качестве пропусков редактора одного лишь Ипатьевского списка); нет в ЛРА и ряда явных ошибок ИПХ (в Обозрении, стр. 99—100, они также неверно отмечены как ошибки одной Ипатьевской летописи). Признав архетип ИПХ, вернее, протограф архетипа ИПХ, основным текстом, а ЛРА его сокращением, мы должны были бы объяснить, почему редактор архетипа ЛРА систематически удалял отдельные выразительно усиливающие смысл слова, целые тирады церковно-нравоучительного характера. Особенно трудно было бы найти причину систематического удаления из архетипа ЛРА всех документальных данных, связанных с Владимиром Мономахом; ведь неприязни к нему мы не находим в архетипе ЛРА.

Шахматов считает Лавр. список главным представителем Сильвестровской редакции 1116 года, а списки Ип., Хлебн., Радз., Акад. — представителями Киево-печерской редакции 1118 года («Пов. вр. лет», вводная часть, стр. IX).

Такая классификация списков не поддерживается критикой текста ПВЛ.

Шахматов полагает, что и «Ипатьевская летопись положила в основание своей редакции „Повести временных лет" древний текст игумена Сильвестра». Основанием для такого предположения служит то, что «выдубицкому летописцу 1198—1199 гг. не могла не быть известна „Пов. вр. лет" в редакции игумена Сильвестра» (Обозрение, стр. 80).

Редактор Ипатьевской летописи не мог, как полагает А. А. Шахматов, предпочесть ПВЛ в Галицко-Волынской или Черниговской летописи редакциям Киевского свода и Владимирского полихрона (Обозрение, стр. 80). Эта аргументация недостаточна, чтобы возводить текст Ипатьевского списка «Повести временных лет» к редакции Сильвестра, представленной архетипом ЛРА. Нет у Шахматова также документальных убедительных доводов для признания общим источником Ип. и Лавр. списков неизвестного в списках Владимирского полихрона XIV в.

Из этих неверных предпосылок вытекает и следующий неубедительный компромиссный основной вывод А. А. Шахматова. «Списки Ипатьевский и Хлебниковский представляют текст Киево-печерской редакции, измененной и дополненной по Сильвестров-

ской; список Лаврентьевский в существенных чертах восходит к Сильвестровской редакции, но содержит заимствования и исправления из Киево-печерской редакции; списки Радзилловский и Московско-Академический сумели соединить главные особенности обеих редакций» (вводная часть «Пов. вр. лет», т. I, стр. XLII). Шахматов, однако, делает важное замечание, которое утверждает подлинное взаимоотношение обеих групп ЛРА и ИПХ: известия третьей редакции (1118 г.), лишние против Сильвестровской редакции ПВЛ, это «все те известия, которые имеются в ИХ и отсутствуют в ЛРА» (примечание на стр. XXXVIII «Пов. вр. лет»).

Искусственное сближение списков двух групп, совершенно явно восходящих к различным архетипам ЛРА и ИПХ, создает круг, из которого невозможно выйти, работая над восстановлением первоначального текста ПВЛ.

Сам А. А. Шахматов базируется при установлении текста основной Сильвестровской редакции на одном Лавр. списке, не исправляя его даже в тех случаях, где явно очевидно из вариантов РА и ИПХ, что Лавр. список дает поздний, измененный текст. Работая над первоначальным текстом ПВЛ, Шахматов не считается со своим выводом о взаимодействии текстов обеих редакций ПВЛ. Во вводной части к «Пов. вр. лет» он говорит, что исправлял текст Лавр. списка (для Сильвестровской редакции) и Ипатьевского и Погодинского (для Киево-печерской редакции) только в крайних случаях (явные пропуски и искажения), сомнительные же случаи толковал в пользу основных списков. «Но несомненно, — пишет Шахматов, — что это правило не выдержано мною последовательно, и я уступал нередко впечатлению от видимо лучшего чтения, заменяя этими „лучшими“ чтениями чтения основных списков. Ставлю себе в вину эти уступки, но пересмотр исправлений отлагаю до следующего издания» (стр. LXII).

В Обозрении Шахматов пишет: «... Мы отмечаем все вставки и на основании внутреннего их содержания (единственно доступный критерий!) определяем, какую из них возвести ко второй редакции „Повести временных лет“ и какую к позднейшим летописным редакциям» (стр. 83). Стало быть, намеченная Шахматовым история текстов ПВЛ по спискам не помогла в его работе по установлению первоначального текста. Шахматову не помогли его сложные схемы по генеалогии списков и в его работе по восстановлению текста древних сводов.

Установленная нами выше история текста ПВЛ в основном не разрушает установившихся в науке выводов; она не входит в резкий конфликт и с выводами Шахматова.

Мы пришли к заключению, что списки новгородского изво-

да ПВЛ восходят к тексту протографа архетипа ИПХ, что архетип ЛРА и ИПХ восходят к общему тексту, который и является предельно доступным для установления ПВЛ.

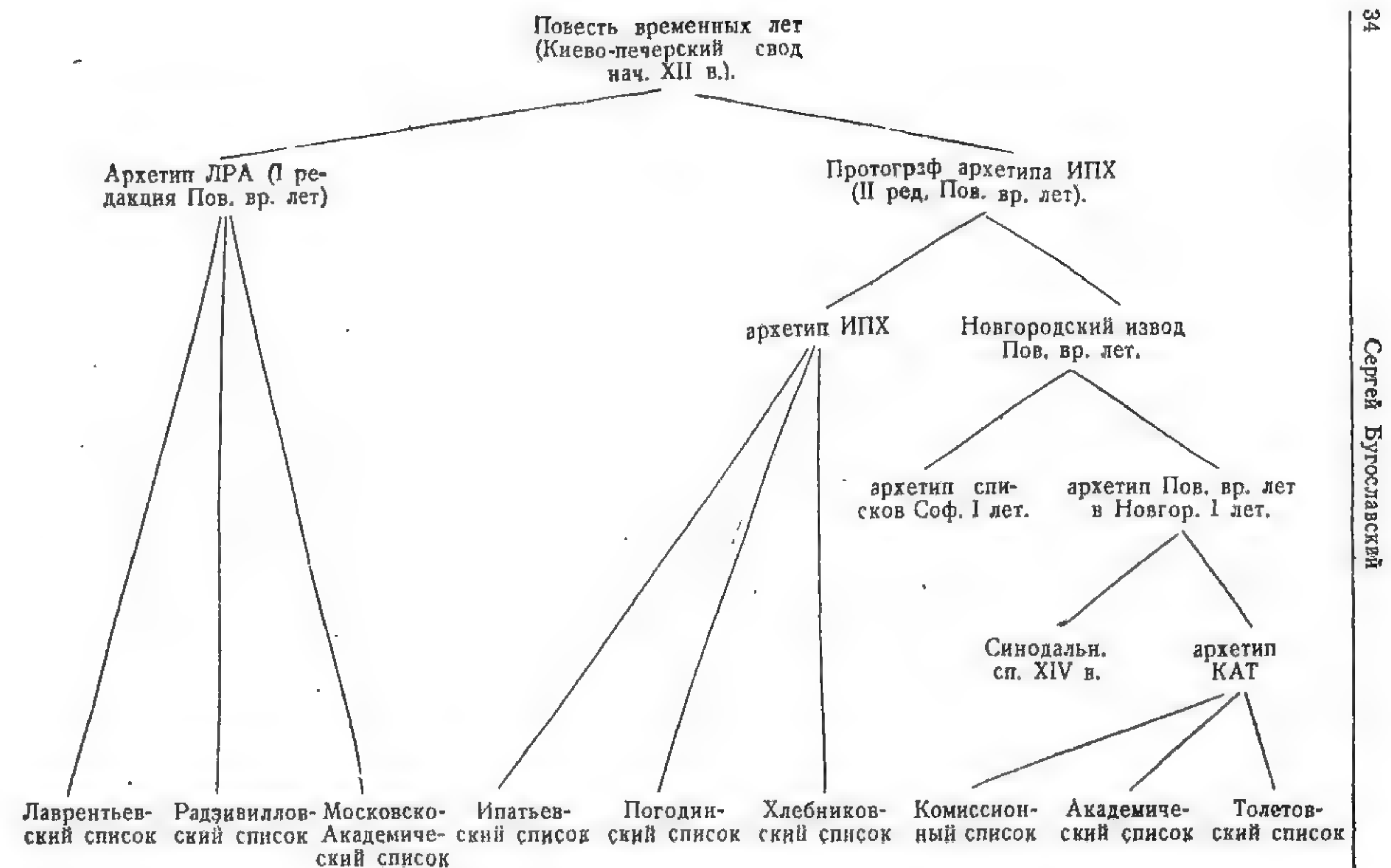
Эти выводы могут быть изложены в графической схеме (см. стр. 34).

Из приведенной истории текста списков ПВЛ следует, что для установления доступного исследованию первоначального текста ПВЛ (архетип ЛРА—ИПХ) мы должны принять за основу текст Лаврентьевской летописи и внести в него исправления в следующих случаях: 1) когда Лавр. список дает чтения, опровергаемые вариантами РА и ИПХ (или ИХ, там где в П имеется пропуск); в этих случаях Лавр. список отступил от текста архетипа ЛРА; 2) когда чтение ЛРА отступает от ИПХ, но поддерживается списками новгородского извода; это значит, что архетип ИПХ отступает от текста протографа архетипа ИПХ; 3) в затруднительных случаях, когда сближаются отдельные списки группы ЛРА и ИПХ, — в виду пробелов, пропусков в других приходится прибегать к незначительным конъектурам. Самая крупная поправка, сделанная только на основании архетипа ИПХ, — это вставка статьи 6594(1086) г., где впервые упоминается имя Янки, дочери князя Всеволода (стр. 199, вар. 5). Это необходимо было сделать потому, что ниже (6597 г.) и в архетипе ЛРА читается: «иде Янка..., реченая преже», а между тем до этого в ЛРА о Янке ничего не говорилось.

Всякое установление исчезнувшего первоначального текста, конечно, приблизительно и гипотетично; тщетны, полагаем, и попытки воссоздать формы языка и орфографию оригинала. К тому же единообразные исправления фонетики и морфологии вносят в живое написание слов с колебаниями и переписчика, и самого автора искусственность и схематизм. Ведь памятником языка XII в. устанавливаемый текст быть не может. Мы поэтому предпочли, внося исправления, диктуемые логикой истории текста, оставить элементы языка и орфографии Лавр. списка. Оставив живые черты языка и орфографии, возможно, поздней копии ПВЛ, мы все же будем ближе к оригиналу, чем полностью изменяя, на основании наших сведений, всю орфографию текста.

Одно из важнейших исправлений, внесенных в текст Лавр. списка на основе показаний списков обеих старших групп (РАИХ в противовес ЛТ), касается самого заглавия, которое в оригинале ПВЛ читалось так: «Повесть временных лет черноризьца Феодосиева монастыря Печерьского, откуда есть пошла Русьская земля и кто в ней почал пьрвее княжити и откуда Русьская земля стала есть».

Все известные списки ПВЛ, таким образом, восходят к Киево-печерскому летописному своду. Свод этот составлен после


Повесть временных лет (Киево-печерский свод нач. XII в.).
Архетип ЛРА (I редакция Пов. вр. лет)
Протограф архетипа ИПХ (II ред. Пов. вр. лет).
архетип ИПХ
Новгородский извод Пов. вр. лет.
архетип списков Соф. I лет.
архетип Пов. вр. лет в Новгор. I лет.
Синодальн. сп. XIV в.
архетип КАТ
Лаврентьевский список
Радзивилловский список
Московско-Академический список
Ипатьевский список
Погодинский список
Хлебниковский список
Комиссионный список
Академический список
Толстовский список

смерти князя Святополка Изяславича, т. е. после 17 апреля 1113 года, так как слова «а от смерти Ярославли до смерти Святополчи лет 60» под 6360 (859) годом (стр. 17, вар. 9) читаются во всех списках (в ИПХ ошибочно: Ярополчи). Слова вводной части ПВЛ «яко же се и при нас ныне половци закон держать отець своих» (стр. 15) подтверждают, что пред нами свод не ранее конца XI—начала XII в. (половцы стали известны у нас не ранее 60-х г. XI в.).

Установив первоначальное заглавие и текст ПВЛ, мы можем увереннее говорить и об участии в летописании Сильвестра, игумена киевского Выдубицкого монастыря, назвавшего себя в записи после статьи 6618 (1110) г., помеченной 6624(1116) г. Умер Сильвестр, будучи переяславским епископом, согласно сообщению летописи, в 1123 г.

Сильвестр, как видно из списков РА, не удалил в заглавии слов «черноризца Феодосиева монастыря Печерского», хотя не был сам монахом этого монастыря. В своей записи Сильвестр называет свод не «Повесть временных лет», а «Книга си летописец», стало быть, заглавие принадлежит не ему.

Заканчивая свой труд в 1116 г., Сильвестр ничего не добавил к последней статье (1110 г.) своего источника; он не пытается ее даже закруглить привычными финальными литературными формулами, которые столь естественны не только у писателей, но и у многих переписчиков, завершавших подобный огромный труд.

Мы указывали, что архетип ЛРА заключает старый типичный текст без попыток внести редакционные изменения в свой оригинал. Все это приводит к заключению, что Сильвестр был не редактором свода, а его переписчиком. Стиль его записи напоминает аналогичные формулы переписчиков, которые видели в своем труде духовный подвиг. Стало быть, прав акад. В. М. Истрин, высказавший, правда, не аргументированное, предположение о том, что Сильвестр был переписчиком, не внесшим в свой оригинал никаких редакторских переделок. Запись была сделана им на новом листе новой тетради; впоследствии она попала в самый текст Лаврентьевского списка («Замечания о начале русского летописания», ИОРЯЗ, 1922, т. XXVII). Сильвестр мог, конечно, сделать свою запись и на последнем листе, приклеенном к переплету.

На чем же заканчивалась ПВЛ? А. А. Шахматов предполагает ряд последовательных ее редакций от 1112 по 1118 г. Однако все эти редакции — гипотезы; они не подтверждены документально, и анализ текста не дает для этого достаточной опоры. В. М. Истрин полагает: «Кто бы ни составлял Повесть временных лет, Нестор или Сильвестр, она не заходила за 1115 год» (ИОРЯЗ, 1922, т. XXVII, стр. 232).

Сравнение текстов ЛРА, ИПХ и новгородских летописей (Син. список, КАТ, Соф. I и Новг. IV) в части, продолжившей ПВЛ, свидетельствует о том, что у редакторов всех групп списков был какой-то общий текст примерно до начала 1140-х гг. Новгородский извод пользуется списком, близким к архетипу ИПХ, примерно до 1125 г., т. е. до статьи о смерти Владимира Мономаха.

С 1111 года над продолжением текста и архетипа ЛРА, и архетипа ИПХ работают уже новые летописцы. Мы наблюдали, что в тексте до 1111 г. в ИПХ обнаруживался автор — апологет Владимира Мономаха, а между тем под 6633 (1125) годом мы читаем широко развитую надгробную речь князю не в ИПХ, а в ЛРА. Автор статьи 6633 (1125) года в архетипе ИПХ уделяет покойному князю всего несколько строк, при этом он пересказывает сокращенно текст ЛРА; у него нет того интереса и расположения к Владимиру Мономаху, как у его предшественника.

Наблюдения над вариантами показывают, что ПВЛ как цельный, литературно обработанный памятник, заканчивается в ЛРА на 1110 годе (в ИПХ на 1111). Далее разными лицами велись, повидимому, погодные записи-заметки, без попытки их литературно обработать (исключение представляет собой похвала Владимиру Мономаху в ЛРА). Эти заметки встречались в общем тексте архетипов ЛРА и ИПХ приблизительно до начала 40-х годов XII в.: между ЛРА и ИПХ, а также новгородским изводом обнаруживается текстуальное родство примерно до статьи 6649 (1141) года.

* * *

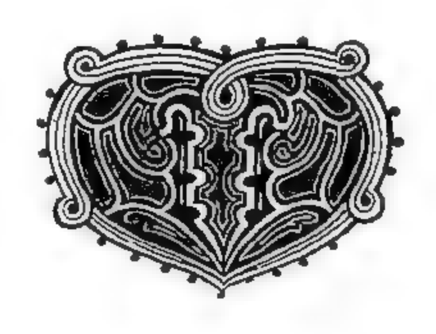
Резюмируем наши наблюдения.

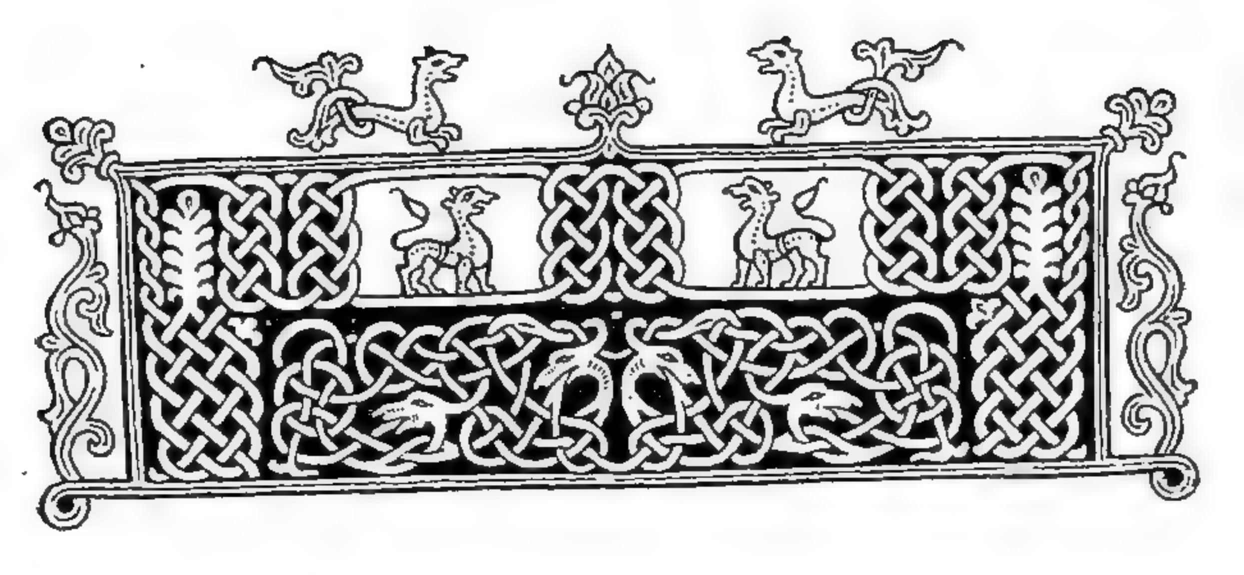
1. «Повесть временных лет» — летописный свод, составленный неизвестным монахом Киево-печерского монастыря в годы княжения Владимира Мономаха, вскоре после 1113 г. Он дошел до нас в незначительно поврежденном виде (в отдельных местах текста), но в составе, почти тожественном оригиналу. Текст этого оригинала мало отличался от текста архетипа ЛРА (стало быть, и от Лавр. списка) и может быть достаточно восстановлен на основании текста Лавр. списка.

2. В годы княжения Владимира Мономаха появилась и вторая редакция «Повести временных лет» (протограф архетипа ИПХ), с рядом фактических дополнений и незначительной стилистической амплификацией первоначального текста. Редактор протографа архетипа ИПХ осторожно переработал свой оригинал, близкий к архетипу ЛРА, в духе агиографических и проповеднических русских сочинений конца XI — начала XII вв. Эта редакция заканчивалась, вероятно, большим рассуждением об ангелах под 6619 (1111) годом.

3. Один из ранних и исправных списков второй редакции был соединен с новгородскими погодными записями, не составлявшими еще, повидимому, летописного свода. Так было заложено основание новгородским летописным сводам. Наиболее полные и исправные списки новгородского извода «Повести временных лет» не дают оснований видеть в архетипе этих списков Син.-КАТ-Соф. I остатков сводов, предшествующих «Повести временных лет».

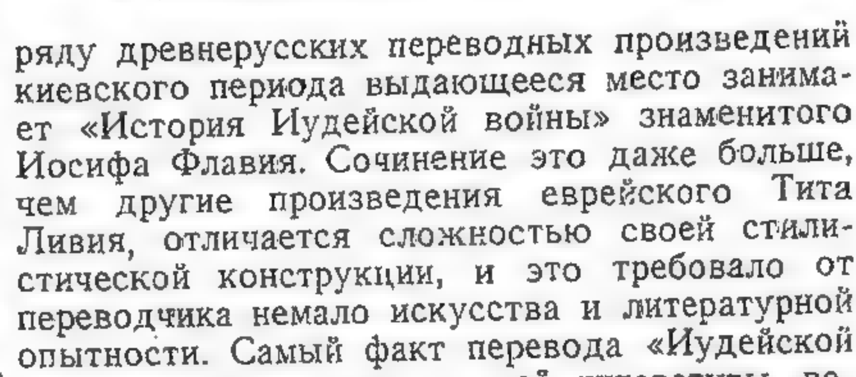
Ближайшей задачей в области изучения летописных текстов считаем детальную критику текста летописных сводов, включивших в свой состав новгородский извод «Повести временных лет», восстановление текста древнейших новгородских сводов и изучение этого текста сравнительно с текстами двух киево-печерских редакций «Повести», представленных группами ЛРА и ИПХ.





Н. К. ГУДЗИЙ

«ИСТОРИЯ ИУДЕЙСКОЙ ВОЙНЫ» ИОСИФА ФЛАВИЯ В ДРЕВНЕРУССКОМ ПЕРЕВОДЕ



В ряду древнерусских переводных произведений киевского периода выдающееся место занимает «История Иудейской войны» знаменитого Иосифа Флавия. Сочинение это даже больше, чем другие произведения еврейского Тита Ливия, отличается сложностью своей стилистической конструкции, и это требовало от переводчика немало искусства и литературной опытности. Самый факт перевода «Иудейской войны» уже в начальную пору развития нашей литературы, вероятнее всего — еще в эпоху Ярослава Мудрого, весьма примечателен; он свидетельствует не только о быстром созревании древнерусской литературной культуры, но и о больших ее достижениях уже на ранней стадии ее развития.

Поэтический стиль воинских эпизодов перевода «Иудейской войны» сильно повлиял на ряд последующих произведений русской литературы. Видимо, он отразился уже на «Слове о полку Игореве» и, несомненно, на целом ряде наших воинских повестей вплоть до XVII в. включительно.

Сам Иосиф Флавий во введении к «Иудейской войне» говорит о том, что сначала он написал ее на своем родном языке

т. е. по-арамейски, и лишь потом — в сотрудничестве с образованными греками — перевел ее на греческий язык, с целью сделать доступной римским гражданам. В этом переводе отдельные места оригинала, оскорбительные для римлян, были смягчены.

Еще в 1866 г. А. Н. Попов при обследовании хронографов русской редакции обратил внимание на то, что русский перевод «Иудейской войны», дошедший до нас в списках не ранее XV в., в ряде случаев не совпадает с дошедшим до нас ее греческим текстом. А. Н. Попов отметил преимущественно дополнения русского текста сравнительно с греческим.[1] То же сделал позднее И. И. Срезневский при описании русского текста сочинения Иосифа Флавия по рукописи Волоколамской библиотеки XVI в.[2]

Выход в свет — в самое последнее время — полного русского текста «Иудейской войны», напечатанного В. М. Истриным по двум спискам — б. Архива Министерства иностранных дел (XV в.) и Волоколамского монастыря (XVI в.),[3] — дает возможность уточнить отличия русского перевода от дошедшего до нас греческого текста памятника. Сопоставление того и другого приводит к заключению, что если сохранившийся греческий текст «Иудейской войны» считать оригиналом нашего перевода, то приходится говорить не столько о переводе, сколько о свободном переложении иноязычного текста, по языку близкого к языку некоторых оригинальных русских памятников XI—XII вв., в первую очередь — к «Повести временных лет». По сравнению с известным нам греческим текстом русский текст большею частью является сокращенным, но имеются в нем и кое-какие дополнения; в иных случаях вместо косвенной речи греческого текста в русском выступает речь прямая, и наоборот.

Если не считать отсутствия в переводе введения к первой книге, в котором излагаются причины, побудившие автора написать свое сочинение, и дается краткое содержание всех семи книг, а также краткого заключения в несколько строк, где Иосиф Флавий говорит об исторической правдивости своего повествования, то все сокращения сводятся не к исключению отдельных частей, имеющихся в греческом тексте, а к сжатому их пересказу. Что касается дополнений русского текста, то наиболее существенные из них — те, в которых встречаются упоминания об Иоанне Крестителе и о Христе. В слове втором

---

[1] См. «Обзор хронографов русской редакции», вып. 1-й, М., 1866, стр. 116, 130—139.

[2] См. «Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках», LXXXV, Спб., 1879 стр. 140—144. См. еще А. В. Горский и К. И. Невоструев. Описание Великих четьих-миней Макария, митрополита всероссийского. «Чтения ОИДР», 1886, кн. 1-я, стр. 111—114.

[3] La Prise de Jérusalem de Joseph le Juif. Texte vieux-russe publié intégralement par V. Istrin, tt. I—II, Paris, 1934—1938.

русского текста (в русском переводе «Иудейская война» поделена не на книги, а на «слова») говорится о появлении в Иудее некоего мужа, покрытого звериными шкурами, с лицом дикаря. Он призывал евреев к свободе, объявляя себя посланником божиим, который освободит их от подчинения всякой власти, кроме власти бога. Услышав эти слова, «все были рады, и за проповедником пошла вся Иудея и все те, кто был окрест Иерусалима. И ничего иного он не творил, кроме погружения людей в Иордане, увещевая их отказаться от злых дел и обещая им пришествие царя, который освободит их и покорит непокорных, сам же не покорится никому. В ответ на его слова иные бранились, другие же принимали их с верою. Представ перед правителем Иудеи Архелаем и его закономудрецами и отвечая на угрозы предать его мучениям, если он не прекратит своей деятельности, проповедник сам стал призывать своих обвинителей к прекращению их скверных дел и к служению богу. Не испугавшись дальнейших угроз и пригрозив своим преследователям несказанной пагубой, он беспрепятственно перешел на другую сторону Иордана и там продолжал творить то же, что творил и прежде».

В том же втором слове русского текста об Иоанне Крестителе речь идет в связи со сном, который приснился сыну Ирода Великого Филиппу, бывшему первым мужем Иродиады (по евангельскому преданию, — виновницы казни Иоанна). Филиппу будто бы приснилось, что орел клевал оба его глаза. Когда мудрецы разгадывали этот сон, внезапно пришел никем не званый человек, о котором ранее сказано было, что он ходил по Иудее в звериных шкурах и крестил людей в Иордане, и сказал: «Слушай слово господне. Орел, которого ты видел во сне, — это твоя страсть к мздоимству, ибо птице этой свойственны насилие и хищничество, и грех тот лишит тебя очей, которые суть область твоя и жена твоя». И по слову Иоанна еще до наступления вечера умер Филипп, и область его перешла к Агриппе, а жену его Иродиаду взял Ирод, брат его. За это все законники гнушались им, но не смели обличать его в глаза. Только тот муж, которого называли диким, пришел к нему с яростью и сказал: «Так как ты, беззаконник, взял себе в жены жену брата, то, как твой брат умер немилостивою смертью, так и ты посечен будешь серпом небесным. Не пребудет в молчании божий промысел, но уморит тебя в иных странах, ибо тобой руководит не забота о продолжении братнего рода, а плотская похоть, и ты прелюбодействуешь, потому что от брата твоего осталось четверо детей». Услышав это, Ирод велел избить Иоанна и выгнать его, но так как он не унимался и всюду, где встречал, обличал Ирода, то, разгневавшись, Ирод приказал казнить Иоанна. Далее, вслед за рассказом об образе жизни Иоан-

на, говорится об изгнании Тиверием Ирода и Иродиады в Испанию и о смерти там обоих «с скорбьми многами».

Там же, в русском переводе, через несколько строк, идет речь о Христе: «Тогда явился некий муж, если вообще позволено называть его мужем. И естество и образ его были человеческие, видом же он превосходил человека, а дела его были божественные, и творил он чудеса дивные и великие. Поэтому нельзя назвать его человеком. Но, глядя на его естество, не назову его и ангелом». Далее говорится, между прочим, что этот муж приобрел себе много последователей в народе, который надеялся, что с его помощью он освободится от римского владычества. Видя, что он одним своим словом творит все, что хочет, народ призывал его избить римских воинов вместе с Пилатом и царствовать над иудеями, но он оставил эту просьбу без внимания. Власти же еврейские, чувствуя себя слабыми перед римлянами и желая выслужиться перед Пилатом, донесли ему о том, какие надежды возлагает народ на чудотворца. Пилат велел казнить большое количество народа, но, когда к нему привели чудотворца, он, убедившись в том, что этот человек не злодей, не мятежник и не стремится к царской власти, отпустил его, тем более, что он исцелил его умирающую жену. Между тем, количество приверженцев чудотворца росло, и законники, побуждаемые завистью, дали Пилату 30 талантов, чтобы он убил его. Пилат принял деньги и разрешил законникам поступить с чудотворцем, как они хотят. Законники же распяли его по закону отцов.

В пятом слове русского перевода находим еще три добавления, в которых говорится о Христе. В первом из них, после сообщения о трех надписях («титлах»), находящихся в храме, сказано: «и над теми титлами четвертая титла висяше, теми грамотами показаа Исуса царя не царствовавша, распятаго от июдеи, зане проповедаше разорение града и опустение церкви». Во втором добавлении говорится о церковной завесе и о воскресении Христа. Завеса ранее была цела, потому что благочестивы были люди; теперь же жалостно было смотреть на нее: внезапно разорвалась она от верху до низу, когда творившего добро мужа за мзду предали на смерть. И много других страшных знамений было тогда. По поводу того, что убитого после погребения не нашли в гробу, одни говорили, что он воскрес, другие же — что он был выкраден его друзьями. Автор сам не решается сказать, кто был прав: «мертвый сам не может воскреснуть, но разве молитвою иного праведника. Или это может быть ангел, или кто другой из небесных сил, или сам бог явится в образе человека и сотворит что хочет, и ходит с людьми, и умрет, и будет погребен, и воскреснет по своей воле». Иные же говорили, что нельзя было его выкрасть, потому что у гроба

была стража в 1000 человек римлян и 1000 человек иудеев. Далее, при упоминании о Лазаре, здесь добавлено: «его же воскреси от гроба Исус изгнивша».

Помимо этих добавлений, в русском тексте имеется еще (в первом слове) два резких выпада против римлян, а также резкая характеристика Ирода Великого, отсутствующие в соответствующем месте греческого текста. Впрочем отрицательная характеристика Ирода, в другом освещении, в греческом подлиннике имеется.

Естественно возникает вопрос в первую очередь о том, кто был автором всех указанных дополнений русского текста, не находящих себе соответствия в греческом тексте, в особенности довольно частых упоминаний об Иоанне Крестителе и о Христе. Об обоих по одному разу упоминается и в позднейшем сочинении Иосифа Флавия — в «Иудейских древностях» (XVIII книга), но наиболее авторитетные ученые, занимавшиеся Флавием, давно уже высказались в том смысле, что мы здесь имеем дело с позднейшей вставкой, принадлежащей какому-либо христианскому автору. Что же касается аналогичных мест в русском тексте «Иудейской войны», то по поводу их в течение долгого времени ни в русской, ни в западноевропейской науке не высказывалось никаких суждений. Лишь в 1906 г. немецкий ученый Берендтс, познакомившись с русскими списками «Иудейской войны», пришел к мысли, что автором всех дополнений русского перевода был сам Иосиф Флавий.[1] По предположению Берендтса, Иосиф, переведя свой труд с арамейского на греческий, впоследствии переработал свой греческий перевод, исключив из него все те места, которые могли быть неприятны евреям, т. е., прежде всего, упоминания об Иоанне Крестителе и о Христе. Христиане же не сохранили первоначальной редакции потому якобы, что эти упоминания были слишком недостаточны, и по сравнению с соответствующими евангельскими свидетельствами в них был обнаружен известный скептицизм. Но каким образом эта исчезнувшая греческая редакция дошла до русского переводчика, Берендтс отказывается объяснить. Акад. Истрин в 1922 г. примкнул к гипотезе Берендтса.[2] Истрин также допускает существование двух обработок «Иудейской войны» на греческом языке, принадлежащих самому Иосифу Флавию. По предположению Истрина, перерабатывая во второй раз свой греческий текст в период, когда он был близким лицом к императору Титу и пользовался почетом в Риме, Иосиф, с одной стороны, смягчил те места своего сочинения, в которых были выпады против

[1] См. A. Berendts, Die Zeugnisse vom Christentum im slavischen «De bello Judaico» des Josephus, Leipzig, 1906.

[2] См. его статью «Иудейская война» Иосифа Флавия в древнерусском переводе. «Уч. Зап. высшей школы г. Одессы», т. II, 1922, стр. 27—10.

римлян, с другой, — устранил то, что могло вызвать неудовольствие евреев. Что касается недоумения Берендтса по поводу того, каким образом несохранившаяся греческая редакция «Иудейской войны» дошла до русского переводчика, то Истрин напоминает тот общеизвестный факт, что в древней славяно-русской литературе приходится очень часто иметь дело с переводами византийских памятников в таких редакциях, которые в оригинале не сохранились.

Однако предположение Берендтса и Истрина о вторичной переработке Иосифом Флавием греческого перевода «Иудейской войны», по указанным ими побуждениям, вызывает решительные возражения. Помимо целого ряда других соображений, очень сомнительно, чтобы еврей, принадлежавший к фарисейской секте, мог говорить с таким сочувствием об Иоанне Крестителе и о Христе, какое проявляется в первой якобы редакции греческого перевода «Иудейской войны», послужившей, по мнению Берендтса и Истрина, оригиналом русского перевода. Затем, если Иосиф Флавий исключил в предполагаемой второй редакции греческого перевода упоминания об Иоанне Крестителе и о Христе по побуждениям политическим и националистическим, то непонятно, каким образом эти же упоминания оказались в позднейшем его сочинении — в «Иудейских древностях». Логически приходится заключить, что здесь они, во всяком случае, не принадлежат Иосифу. В таком случае они не принадлежат ему и в том греческом тексте, который послужил оригиналом для русского перевода, так как по содержанию и даже по стилю все, написанное в обоих сочинениях Флавия об Иоанне Крестителе и о Христе, очень сходно. И уж совершенно неправдоподобна догадка Берендтса, что христиане не сохранили предполагаемой им первой редакции греческого перевода Флавия по той причине, что упоминания в ней об Иоанне Крестителе и о Христе были слишком скудны по сравнению с евангельскими свидетельствами и что эти упоминания, кроме того, отличались известной долей скептицизма. Полная несостоятельность этих рассуждений сама собой очевидна. Для христиан «Иудейская война» Иосифа Флавия как раз представляла наибольшую ценность в качестве исторического оправдания торжества христианства над иудейством, и неужели можно думать, что христиане пренебрегли бы таким драгоценным для них фактом, как свидетельство авторитетнейшего еврейского писателя о Христе и его предтече, да еще свидетельство, как это видно из приведенных выше подробных пересказов, выраженное столь благоговейно по отношению к обоим? Пренебрегли, будто бы, только потому, что в Евангелии таких свидетельств больше. Очевидно, что не при чем здесь и скептицизм, о котором говорит Берендтс. Скептицизм, точнее — колебание, можно усмотреть лишь в том

месте пятого слова русского текста, где говорится о воскресении Христа; но и здесь, совершенно очевидно, колебания разрешаются все-таки в пользу большей вероятности воскресения Христа. Кроме того, если бы христианин даже и нашел скептицизм в том, что говорит еврей о Христе, он не отверг бы целиком весьма выгодные для него свидетельства в христианском духе, — особенно выгодные потому, что они исходят от еврея. Прекрасной иллюстрацией сказанного является то, что наш Хронограф 1-й редакции целиком использовал все эти упоминания об Иоанне Крестителе и о Христе из русского перевода «Иудейской войны».

Очень показательна характеристика самого Иосифа Флавия, данная в Хронографе перед первым упоминанием о Христе и вполне подтверждающая приведенные выше соображения о том, как должны были относиться христиане к показаниям, которые они приписывали Иосифу: «Сей убо Иосип аще и не сведетельствуется в писании, яко совершенно приат веру христову, но в писании похвален, яко истинну писа о пленении Иерусалима и яко Христа ради и по пророчеству христову таковая погибель бысть жидом. Сего ради и сам, оставив Иерусалим, к римляном и к Титу отоиде. Пишеть же, яко и Маней с ним прииде к Титу, братаничь лазорев, его же, рече, Исус воскреси из мертьвых уже изгнивша, и много писа о Христе не совершенною верою, но недоумением что слыша и виде со удивлением сице».[1] В связи с колебаниями Иосифа по вопросу о воскресении Христа в том же Хронографе читаем: «Си пишеть Иосип евреин, слыша чюдеса спаса нашего, со удивлением глаголеть, веру же истинну не подщася стяжати, яко поистине бог явися во плоти и пожит с человеки и сотвори преславная и пострада и в гробе положися и веста в третий день своею волею». После сказанного о «титлах» в Хронографе добавлено: «Сиа писах, яко и те самии жидове проповедають и удивляются чюдеса и страсти и воскресение спаса нашего, обратити же ся и приати истинную веру не могуть».[2]

Приведенные цитаты из Хронографа очень наглядно показывают, в какой мере христиане дорожили тем, что они считали непосредственными свидетельствами Иосифа Флавия о христианстве. Недаром поэтому отдельные русские списки «Иудейской войны» начинаются со следующей рекомендации Иосифа как писателя: «Сии книги многаго в словеси и пространнейшаго в разуми и премудраго Иосиппа, иже от евреи бывшаго, удержавшаго прискрене любомудрие».

Непричастность Иосифа Флавия к свидетельствам о Христе

[1] См. ПСРЛ, т. XXII, Русский Хронограф, ч. I. Хронограф редакции 1512 г., СПб., 1911, стр. 237.
[2] Там же, стр. 239.

и о христианстве в «Иудейской войне» так же, как в «Иудейских древностях», подтверждается и внутренним и композиционным анализом текстов этих свидетельств. Нужно прежде всего обратить внимание на полное несоответствие того, что говорится о сыне Ирода Великого Филиппе в русском тексте «Иудейской войны», с тем, что говорится о нем в «Иудейских древностях». Не говоря уже о том, что в «Иудейских древностях» о нем идет речь без всякой связи с личностью Иоанна Крестителя, там сказано о том, что брат его Ирод взял его жену Иродиаду не после смерти Филиппа, а при его жизни. Сомнительно, чтобы один и тот же автор в двух разных своих сочинениях давал сведения, столь несогласованные между собой. Далее, в русском тексте «Иудейской войны» казнь Иоанна Крестителя объясняется настойчивыми его обличениями Ирода за женитьбу на жене брата, а в «Иудейских древностях» — опасениями Ирода, как бы усиливавшееся влияние Иоанна на массы не привело к каким-либо осложнениям. Следует думать поэтому, что в обоих сочинениях рассказ об Иоанне написан разными лицами, как разными лицами написано в этих сочинениях и то, что говорится о воскресении Христа: в «Иудейских древностях» уже без всяких колебаний сказано о том, что Христос действительно воскрес.

Упоминания о Христе в самой «Иудейской войне» также, видимо, принадлежат, по крайней мере, двум лицам, судя по тому, что в одних случаях Христос здесь фигурирует как «некий муж», в других — он назван Исусом. Наконец, первое подробное упоминание о Христе во втором слове «Иудейской войны», где идет речь о нем, начиная с его появления в Иудее и кончая его смертью, с точки зрения композиционной явно обнаруживает свое позднейшее происхождение, вклиниваясь неорганически в рассказ о двух мятежах, поднятых евреями против Пилата, оскорблявшего их религиозные чувства.

Итак, не может быть сомнения в том, что упоминания об Иоанне Крестителе и о Христе, имеющиеся в русском переводе «Иудейской войны», не принадлежат Иосифу Флавию, как не принадлежат ему аналогичные упоминания и в «Иудейских древностях». У христианских писателей первых веков встречаются цитаты якобы из «Иудейской войны», которые отсутствуют и в греческом тексте ее и в русском переводе. Все подобного рода дополнения сделаны были, несомненно, авторами-христианами или сочувствовавшими христианству, очевидно, вскоре же после написания «Иудейской войны». У русского переводчика оказался очевидно, как раз один из таких впоследствии исчезнувших греческих текстов с дополнениями в христианском духе. История переводных с греческого памятников на русской почве, хотя бы история «Александрии», дает обильный мате-

риал, иллюстрирующий факт пополнения переводного памятника разнообразными вставками, не находящими себе соответствия в наличных греческих текстах.

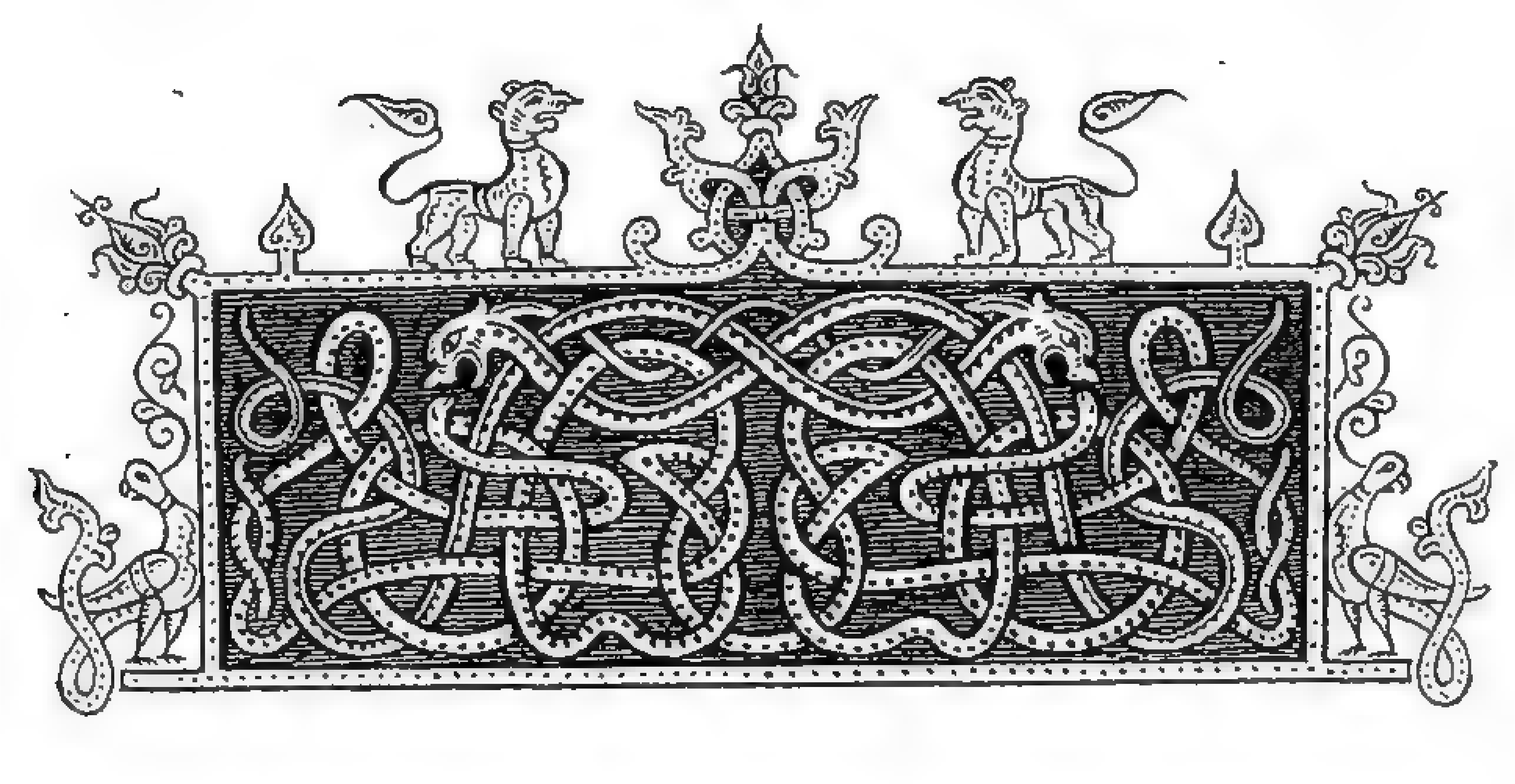
Что касается тех добавлений в русском тексте «Иудейской войны», в которых имеются резкие выпады против римлян и резкая характеристика Ирода Великого, то, несмотря на неясность их происхождения, нет причин предполагать на основании их существование двух авторских обработок греческого перевода «Иудейской войны», из которых во второй Иосиф, в период его близости к Титу (как думают Берендтс и Истрин), исключил резкие отзывы о римлянах. Прежде всего, Иосиф был близок к Титу уже в пору осады и взятия Иерусалима, т. е. еще до того, как он принялся за работу над своей книгой. Далее — неодобрительные отзывы о римлянах мы кое-где встречаем и в греческом тексте «Иудейской войны», точно так же, как положительные и даже лестные суждения о них находим и в русском переводе. Так, в седьмой книге в греческом тексте, так же, как и в русском, еврей Елеазар при взятии римлянами Масады обращается с такою речью к защитникам крепости: «Кто не поскорбит о множестве подвергнутых игу римской власти? Иные из них умучены огнем, иные умерли растерзанные бичами, иные были полусъедены зверями, чтобы вновь могли быть отданы им в пищу; оставшиеся же в живых сохранялись для увеселения и игр неприятелей... Одни лишь злосчастные старцы сидят, оплакивая оставшийся после храма пепел, и небольшое число жен соблюдается в живых, чтобы наши супостаты беззаконнейшим образом похитили их стыдливость...». Говоря о тех насилиях, которым подвергнутся со стороны римлян оставшиеся в живых евреи, Елеазар спрашивает: «Ибо кому не известна их ярость, если мы живыми достанемся им в плен?». Там же с большим уважением и сочувствием к своим врагам сикариям говорит Иосиф о том, с какой твердостью духа они принимали от римлян жесточайшие мучения, отказываясь признать своим господином кесаря. Здесь сказывается стремление Иосифа соблюдать объективность по отношению к двум враждовавшим сторонам. С другой стороны, в русском переводе удержаны все те места греческого текста, в которых находим благоприятные и благожелательные отзывы Иосифа о римлянах вообще и о Веспасиане и Тите в частности. Так, например, Иосиф, обличая Иоанна Гисхальского, упорно защищавшего Иерусалим, в шестой книге русского перевода говорит: «и на римляны вскладываеши грех, иже и доселе пекутся о нашем законе и нудят отдавати богови жертвы, отрезанные тобою». В седьмом слове нашего перевода, там, где речь идет о встрече римлянами Веспасиана после взятия Иерусалима, даже усилено обаяние личности Веспасиана по сравнению с греческим текстом.

Таким образом, нет серьезных данных для того, чтобы говорить о существенной разнице в отношении к римлянам между греческим и русским текстами, и, следовательно, и по этому признаку нет оснований для предположения о переработке в указанном направлении самим Иосифом первоначального греческого текста «Иудейской войны». [1]

Остается решить последний вопрос — о происхождении тех сокращений и перефразировок сравнительно с греческим текстом, какие мы находим в русском переводе. И то и другое может быть объяснено трояко. Во-первых, они могли быть уже в том греческом оригинале, с которого делался русский перевод; во-вторых, они могли быть сделаны, как допускает Истрин, на русской почве каким-либо ученым греком, помогавшим русским переводчикам, сократившим подлинник и синтаксически облегчавшим его. Наконец, особенности русского перевода мы можем всецело объяснить индивидуальным почином русского переводчика. Последнее предположение является, как нам кажется, наиболее вероятным в виду наличия в переводе таких индивидуальных стилистических особенностей, которые не могут быть объяснены греческим контекстом и уясняются лишь при допущении творческой инициативы самого переводчика.

[1] Гипотеза Берендтса не встретила поддержки у большинства европейских ученых, занимавшихся вопросом о происхождении русского перевода «Иудейской войны». Нашлись, однако, и ученые, примкнувшие к этой гипотезе. Среди них особенно усердно, но и столь же бездоказательно точку зрения Берендтса-Истрина защищал в ряде своих работ Р. Эйселр. (Robert Eisler). См. особенно его обширную статью «Die slavische Uebersetsung der «Ἅλωσις τῆς Ἱερουσαλὴμ des Flavius Iosephus» («Byzantinoslavica», II/2, 1930, стр. 305—373), где приведена обширная литература вопроса. Частично эта литература указана и в статье Н. А. Мещерского «Из наблюдений над древнерусским переводом Истории Иудейской войны Иосифа Флавия» (Доклады Академии Наук СССР, серия В, 1930, № 1, стр. 19—25), в общем отрицательно расценивающей гипотезу Берендтса.





ВАЛЕНТИНА ДЫННИК

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И «ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ



о глубине исторического содержания, по благородству поэтического пафоса, по силе и прелести своих образов, как бы выходящих за рамки сюжета и получающих в нашем сознании самостоятельное бытие живых существ, по силе человеческого героизма, проникающей произведение, по благоуханной свежести языка, по органичности и народности всего своего идейнохудожественного мира — «Слово о полку Игореве» входит в круг мировых эпических поэм, занимая почетное место рядом с «Витязем в тигровой шкуре», «Давидом Сасунским», скандинавскими сагами, поэмой о Сиде, «Песнью о Нибелунгах», «Песнью о Роланде».

Тем большее значение приобретает вопрос о своеобразии «Слова о полку Игореве», о том новом, что внесла эта поэма в эпическое творчество народов, — а в связи с этим немалую важность имеет и сопоставление «Слова» с другими поэтическими памятниками средневековья.

Можно считать совершенно несомненным, что «Слово о полку Игореве» — создание сильного и яркого индивидуального творчества, опирающегося в то же время на богатую традицию зрелого словесного мастерства. Близость «Слова» к русскому

фольклору очевидна, она издавна привлекала к себе внимание исследователей, накопивших в этой области внушительный материал. С несомненностью установлена и крепкая связь «Слова» со всей русской литературной жизнью XI—XII вв., с произведениями древнерусской письменности, с переводной литературой того времени.

Не раз высказывалась и мысль о наличии в «Слове» влияний западноевропейской средневековой поэзии, во всяком случае — параллелей с нею. Полевой, Погодин, Буслаев, Майков, Каллаш, Дашкевич и ряд других русских и западноевропейских ученых, сопоставляя «Слово о полку Игореве» со скандинавскими сагами, «Песнью о Нибелунгах» и другими произведениями немецкого героического эпоса, с «Песнью о Роланде», с провансальской, французской и итальянской лирикой («песни разлуки»), установили ряд совпадений между русской поэмой и западноевропейским поэтическим творчеством. Многие из подобных совпадений поражают своей наглядностью. Однако часто убедительность их — только кажущаяся. Характерная черта большинства таких исследований — склонность к ложной индукции: наблюдая отдельные, пускай и многочисленные, совпадения в элементах стилистики, фабулы, тематики, композиции и т. д., исследователи обычно делают неоправданный переход к выводу об органической связи «Слова» с теми или иными произведениями западноевропейского эпоса, а то и о прямой генетической зависимости от них русской поэмы.

Наиболее резко проявилась подобная ложная индукция в весьма распространенном утверждении, что «Слово о полку Игореве» возникло из поэзии скальдов, из скандинавских саг, занесенных на Русь завоевателями-норманнами. Не говоря уже о неправильных исторических предпосылках этого взгляда, — ибо варяги были лишь эпизодом в жизни русского народа, создавшего Киевское государство, и влияние их далеко не определяло собою всю социальную и культурную жизнь русских, — самый материал, собранный исследователями, никак не может служить опровержением самобытности «Слова».

Прежде всего, установление сходства здесь, как и в ряде сопоставлений с памятниками средневекового европейского эпоса вообще, носит часто слишком внешний, формальный характер, производится без учета всего художественного контекста «Слова» и сопоставляемых с ним произведений, нередко опирается лишь на совпадение отдельных слов или образов. Разительный пример такого внешнего сопоставления дает В. Гримм (к этому сопоставлению нередко прибегали и другие исследователи): он указывает на сходство в зачинах «Слова» и «Песни о «Нибелунгах». Между тем, если мы сравним эти зачины, то обнаружим сходство между ними только в одном слове: о «*старых*

словесах» говорит автор русской поэмы,—о *«старых* сказаниях» говорит составитель «Нибелунгов». Но смысл зачина немецкой поэмы совершенно иной, чем у певца «Слова». Составитель «Нибелунгов» ссылкой на «старые сказания» определяет свою тему, материал своей поэмы (действительно связанной всем своим сюжетом с глубокой стариной):

Uns ist in alten maeren wunders vil geseit
(В сказаниях старинных много есть чудес).

Автор же «Слова» ссылкой на «старые словеса» характеризует лишь стилевую манеру, словесную форму поэмы, тут же подчеркивая связь своей тематики с тогдашней современностью, и предлагает, совершенно четко различая эти две стороны произведения — стилистику и тематику, — «начяти старыми словесы трудных повестий о полку Игореве... по былинам сего времени». Правда, позднейший читатель «Слова» и позднейший читатель «Нибелунгов» одинаково испытывают обаяние глубокой старины, но одновременно в «Слове» явственно прорывается страстный голос современника изображаемых событий. Итак, если, в противоположность В. Гримму, выйти за пределы чисто словесных совпадений, то не сходство, а принципиальное, коренное различие увидим мы в зачинах этих двух поэм.

Но и при более убедительных совпадениях между «Словом» и памятниками средневекового европейского эпоса следует осторожнее подходить к вопросу об органическом родстве между ними, тем более — о наличии влияний. Так, многие из этих совпадений, сгоряча относимые на счет влияний, естественно объясняются либо общностью источников «Слова» и западноевропейских поэм, либо общностью историко-бытовых условий, отображенных в этих памятниках, либо общими особенностями самой природы художественного творчества, либо, наконец, различными комбинациями этих моментов.

И в основе «Слова» и в основе западноевропейского эпоса лежит древняя, многовековая фольклорная традиция. В фольклоре же самых далеких друг от друга народов, на ряду со своеобразными этническими и национальными чертами, мы находим ряд общих черт, ряд излюбленных, так сказать, международных, образов и мотивов. Об этой международности фольклорных элементов часто совершенно забывают исследователи «Слова». Например, из того, что в «Эдде» воинственные девы-валькирии наделены лебяжьим оперением, а в «Слове о полку Игореве» дева Обида «всплескала лебедиными крылы», вовсе не следует, что мы имеем дело с заимствованием: метафорический образ женщины-лебеди встречается в фольклоре разных народов, принадлежит он и к числу исконных образов русского народного творчества, постоянно встречается у нас в былинах,

сказках, лирических песнях и причитаниях. Так и мотив вещего сна Святослава, взятый сам по себе, связан с мотивами вещего сна в «Эдде», «Нибелунгах», «Песни о Роланде» и других западноевропейских поэмах не обязательно через заимствование, а с такой же степенью вероятия — через общую фольклорную основу, через близость к языческому мировоззрению, еще весьма заметную у создателей всех этих поэм. Первые энтузиасты «Слова» сопоставляли его с песнями Оссиана, видели в нем «дух Оссианов». Сейчас это сопоставление звучит анекдотически, ибо мы знаем, что «Песни Оссиана» — подделка Макферсона. Но, по существу, умозаключение о близости «Слова» к Оссиану немногим отличается от умозаключения о близости «Слова» к скандинавским сагам: и там, и здесь оно опирается на наличие исконных фольклорных мотивов в «Слове» и в сопоставляемых с ним памятниках (ведь и Макферсон широко пользовался фольклором).

Образ тоскующей Ярославны, стоящей на городской стене Путивля и с беспокойством думающей о судьбе Игоря, находит параллель, внешне очень близкую, в сказании о Вольфдитрихе, где Либгарда, стоя на стене, поджидает своего супруга Ортнита и горько жалуется на разлуку. Вовсе не обязательно, однако, объяснять эту параллель влиянием германского героического эпоса на «Слово о полку Игореве». Если у Есенина мать, тоскуя о своем сыне, выходит на деревенскую дорогу, то столь же естественно было и для средневековой женщины, поджидающей дома любимого человека, ушедшего в поход, выходить на стену города или замка, откуда открывались дали. Вся ситуация может быть объяснена историко-бытовыми условиями средневековья, в частности—даже особенностями старинной архитектуры. Лирическое же содержание плача Ярославны глубоко созвучно женской песенной лирике и причитаниям русского фольклора. Еще меньше оснований возводить плач Ярославны к провансальским, старофранцузским и итальянским лирическим песням, в которых звучит женская жалоба на разлуку с возлюбленным, ушедшим в крестовый поход. Так, Н. П. Дашкевич находит параллель между плачем Ярославны и анонимной французской chanson de toile, известной по более поздним записям (XIII в.), но относимой исследователями к XII в. В этой песне говорится о прекрасной Доэтте, которая, сидя с книгою в своем замке, тоскует о своем возлюбленном Дооне, затем видит оруженосца, подъехавшего к замку, бросается ему навстречу, взволнованно расспрашивает о судьбе своего милого; узнав о его смерти и придя, наконец, в себя после ужасного удара, она решает постричься в монахини. Песня состоит из восьми строф, причем большинство из них начинается словами «La belle Doëtte» («Прекрасная Доэтта»). Только в результате полнейшего абстра-

гирования содержания этой песни от конкретной ситуации, только при наличии совершенно обособленного рассмотрения единичных черт ее художественной структуры можно было бы притти к выводу о близости плача Ярославны к этой и подобным «chansons de toile» и о возможности заимствования: ни ожидание возлюбленного-воина не было печальной привилегией одних только французских женщин, ни употребление припева не было исключительной особенностью одних только французских средневековых поэтов, как известно, столь крепко связанных в своем поэтическом творчестве с французским фольклором.

Точно так же и восклицание Игоря — «луцеж бы потяту быти, неже полонену быти», — хотя оно почти дословно совпадает с восклицаниями героев западноевропейского эпоса, гордо предпочитающих смерть позору, — незачем объяснять литературными влияниями, ибо здесь Игорь высказывает одно из основных положений кодекса рыцарской чести, бывшего достоянием не только западноевропейской, но и русской, и восточной феодальной культуры. Любопытно, что такие же сентенции мы находим и в поэме Шота Руставели: «Жизнь, покрытая позором, горше смерти смельчака». Сам же кодекс рыцарской чести опирается во многих своих положениях на древнюю этическую традицию, в ряде основных черт совпадающую у самых разнообразных народов.

Как в русской поэме природа скорбит о поражении Игоря, так в «Песни о Роланде» она скорбит о гибели французского витязя; говоря о мраке, покрывшем небеса, о зловещей буре, пронесшейся по Франции, поэт объясняет:

Ç'est la dulur pur la mort de Rollant
(Все это скорбь о гибели Роланда[1].)

Но мотив сочувствия природы человеку—один из излюбленных мотивов поэтического творчества вообще; он присущ поэзии всех времен и народов, он поддерживается в средние века и пережитками анимистических верований.

Таким образом, разрозненные сопоставления элементов тематики, стиля еще не могут служить доказательством органического родства всего идейно-художественного мира «Слова» с западноевропейским эпосом, а тем более — доказательством решающих иноземных влияний, испытанных русским поэтом XII в.

Однако же и родство, и влияния, несомненно, были. Киев уже в XI в. был большим европейским городом и играл заметную роль в общеевропейской политической жизни. Упоминание

[1] Русский текст отрывков из «Песни о Роланде» дается по переводу де-ла Барта, — лишь в некоторых местах, как например, в данном случае, приходится ради уточнения несколько отступать от этого перевода.

о Киеве и киевских князьях мы не раз встречаем у западных хронистов. Ярослав Мудрый был связан родственными отношениями с правителями крупнейших европейских стран — Англии, Франции, Германии, Венгрии, Польши, Скандинавии, Византии. Дочь его Анна была регентшей Франции после смерти своего мужа Генриха I. Политическое общение с Европой было, разумеется, соединено с общением культурным. Отец Владимира Мономаха — Всеволод Ярославич — владел пятью иностранными языками. В литературных памятниках древней Руси мы находим несомненное влияние Европы. Влияние это должно было сказаться и на авторе «Слова о полку Игореве», образованнейшем человеке своего времени. Нет ничего невероятного в предположении, что этот поэт-мыслитель, обладавший столь большим историческим и политическим кругозором, владел иностранными языками и непосредственно общался с иноземцами, бывавшими при дворах русских князей. Во всяком случае, несомненно, что русский поэт создавал свое «Слово» не в европейском захолустье, перепевавшем саги варягов-победителей, а в стране, входившей равноправным членом в семью европейских народов, причастной к международной культурной жизни. Все это подсказывает большую осторожность при исследовании западноевропейских параллелей к «Слову о полку Игореве», чтобы не было придано непропорционально большое значение скандинавским сагам, в ущерб эпосу других стран.

Действительно, анализ «Слова», взятого не в отдельных элементах, а во всей его идейно-художественной целостности, приводит к мысли о том, что из известных нам произведений западноевропейской героической поэзии ближе всего к «Слову» стоит не скандинавский эпос, а «Песнь о Роланде», совершеннейший образец французских «chansons de geste».

Об особой близости «Слова» к «Песни о Роланде» писал еще в 1900 году В. Каллаш.[1] К сожалению, он ограничился лишь рассмотрением сходства в отдельных мотивах и в некоторых особенностях стилистики и композиции, но не во всем идейно-художественном содержании двух памятников, и совсем уже не касался того своеобразия, какое эти элементы приобретают под пером автора «Слова».

Однако и в этом виде сопоставления В. Каллаша — прекрасный противовес «скандинавской» теории, ибо у «Слова» оказывается не меньше точек соприкосновения с «Песнью о Роланде», чем со скандинавскими сагами. Так, В. Каллаш отмечает в обеих поэмах наличие народно-поэтических эпитетов, эпических повторений, форм прямой речи при передаче мыслей и вы-

---

[1] В. Каллаш. Несколько догадок и соображений по поводу «Слова о полку Игореве». Юбилейный сборник в честь В. Ф. Миллера, М., 1900.

сказываний действующих лиц, большую роль идеи военной славы и чести, точность и заботливость при перечислении военной добычи, введение мотива «вещих снов» и «знамений природы», обилие лирических восклицаний, вторгающихся в эпический рассказ, и т. п.

К отмеченным у В. Каллаша частичным совпадениям в стиле и тематике между «Словом» и «Песнью о Роланде» можно было бы еще прибавить немалое их количество. Так, характерный прием словотворчества русского поэта, заключающийся в придании эпитетам формы собственных имен («при Олзе Гориславличи», «галички Осмомысле Ярославе»), — один из излюбленных приемов и у автора «Песни о Роланде», где, например, брат царя Марсилия носит имя Фальсарон (от fals — ложный, лживый), целый ряд «сарацинских» имен образован от слова «mal»—«скверный», «злой» (Мальсарон, Мальдюит, Малькидан, Малькид). Если Изяслав в «Слове о полку Игореве» говорит: «Дружину твою, княже, птиць крилы приоде, а звери кровь полизаша», то и витязи Карла, разбитые сарацинами, в последний свой час заботятся о том, чтобы их трупов не растерзали «волки, вепри и псы»: «N'en mangerunt ne lu, ne porc ne chien».

Если воин в «Слове» «под червлеными щиты на кроваве траве притрепан литовскыми мечи», то и в «Песни о Роланде» Карл, явившись на место гибели своего арьергарда, видит, что трава и цветы, покрывающие луг, багряны от крови баронов:

> De tantes herbes el'pret truvat les flurs,
> Ki sunt vermeilles de l'sanc de nos baruns.

Как Ярослав Галицкий сидит «на своем златокованном столе», так и король Франции сидит на «престоле из литого золота» —

> Un faldestoel i out, fait tut d'or mier.

В «Песне о Роланде» можно найти еще множество подобных совпадений со «Словом о полку Игореве», — вплоть даже до упоминания соколов, побывавших «в мытех»: «osturs muiers».

Если же на ряду с оксфордским вариантом «Песни» привлечь к рассмотрению и другие ее варианты, то число таких совпадений еще увеличится. При этом не надо забывать, что «Слово о полку Игореве» сравнивается здесь только с одним произведением, между тем как, устанавливая сходство «Слова» с сагами, исследователи выискивают подобные совпадения во всем обширном наследии скандинавского эпоса.

В отношении же общих историко-культурных предпосылок у нас, как уже было указано выше, столько же оснований для сопоставлений «Песни о Роланде» с русской поэмой, сколько

и для сопоставления ее со скандинавским эпосом. В самом «Слове», где упомянуты «немци и венедици», «греци и морава», ничего не говорится о французах (как, впрочем, ничего не говорится и о скандинавах), но если не сами французы, то даже те же «немцы и венедици» могли занести на Русь знаменитую французскую поэму. «Песнь о Роланде» пользовалась всеевропейской славой, и уже в первой половине XII в. появляется баварский перевод «Песни», сделанный Конрадом. Правда, венецианский текст «Роланда» известен нам только по рукописи XIV в., но, если учитывать литературные взаимоотношения Франции и Италии, то следует предполагать знакомство итальянцев с французской поэмой и в более раннюю пору.

Однако ни наличие таких историко-культурных предпосылок, ни наличие совпадений в отдельных элементах стилистики, композиции не разрешают вопроса об отношении «Слова» к «Песни о Роланде», как не разрешают вопроса и об его отношении к другим произведениям западноевропейской эпической поэзии.

Зато анализ основного содержания и самого жанра «Слова» не только указывает на преимущественную близость русской поэмы к «Песни о Роланде», но и подчеркивает вместе с тем органическое идейно-художественное своеобразие «Слова», его особое место в развитии европейского эпоса.

В тексте «Слова» можно найти прямые указания на тематику и жанр этого произведения, свидетельствующие о тонком самосознании художника XII в. Автор предлагает «начяти... трудных повестий», — т. е., приступить к повествованию о военных подвигах. Что слова «трудных повестий» служат здесь дополнением к глаголу «начяти», а не определением к «старыми словесы», — подтверждается синтаксисом данного отрывка, ибо в противном случае «начяти» окажется без дополнения и потребует вставки нового слова, например, «песнь» или что-либо в этом роде. Подтверждается такое толкование и ритмической структурою отрывка:

Не лепо ли ны бяшеть, братие,
Начяти старыми словесы
Трудных повестий о полку Игореве,
Игоря Святославлича?

Ведь в противном случае возникает невероятный для древнерусской поэзии резкий enjambement.

Кроме того, трудно предположить, чтобы в первых же, начальных строках памятника была допущена переписчиками такая явная, бросающаяся в глаза ошибка, как пропуск целого слова, притом столь значимого. Даже в песенной, устной традиции начало текста всегда отличается особенной устойчивостью. Если между первоначальной записью XII в. и рукописью Мусина-

Пушкина «Слово» и прошло через ряд последовательных списков, — что, разумеется, увеличивает вероятность подобного пропуска, — то пропуск этот, едва возникнув в одном списке, был бы, естественно, исправлен в следующей копии, — во всяком случае, в одной из ближайших: слишком уж он обессмысливает начальную фразу памятника.

«Начяти... трудных повестий» автор хочет «старыми словесы», т. е. старым складом, в старом стиле, — очевидно, опираясь в этой области на уже существовавшую традицию русского поэтического слова.

Вместе с тем он решительно утверждает свое право на самостоятельность в выборе темы, сюжета и предполагает основываться на «былинах сего времени», — т. е., сказали бы мы, на событиях современности,—а не на «замышлении» Бояна. В литературе о «Слове» распространено суждение, что автор, нередко впоследствии переходящий на стиль Бояна, не выполнил, таким образом, своего обещания сложить песню в ином, не бояновском стиле. Но подобного обещания автор «Слова» никогда и не давал. Декларируемый им отказ от «замышления» Бояна есть лишь отказ от бояновых сюжетов, но не от его стиля. Слово «замышление» в XI—XII вв. соответствовало греческому ἐπίνοια, латинскому «excogitatio» или «cogitatio» — изобретение, мышление, размышление, намерение, что подтверждается смыслом, придаваемым ему в Изборнике Святослава 1076 г., а особенно сопоставлением древнерусского перевода Повести Иосифа Флавия и других русских памятников, где это слово встречается, с соответствующими греческими оригиналами. Все это скорее указывает, что «замышление» в «Слове» надо толковать как творческий замысел, основное содержание, а не как стиль или манеру. Самое же главное, что при ином толковании слишком уж большим противоречием звучат начальные слова поэмы о намерении автора сложить ее «старыми словесы», — ведь «словеса»-то, во всяком случае, означают стиль, а Боян и был великим искусником «старых словес». Кроме того, если и возможно было бы допустить, что в дальнейшем автор «Слова» бессознательно, незаметно для самого себя впадает в стиль Бояна, то восторженная характеристика древнего русского певца, которая следует сразу же, непосредственно за отказом от его «замышления», никак уже не может быть объяснена забывчивостью, оплошностью автора. Не вяжется с отказом от боянова стиля и любовное обращение автора к памяти Бояна, «велесова внука», при описании игоревых полков: «О, Бояне, соловию старого времени, абы ты сиа полкы ущекотал!». Так можно обращаться лишь к памяти самого любимого, самого близкого поэта. Так, могли бы обращаться люди нашего времени к памяти Пушкина.

Попытки объяснить все эти противоречия тем, что автор

«Слова» осознает себя как поэта эпического и лишь в этом отношении противопоставляет себя Бояну как поэту-лирику, — основаны на слишком произвольном толковании некоторых мест «Слова». Данная в начале поэмы характеристика Бояна как певца говорит не о лирическом характере, а о вдохновенности его творчества. Вдохновенность же не составляет монополии одних только лириков. Разве сам автор «Слова», подобно Бояну, не «растекашется мыслию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы»? Упоминание же о том, что струны Бояна рокотали славу русским князьям, отнюдь не дает повода считать Бояна лишь автором лирических славословий: петь славу князю — это и значило петь о его подвигах, о его «трудах», слагать о нем «трудные повести». Восхваление князя и должно было быть лирическим резюме эпической поэмы. В этом отношении автор «Слова» идет по стопам Бояна: ведь и его песнь заканчивается славой князьям и дружине. Что же касается приводимых в «Слове» отрывков, составленных в духе Бояна: «Не буря соколы занесе чрез поля широкая; галици стады бежать к Дону великому» и «Комони ржуть за Сулою, звенить слава в Кыеве», то можно говорить об их образности, динамичности, но не о лирической их природе: они явно эпичны. Подобную же образность и динамичность обнаруживаем мы и в других, не «бояновских», местах «Слова».

Следовательно, нет никаких противоречий между замыслом поэмы и ее осуществлением. Автор сознательно примыкает в ней к песенной традиции Бояна — традиции «старых словес». Но, опираясь на эту традицию, он вносит в нее и свое, существенно новое, — он вводит в песенное творчество новую тематику, «былины сего времени», а введение современной, животрепещущей (для тех лет, для самого поэта и его слушателей) тематики не могло не сказаться и на стиле произведения: отсюда и подчеркнутая публицистичность «Слова», и его драматизм, и обилие лирических элементов. Избрав своим предметом эпический сюжет, сюжет из современной ему истории, автор постоянно вводит в свою поэму и лирические отрывки, проявляя живое и страстное участие к судьбе своих героев, давая к ней как бы эмоциональный комментарий. Он неоднократно подчеркивает прямыми высказываниями и основную, актуальную для Руси его времени идею своей поэмы — идею народного единения во имя национальной чести и во имя благополучия Русской земли. И его идеологический комментарий играет, во всяком случае, не меньшую роль, чем комментарий эмоциональный.

Автор «Слова о полку Игореве», художник-мыслитель и смелый новатор, сам дает разностороннюю характеристику создаваемого им жанра «трудной повести», составленной «по былинам сего времени». В характеристике этой есть и указание

на ритмическую природу «Слова». «Слово» определяется автором как «повесть» и как «песнь». Первое определение еще не утверждает наличия ритма, но и не отрицает его, второе же определение ясно говорит о ритмичности произведения (если не понимать слово «песнь» в модернизированном смысле).

Существенные черты этого жанра, отмечаемые самим поэтом, — национальная идея, тема военных подвигов, эпическая основа с вплетаемыми в нее лирическими темами, историческое задание — позволяют нам сблизить «Слово» прежде всего с жанром французских chansons de geste. Любопытна никем еще, кажется, не замеченная особенность: само название «трудная повесть» почти совпадает с названием «chanson de geste», которое буквально значит «песнь о подвигах» (к тому же и автор «Слова» сам называет свое повествование песнью). Если бы нам понадобилось перевести французский литературный термин «chanson de geste» на русский язык XII в., то лучшего эквивалента, чем «трудная повесть» или «трудная песнь», пожалуй, не подобрать бы.

Эта жанровая близость русской «трудной повести» к французским chansons de geste не только говорит об участии Руси в международной художественной жизни Европы, но позволяет конкретнее осознать и всю творческую оригинальность русской поэмы. Оригинальность «Слова о полку Игореве» сказывается не только в его «словесах», в национальном складе его поэтического языка, исходящего из русской литературной и фольклорной традиции, — сказывается она не в меньшей степени и в смелой, самостоятельной трактовке указанных жанровых черт.

Чувство чести, благородная человеческая гордость звучит и в сагах, звучит она и в «Нибелунгах». И скандинавский Сигурд, и немецкий Зигфрид — прекрасные образы смелого человеческого самоутверждения; герои эти не склоняют головы перед врагом, как бы он ни был силен. Но в скандинавском эпосе, уводящем нас к первым векам нашей эры, идея человеческой чести сюжетно конкретизуется как идея родовой и племенной чести, а не чести национальной; та же черта характерна и для «Нибелунгов», где дофеодальная идеология явственно проступает сквозь феодально-куртуазные покровы.

Роланд борется с «язычниками»-сарацинами за честь нации, за честь «милой Франции». Французские витязи сражаются «в чужом краю», но тем более сознают себя представителями чести и силы Франции. Над картиной их ратных подвигов возвышается образ «седобородого» Карла, воплощающий, по замыслу автора, французскую национальную идею. Подобно этому и Игорь борется с «погаными» половцами за честь «земли Руськой». Сражаясь за пределами родной земли, оставив ее «за шеломянем», Игорь и его «вои» идут на землю Половецкую «за

землю Руськую». Над картинами борьбы русских с половцами автор «Слова» возносит образ киевского князя Святослава, убеленного «серебреной сединой», воплощающего в себе заботу о нации, о государственном единстве, мудрость правителя. Но тем отчетливее выступает, благодаря этому сходству, глубокий демократизм русской поэмы: в «Песни о Роланде» на первом плане — идея военной славы, могущества завоевателей (правда, Карл завоевывает у сарацин испанские земли, некогда принадлежавшие христианам, так что как бы *отвоевывает* их); автор «Песни» с упоением говорит о том, что Карл сражался в Испании семь лет, покорив французскому оружию все испанские города, кроме Сарагоссы; сарацины, а не французы особенно мечтают о мире; явно входя во вкус изображаемых схваток французов с сарацинами, автор «Песни» подробно, многословно и многократно развертывает картины кровавой сечи. Описание битвы у автора «Слова» не менее ярко, зато гораздо более лаконично и никогда не сбивается на любование кровавыми картинами боя. Идея военной славы подчиняется в «Слове» идее защиты границ, защиты мирного труда от нападений насильников и хищников. Недаром, вспоминая о былых усобицах, с такой горечью говорит автор «Слова»: «Тогда по Руской земли ретко ратаеве кикахуть, но часто врани граяхуть». Недаром и с такой горькой иронией автор метафорически сопоставляет битву и земледельческий труд, зрительным сходством подчеркивая смысловую контрастность сопоставляемых картин: «На Немизе снопы стелют головами, молотят чепи харалужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела...» Близко к этой развернутой метафоре и выражение, встречающееся в другом месте «Слова»: «Тогда при Олзе Гориславличи сеяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Даждьбожа внука». Взятое само по себе, оно может показаться несколько общим и отвлеченным, аллегорически-условным, но взятое в контексте оно приобретает и жизненность, и выразительность: следующие за ним слова — «тогда по Руской земли ретко ратаеве кикахуть» сразу наполняют его и образным, и эмоциональным содержанием и связывают военную тему с темой благополучия мирных «ратаев». Думается, что речь Игоря к своей дружине: «Братие и дружино! луцеж бы потяту быти, неже полонену быти» — имеет в виду не угрозу «полона» на поле битвы: ведь отказ русских от сражения с половцами в одинаковой степени спасал как от такого полона, так и от смерти, а вступление в битву могло угрожать как смертью, так и пленом (что и подтверждается дальнейшей судьбой Игоря). Правильней было бы предположить, что Игорь имеет здесь в виду тот «полон», которым постоянно угрожали мирному населению половецкие набеги на Русскую землю. Так автор «Слова» не просто повторяет одно из положений рыцар-

ского кодекса — «лучше смерть, чем позор», но придает ему конкретно-исторический смысл, еще углубляя таким образом тему защиты мирного труда. Следовательно, «Слово о полку Игореве», родственное «Песни о Роланде» пафосом национальной идеи, вместе с тем проявляет в трактовке этой идеи и глубокую жизненность и оригинальность.

Все лучшие произведения средневекового эпоса служат богатым историческим источником. Но скандинавские саги и немецкие сказания, воссоздавая картины далекой старины, придают им фантастический, баснословный характер, сплетают реальную историю с легендарным вымыслом; историческое их содержание требует умелой и кропотливой расшифровки. Автор «Слова» не только не грешит склонностью к баснословью, но порою достигает почти полной документальности в изложении исторического материала, — он поэт-историк своей современности. Автор «Слова» пользуется «старыми словесы» для повествования о «былинах» своего времени, между тем как составитель «Песни о Нибелунгах», наоборот, «новыми словесы» (в куртуазном стиле XII века) излагает «замышления» древних германских певцов. И «Песнь о Роланде», и «Слово» отличаются от скандинавских саг и немецких сказаний не только несравненно большей отчетливостью своего исторического материала, но и несравненно большей четкостью в его освещении: авторы сами исторически обобщают события, положенные в основу их поэм. Вот почему и повествование о частном, не столь уже решающем, эпизоде испанских походов Карла — гибели его арьергарда в Ронсевальском ущелье, и повествование о неудачном походе Игоря достигают такой большой эпической силы и единства.

Оба автора, повествуя о битве, прибегают к одному и тому же приему поэтической гиперболизации. Автор «Песни», говоря о схватке французского арьергарда с сарацинским войском, восклицает устами Оливье, что никогда еще не было видано на земле бо́льших языческих полчищ:

Unc mais nuls hum en tere n'en vit plus.

«А сицеи рати не слышано!» — восклицает автор «Слова», говоря о сражении с половцами.

Но дело тут не в одной только гиперболизации: сами гиперболы звучат здесь поэтически правдиво именно потому, что и в «Слове» и в «Песни» один эпизод, взятый автором из истории многовековой борьбы с врагами, разработан так, что как бы аккумулирует в себе весь исторический, весь идейный и эмоциональный смысл этой борьбы. И битва Роланда с сарацинами в «Песни», и битва Игоря с половцами в «Слове» занимают центральное место, служат сюжетным узлом поэмы, но показаны

они на широком историческом фоне. В описание ронсевальского боя вторгаются воспоминания о других подвигах Роланда и дружин Карла во славу Франции. Нарушая хронологическую последовательность рассказа, они в то же время усиливают его исторический драматизм. В повествование «о полку Игореве» вводятся и другие картины борьбы русских с половцами, что тоже свидетельствует не о беспорядочности, но, наоборот, об идейно-художественной закономерности в развитии сюжета, ибо еще более приковывает внимание к судьбе Игоря, крепко связанной с судьбой всей Русской земли. Да и сам автор прекрасно сознает исторически обобщающий смысл «Слова»: «Почнем же, братие, повесть сию от стараго Владимера до нынешняго Игоря».

Даже самые мелкие детали описания служат той же цели исторического обобщения. Так, в «Слове» говорится о половцах: «Дети бесови кликом поля прегородиша». В «Песни о Роланде» не раз говорится о диком вое сарацинских полков. И тут и там — явная тенденция подчеркнуть дикий, варварский характер вражеских полчищ и противопоставить врагу свою родину как защитницу христианской культуры.

Но в историческом осмыслении своей темы автор «Слова», перекликаясь со своим французским собратом, вместе с тем идет особыми путями. «Песнь о Роланде» все же обращена к прошлому, хотя и не столь давнему, как в сагах, — «Слово» говорит о современности, и русский поэт не только исторически обобщает события, но и осмысливает их с точки зрения насущных политических нужд своей страны, активно борясь художественным оружием за единство русского народа. Автор «Песни о Роланде», открывая перед читателем, вернее слушателем, перспективу будущих трудов Карла во славу «прекрасной Франции», намекает в заключительной тираде на ожидающие Карла бранные тяготы, — автор «Слова» не ограничивается исторической перспективой, он разрабатывает целую программу действий, выступает не только как поэт-историк, но и как политический мыслитель и политический агитатор в самом прямом значении этих слов, и поэтому мудрые речи Святослава о единении русских князей так незаметно и естественно переходят в страстный призыв самого художника.

Особая заостренность политического содержания «Слова» в сравнении с «Песнью о Роланде» наглядно проявляется и в трактовке образа главного героя. Между Игорем «Слова» и Роландом французской chanson de geste большое сходство. В какой-то степени Игоря можно было бы назвать русским Роландом. Сходство между ними не ограничивается общими чертами героев народного эпоса — отвагой, неустрашимостью в бою, беззаветной готовностью постоять за правое дело и за свою

воинскую честь, — оно касается и индивидуальных черт их характера и поведения. Игорь отличается чрезмерной пылкостью воина, заглушающей в нем сознание опасности: «Спала князю ум похоти, и жалость ему знамение заступи искусити Дону великаго». О чрезмерной пылкости своего героя говорит не раз и автор «Песни о Роланде». О слишком пылком и яростном сердце Роланда говорит друг его Оливье еще в самом начале поэмы: «Vostre curages est mult pesmes e fiers». «Достойней тот, кто мудр, чем тот, кто бешен» — «Mielz valt mesure que ne fait estultie» — поучает он его во время ронсевальской битвы. И Игорь, и Роланд терпят поражение из-за того, что, охваченные воинственным пылом, они не сумели рассчитать своих сил.

Роланд горько сознает свою вину перед боевыми товарищами:

Baruns franceis, pur mei vus vei murir:
Jo ne vus pois tenser ne guarantir,—
Бароны! В вашей гибели виновный,
Не мог я вас от смерти защитить —

кается Роланд, видя поражение французов; автор «Слова» подчеркивает такую же вину Игоря и, рассказав о том, как «падоша стязи Игоревы», восклицает:

А Игорева храбраго полку не кресити.

Подчеркивается в обеих поэмах и вина героев перед своей родиной, урон, который их военная неудача наносит чести и благополучию всей страны. «Померкли ныне честь моя и слава» — причитает Карл над мертвым племянником своим Роландом, —

Всегда, везде в ужасном горе буду
Теперь рыдать, племянник, о тебе.
Увы, лишусь могущества и счастья:
Кто честь мою отныне защитит?
(Jamais n'iert jurtz de tei m'ait dulur.
Cum decarrat ma force e ma baldur —
N'en avrai ja ki sustienget m'honur!)

И дальше:

С большим трудом я царством править буду
И каждый день, Роланд, племянник милый,
Рыдать и плакать стану по тебе!
(A grant dulur tiendrai pois mun reialme,
Jamais n'iert jurz que ne plur ne m'en pleigne)

Так же горько оплакивает и Святослав своего младшего двоюродного брата Игоря, которого он тоже называет племянником, «сыновцем», а бояре, говоря Святославу о военной неудаче Игоря, тут же подчеркивают значение этой неудачи для

всей Русской земли: «по Руской земли прострошася половци, аки пардуже гнездо. Уже снесеся хула на хвалу, уже тресну нужда на волю».

Но, при всей близости главных героев «Песни» и «Слова» и при всем сходстве ситуаций, в которые они поставлены, мы наблюдаем существеннейшее отличие в трактовке образов Роланда и Игоря и их трагической вины: Роланд гибнет в борьбе с маврами на поле брани из-за того, что не рассчитал своих сил и сил своего отряда, что не хотел трубить в свой рог и во-время позвать Карла себе на подмогу; Игорь же терпит поражение из-за того, что предпринял весь поход на половцев за свой страх и риск, действуя розно с другими русскими князьями, т. е. совершил не военно-тактическую, как Роланд, а политическую ошибку.

Таким образом, судьба главного героя подчеркивает политическую тенденцию русской поэмы, тенденцию, глубина которой придает «Слову» такое своеобразие даже в сравнении с родственной ему «Песнью о Роланде».

Своеобразие это сказывается и в стилистической манере автора «Слова». И «Песнь о Роланде», и «Слово» значительно реалистичнее саг, «Нибелунгов» и других произведений германского эпоса в трактовке образов, в развитии всего сюжета. Здесь нет ни страшных чудовищ, ни мудрых и хитрых карликов, ни всей мифологической фантастики, составляющей неотъемлемую черту германского эпоса. Роланд и Игорь — храбрые и сильные витязи, но у них нет необычайных, сверхчеловеческих свойств, придающих им титанический облик. Роланд и Игорь—герои, а не мифологические титаны. Образы их в основном реалистичны. Однако в судьбе Роланда, как и вообще в развитии всей поэмы, фантастика все же играет некоторую роль, она вплетается в самый сюжет «Песни», определяет собою многие из описываемых событий. Так, Роланд, подобно Сигурду-Зигфриду германского эпоса, обладает чудесным мечом; небесные силы вмешиваются в ход военных событий, и бог, по просьбе Карла, на три дня останавливает в небе движение солнца, чтобы дать французам возможность расправиться с врагами, и т. п.

Примеров такого внедрения фантастики в самую фабулу «Песни» можно было бы привести еще несколько. Правда, в повествование об Игоре русский поэт вводит ряд фантастических мотивов: небесные знамения предвещают Игорю несчастие; цветы, трава и деревья скорбно поникают, жалея Игоря и его воинов,—но все эти и другие пережитки языческой мифологии, взятые в своей художественной функции, лишь подчеркивают лирический и драматический смысл событий, сами же события развиваются по законам реального мира.

В литературе о «Слове» можно встретить кое-где попытку фабульно осмыслить плач Ярославны как заклинание, повлиявшее на ход событий и поведшее к спасению Игоря из половецкого плена. Однако такая попытка вряд ли может быть признана обоснованной. Непосредственный переход автора от плача Ярославны к бегству Игоря ничего еще не говорит о хронологической и причинной связи двух этих моментов. Если учесть чрезвычайно свободный и смелый характер всей художественной композиции «Слова», то такой переход от высшего напряжения скорби об Игоре к ликующему финалу, к апофеозу игорева освобождения не нуждается ни в каком фабульном оправдании.

Драматически и лирически используя элементы фантастики, автор «Слова» в развитии своего повествования остается близким к реальной жизни. В этом отношении «Слово» отошло от баснословности германского эпоса еще дальше, чем «Песнь о Роланде».

Так сопоставление «Слова» и «Песни о Роланде» показывает, что если автор «Слова» и использовал в своей поэме, на ряду со старой русской традицией, и художественные богатства Запада, то он же и внес свой немалый вклад в сокровищницу европейского эпического творчества. В русской героической поэме XII века уже со всей яркостью сказались черты, столь характерные для русского искусства и в дальнейшем его развитии: глубокая народность формы и содержания, демократизм, приверженность идеалу мирного труда, политическая принципиальность и коренной, органический реализм художественного мировосприятия.

«Слово о полку Игореве» — не только гениальное произведение русского поэтического искусства, но и новый этап в жизни героического эпоса европейских народов.





М. П. ШТОКМАР

РИТМИКА «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» В СВЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ XIX—XX вв.

Вопрос о ритмике «Слова о полку Игореве», которому посвящена настоящая работа, возник в нашем литературоведении свыше ста лет тому назад. Уже вскоре по опубликовании знаменитой рукописи Мусина-Пушкина ученые, критики и поэты ставят вопрос, прозою или стихами написано «Слово о полку Игореве» и почти в один голос отвечают: — Да, «Слово о полку Игореве» есть поэтическое произведение, «Слово о полку Игореве» написано стихами. В сущности, на первых порах единственное более сдержанное, даже несколько скептическое мнение было высказано Востоковым в его известном «Опыте о русском стихосложении» (см. 2-е изд., СПб., 1817, стр. 159—161). Отвергая сопоставление ритма «Слова» с исследованным им народным стихом, он считает, что размер «Слова» «ежели бы и сохранился до нас чрез столько веков в настоящем своем виде (что уже весьма сомнительно) под пером безтолковых перепищиков: то мы при всем том не только судить об нем, ни даже приметить его теперь не могли бы, за его древностью; ибо чрез 600 лет, верно, сколько-нибудь переменилась и прозодия языка Русского? и потому. *Слово о*

плъку Игореве не может иметь никакого отношения к позднейшему Русскому стихотворству и размеру...»

Свою попытку разбивки «Слова» на стихи Востоков оставил неопубликованной (за исключением первых 11 строк в примечании к цитированному отрывку из его «Опыта») и, с отмеченной уже сдержанностью, мотивировал ее в первую очередь желанием «облегчить читателю отыскивание мест» и требованиями «типографической исправности».

Мнение Востокова, приведенное выше, интересно для нас не только потому, что оно хронологически относится к началу длинного ряда попыток определить ритмическую структуру «Слова», но, в особенности, и потому, что оно с замечательной отчетливостью намечает основные трудности поставленной проблемы, трудности, которыми многие из позднейших исследователей были склонны пренебрегать. Я не ставлю своей задачей дать исчерпывающий библиографический обзор работ по ритмике «Слова о полку Игореве». Подобные обзоры уже неоднократно предпринимались даже в сравнительно недавнее время. Я рассмотрю в дальнейшем отдельные мнения, высказывавшиеся по поводу ритма «Слова», лишь постольку, поскольку они могут непосредственно содействовать разрешению нашей задачи. И в первую очередь я считаю необходимым остановиться на том единодушии, с каким исследователи и критики XIX в. стремились обосновать стихотворную сущность ритмики «Слова». Нет необходимости особо акцентировать общее для большинства литературоведов того времени увлечение новооткрытым памятником, исключительную любовь к «Слову» и высокую его оценку, которыми насыщены многие строки, посвященные ему в литературе XIX в. Эта любовь близка и нам, и высокая оценка, данная певцу Игоря на первых порах, в наши дни лишь умножилась и углубилась. И все же наша точка зрения теперь несколько иная. Я имею в виду обычное для XIX в. смешение понятий «поэтического» и «стихотворного». Повидимому, для многих критиков и исследователей признание «Слова» прозой было бы равнозначаще снижению оценки художественных достоинств величайшего и освященного глубокой древностью образца русского поэтического творчества. В их глазах доказать стихотворную природу «Слова о полку Игореве» означало показать его подлинную поэтичность. Для нас такого противоположения «поэтического» и «прозаического» в понятиях стиха и прозы нет. И, подходя к изучению вопроса о том, к какой категории ритмической речи может быть отнесено «Слово о полку Игореве», мы заранее знаем, что каким бы ни оказалось окончательное решение, ничто не в состоянии затмить в наших глазах поэтических достоинств и художественного значения памятника.

Но для конца XVIII в., когда было открыто «Слово», а в значительной мере и для XIX в., то или иное решение вопроса о ритмике могло иметь далеко идущие последствия для оценки удельного веса памятника в литературе. Стремление показать, что «Слово» «можно сравнять с лучшими оссиановскими поэмами» (Карамзин),[1] что «и наши герои имели своих *бардов,* воспевавших им хвалу...»,[2] привело к предвзятому взгляду, результаты которого заметно сказались на объективности приемов исследования.

Прежде всего необходимо отметить попытки применить к ритмике «Слова» «стопы» литературного стихосложения. Пастор Зедергольм[3] пробовал разложить «Слово» на трохеи и амфибрахии, а Дубенский[4] — на дактило-хореические гекзаметры. Мы знаем, что, применяя различные стопы, можно добиться аналогичных результатов и от прозы; поэтому такого рода опыты едва ли многих способны ввести в заблуждение. Но красноречивы и самые результаты подобных экспериментов:

Седлай,
Брате, свои бръзыи комони, а мои ти готови,
Оседлани у Курьска на переди; а мои ти
Куряни сведоми къ мети, под трубами повити,
Под шеломы взлелеяны, конець копия въскърмлени.
Пути им ведоми, яруги им знаеми, луци
У них напряжени, тули отворени, сабли изъострени,
и т. д.[5]

Правда, в примечании на стр. 106 своего «Опыта» Дубенский оговаривается, что «Слово о полку Игоревом ежели писано не прозою, а стихами, то мудрено их подвести под известные правила». Но как бы мало ни напоминали нам гекзаметры Дубенского ритм античного гекзаметра и даже ритм русского дактило-хореического стиха, закрепленного в нашем литературном обиходе длительной традицией в качестве эквивалента гекзаметра, — все же опыт Дубенского сохраняет для нас некоторый теоретический интерес. Как легко можно убедиться из приведенного примера, «Слово о полку Игореве» в разбивке Дубенского пестрит синтаксическими переносами (enjambements), нарушающими границы стиха. Мнения других исследователей XIX в. в этом отношении резко расходятся с мнением Дубенского.

Под влиянием теории «прозодических периодов» и исследования Востокова о русском народном стихе, хотя и вопреки его непосредственным высказываниям о ритмике «Слова», Н. Грам-

---

[1] «Spectateur du Nord» 1797, октябрь.

[2] Предисловие к первому изданию «Слова».

[3] Das Lied vom Heereszuge Igors... metrisch übersetzt... vom Pastor Sederholm, Moskau, 1825, S. 8.

[4] Дубенский. Опыт о народном русском стихосложении. М., 1828, стр. 101—106.

[5] Там же, стр. 103.

матин и последующие исследователи подчеркивают, что «периоды его (т. е. «Слова») кратки и заключают в себе не только сами, но и части их, отдельный смысл».[1] Вслед затем Н. Полевой сопоставляет «размер» «Слова» с былинным и песенным, напоминая, что «тут считать надобно не стопами».[2] Как именно «надобно считать», разъясняет М. Максимович: «Следя в П. И. гармоническое, вольное движение речи ее, нельзя не заметить, что оно совершается, так сказать, отдельными разнообразностройными волнами, кои г. Востоков называет периодами или стихами...».[3]

Изложенные мысли пользовались в свое время значительной популярностью, а потому на их рассмотрении стоит несколько задержаться.

Действительно, многими, в том числе и Востоковым, неоднократно отмечалось, что в фольклорном стихе мысль обыкновенно укладывается в пределах ритмического отрезка, и поэтому ему чужды так называемые «переносы» (enjambements). То же усматривает Грамматин и в «Слове». Но сходство здесь мнимое. Дело в том, что в народном стихе мы имеем, с одной стороны, смысловой, синтаксический, а с другой — ритмический отрезок, совпадение которых мы и можем констатировать. В «Слове» объективно даны лишь смысловые, синтаксические ряды, а ритмические предположительно устанавливаются самим исследователем. Если он, разделяя текст памятника на стихи, будет стремиться к их совпадению, то оно и окажется налицо. Если же исследователь (подобно Дубенскому) к этому не стремится, то результатом будет наличие переносов. Но выводов из этого не вытекает решительно никаких.

К числу таких же мнимых совпадений принадлежит и наличие «прозодических периодов» Востокова в «Слове». Востоков называет «прозодическим периодом» речевой отрезок, объединенный сильным фразовым ударением. Любая речь — прозаическая и стихотворная — состоит из подобных отрезков. Фольклорный стих Востоков определяет по признаку *числа* «прозодических периодов», т. е. фразовых ударений, сохраняемого неизменным из стиха в стих. Надо заметить, что еще современная Востокову критика (Цертелев) указывала, что равночисленность ударений недостаточна для определения ритма народного стиха и что среди песен, имеющих одинаковое число ударений, встречаются совершенно разнородные по ритму. Однако Н. Полевой, Максимович и другие исследователи, которые находят «прозодические периоды» в «Слове», но не отрицают отсутствия их равночисленности,

[1] «Вестник Европы», 1822, ч. V, № 18, стр. 138—139.
[2] «Московский телеграф», 1833, ч. V. кн. II, № 7, стр. 433—434.
[3] «Журнал Мин. нар. просв.», 1837, ч. XIII, № 1, стр. 56.

забывают, что этим уничтожается *единственный* (помимо подбора однородных клаузул, которого также нет в «Слове») ритмический признак, выдвинутый Востоковым для народного стиха, и, тем самым, ритм «Слова» сводится к прозе.

Рассмотрим теперь другую версию — о родстве ритма «Слова о полку Игореве» с украинскими «думами», формулированную впервые в уже цитированной статье Максимовича и затем получившую дальнейшее развитие в трудах В. Антоновича и М. Драгоманова,[1] П. Житецкого[2] и Ю. Тиховского.[3] В наиболее последовательном и развитом виде взгляд о ритмическом сходстве «Слова» с «думами» изложен в статье Тиховского, откуда я и приведу несколько цитат:

«Слово», как и Думы, написаны не одним каким-либо размером, а самыми разнообразными. Различными размерами написаны в нем нередко даже стихи соседние, принадлежащие к одному и тому же предложению, к одной и той же мысли (стр. 42).

«...характерную черту размера «Слова», как и Дум, составляет, как сказано выше, *чередование* размеров, отсутствие одного определенного размера даже в смежных стихах» (стр. 43).

Единственное различие между строением «дум» и «Слова», по Тиховскому, сводится к тому, что «думы» являются рифмованными, а в «Слове» рифма развита слабо и, во всяком случае, систематически не проводится. Но это различие он считает несущественным, с чем едва ли можно согласиться. Дело в том, что в «думах» слоговой состав стиха колеблется в очень значительных пределах, и распределение ударений не упорядочено. Именно это Тиховский и характеризует как «чередование размеров» или, точнее, как «отсутствие одного определенного размера». Но в «думах» рифма отмечает границы стиха, неясность которых в «Слове» составляла основной источник неприятностей для исследователей, поставивших своей задачей доказать наличие в нем стихотворного склада. Как известно, теоретики стиха в наше время все больше склоняются к тому, чтобы считать именно стих единицей ритма даже в таких стихотворных формах, ритмическая упорядоченность которых не подлежит сомнению. Такая единица ритма в «думах», благодаря рифмовке, оказывается налицо. В «Слове» же, за вычетом рифмы, остается, по аналогии с «думами», «отсутствие определенного размера» — признак едва ли убедительный для признания «Слова о полку Игореве» стихами.

Перейдем теперь к другой гипотезе, радикально отличающейся от предыдущих. Мысль о родстве «Слова» с поэзией скандинавских скальдов возникла еще в XIX в. С попыткой обосновать

---

[1] Исторические песни малорусского народа, т. I, Киев, 1874.
[2] «Archiv für slavische Philologie», 1877, Bd. II, H. 3, S. S. 654—659.
[3] «Киевская старина», 1893, т. XLIII, октябрь, стр. 29—54.

эту мысль, между прочим и с точки зрения метрики, выступил в 1906 г. профессор Бреславльского университета Р. Абихт,[1] выпустивший ранее (в 1895 и 1897 гг.) издание и перевод «Слова». Признаки северогерманского аллитерационного стиха — двухударные полустишия, соединяемые в стих посредством аллитерации, т. е. созвучия согласных звуков начальных, ударяемых слогов слова — он пытается отметить и в «Слове о полку Игореве». Но, прежде всего, оказывается, что аллитерация в «Слове» не является системой и не скрепляет полустиший, а служит лишь более или менее случайным, украшающим элементом речи. Это и неудивительно. Еще с первой половины XIX в. все русские переводчики скандинавского эпоса отмечали невозможность передать аллитерацию подлинника и вынуждены были искать компромиссные формы для перевода аллитерационного стиха. Это вызвано подвижностью русского ударения, чаще всего ложащегося в середине слова. Тем самым оно глубоко отлично от германского ударения, тяготеющего к начальному слогу слова.

Двухударные полустишия также не являются отличительными признаками ритмики «Слова о полку Игореве». К ним приходится присоединить полустишия с тремя ударениями, которые, вместе с двухударными, сочетаются в стихе во всех теоретически мыслимых комбинациях.

Далее Абихт находит возможным разделить «Слово» на строфы, которых всего оказывается 86. Насколько эти «строфы» далеки от того, что мы обыкновенно подразумеваем под термином «строфа», показывает следующий их перечень: 61 строфа по 7 стихов, 9 полустроф по 4 стиха, 13 составных строф, состоящих из строфы в 7 стихов, к которой присоединена полустрофа в 3 или 4 стиха, 3 сложных строфы, состоящие из строфы в 7 стихов, имеющей перед собой и после себя полустрофы по 3 или 4 стиха.

Совершенно очевидно, что в гипотезе Абихта мы имеем дело с чисто терминологическим сопоставлением. Под сходными названиями аллитерации, полустишия, стиха, строфы в северогерманской поэзии и в «Слове о полку Игореве» отмечены различные явления с различной поэтической функцией.

Ряд интересных и убедительных наблюдений над синтаксическим параллелизмом и реторической рифмой мы находим в работе украинского исследователя В. Бирчака,[2] вышедшей в 1910 г.

---

[1] Das südrussische Igorlied und sein Zusammenhang mit der nordgermanischen Dichtung. — «Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur». Section für neuere Philologie. Breslau, 1906, Sitzung vom 16. Februar 1906.

[2] В. Бірчак. Візантійська церковна пісня і Слово о полку Ігореві. Записки Наукового товариства ім. Шевченка, тт. XCV и XCVI, 1910.

Вот некоторые примеры из исследования Бирчака:

стоиши на борони,
прыщеши на вои стрелами,
гремлеши о шеломы мечи харалужными.

Комони ржуть за Сулою; звенить слава в Кыеве;
трубы трубять в Новеграде; стоять стязи в Путивле.

Не буря соколы занесе чрез поля широкая;
Галици стады бежать к Дону великому.

Но, кроме этих наблюдений, которые, по мысли автора, должны доказать сходство структуры «Слова» с византийскими церковными песнопениями (канонами), той же задаче должны служить аналогичные сопоставления ритмики и строфики. Но ритм византийского канона основан 1) на исчислении слогов и 2) на чередовании ударяемых и неударяемых слогов. Неудивительно, что этот отдел своего труда Бирчак оставил неразработанным. Что же касается строфической структуры, то здесь, как и в некоторых других работах о ритмике «Слова», автору приходится опираться на отрицательный признак — свободу композиционных очертаний. Но степень этой свободы различна. «Слово» разделено автором на 10 песен нетождественного строения (с особым запевом и заключением), причем не только песни отличаются по своей архитектонике одна от другой, но каждая данная песнь составлена из различных строф. В византийских канонах внутри каждой песни соблюдалось структурное тождество строф, а несовпадающими оказывались лишь композиционные типы самых песен.

Другими словами, в византийской церковной песне строфика имеется, а в «Слове о полку Игореве» — отсутствует. Иной вывод можно было бы получить разве только при радикальном теоретическом пересмотре понятия строфы. Ведь строфой в стиховедении признается такое повторяющееся сочетание стихов, структурная тождественность которого ощутима при каждом его повторении. Если мы иногда условно называем строфами такие сочетания, которые несколько отступают от полного тождества, то все же термин сохраняет свой смысл лишь до тех пор, пока признаки сходства ощутительно преобладают по сравнению с признаками различия. При всей ценности наблюдений Бирчака и дальнейших исследователей над композицией «Слова о полку Игореве» (особенно «Плача Ярославны»), следует признать, что в данном случае, как и в ряде рассмотренных ранее, применение стиховедческого определения вызвано все тою же предвзятой идеей и желанием обосновать во что бы то ни стало стиховую сущность ритмики памятника.

В самом начале нашего обзора мы уже имели случай отметить замечание Востокова, в котором формулирована одна из важнейших трудностей, стоящих на пути исследователя ритмики

«Слова о полку Игореве». Трудность эта, по словам Востокова, заключается в том, что «чрез 600 лет, верно, сколько-нибудь переменилась и прозодия языка русского». Другими словами, исследованию ритмики «Слова» должна предшествовать работа по изучению древнерусского ударения, но источники для такого изучения не вполне удовлетворительны. Цитировавшиеся мною авторы работ о ритме «Слова о полку Игореве» не столкнулись с вопросом о подлинных ударениях памятника потому, что либо, подобно пастору Зедергольму и Дубенскому, предпочитали сохранить свободу действий относительно ударений для заполнения произвольно намеченных ритмических схем, либо пытались свести ритм «Слова» к таким свободным стихотворным формам, в которых вообще не предусмотрена какая бы то ни было упорядоченность ударений, а заодно отсутствуют и те признаки, которые являются для этих форм стихообразующими. Эта проблема, естественно, возникла в труде акад. Ф. Е. Корша, который поставил своей задачей восстановить во всех деталях силлабическую и тоническую структуру памятника при помощи тактовых схем западноевропейской музыки, применявшихся им и в других его работах по метрике, в частности в работах, посвященных русскому народному стиху.

Таким образом, постановка акцентологических вопросов в труде Ф. Е. Корша является вполне последовательной и законной, и трудно было бы не признать, что он приступил к их выяснению во всеоружии своей эрудиции. Не будучи специалистом в вопросах истории русского языка, я мог бы пройти мимо этой, по существу подготовительной, части работы Корша. Но мне кажется существенным присоединить к выдвинутым критикой многочисленным и интересным возражениям на акцентологические изыскания Корша еще одно, думается, принципиально немаловажное. Приведу несколько отрывков из работы Ф. Е. Корша:

«...первая задача всякого, кто желáет хотя бы лишь составить себе понятие об истинном характере «Слова», должна заключаться в том, чтобы, удалив из него церковно-славянские примеси, перевести его на древнерусский язык...

Такой перевод... обнаруживает стихотворный склад речи там, где он уничтожен превращением русских форм в церковно-славянские, и устраняет многие трудности в вопросе об ударениях, *отчасти показывая нам его места при помощи выяснившегося таким образом стиха*, отчасти открывая возможность пользования аналогиями позднейших русских ударений".[1] (Курсив мой — *М. Ш.*).

Прежде всего надо отметить, что если ритмика «Слова» является величиной искомой, для выяснения которой и предприняты акцентологические изыскания, то она не может являться критерием для тех или иных определений размещения ударений. Еще

[1] Ф. Е. Корш, «Слово о полку Игореве», СПб., 1909, стр. VII.

важнее то обстоятельство, что музыкальные обозначения различной длительности, которые применяются акад. Коршем, вообще непригодны для каких-либо акцентологических решений, так как, например, удлиняя данный слог и сокращая соседний (или наоборот), всегда можно без всяких затруднений перенести ударение с одного слога на другой.

Но гораздо бо́льшее принципиальное значение для оценки труда акад. Ф. Е. Корша имеет следующее обстоятельство. На странице VI своей книги Корш заявляет:

«Возможно, что в стихосложении «Слова» имела некоторое значение и долгота слогов, естественная и по положению, какое свойственно ей в стихах чешских, словацких и сербо-хорватских; но эта сторона вопроса, впрочем, едва ли существенная, покрыта густым мраком, и потому... следует... при разысканиях о древнерусском стихосложении, поступать на первое время так, как будто русский язык никогда не различал долгих и коротких слогов».

Из этого заявления акад. Корша мы можем заключить, что обозначения слогов различной длительности в его ритмической нотации текста «Слова о полку Игореве» не имеют никакой филологической мотивировки и что вопрос целиком переносится в область музыкальной ритмики. Каковы предпосылки изучения «Слова о полку Игореве» с музыкальной точки зрения? Как известно, мы не имеем никаких прямых указаний и признаков того, что «Слово» было создано автором в связи с каким-либо напевом — безразлично, песенного или речитативного типа. Термину «песнь», который употребляется автором «Слова» и который мог бы служить указанием на его песенный характер, исследователи уже давно справедливо противопоставили термин «повесть», принадлежащий также автору «Слова» и являющийся вполне равносильным доказательством прозаической природы «Слова».

Повидимому, оправданием для музыкального анализа «Слова о полку Игореве» может служить лишь аналогия с музыкальными формами русского народного стиха — песенного и былинного, — кстати сказать, аналогия, от которой уже задолго до Корша многозначительно предостерегал Востоков.

На этот путь и вступает в своем исследовании Ф. Е. Корш, заявляя:

«Само собою разумеется, что... естественно прежде всего отправиться от древнейшего стихотворного склада, сохранившегося в великорусских и белорусских эпических и многих лирических песнях и отчасти в малорусских обрядовых. Как бы разнообразно ни пелись эти песни теперь — $^2/_4$, $^3/_4$, $^4/_4$, $^2/_4 + ^3/_4$ ($^5/_4$), $^6/_8$, — разговорные ударения в их тексте располагаются всегда так, что наиболее подходит к ним напев из $^4/_4$» (стр. VIII).

Эта первая, основополагающая, формулировка Корша немедленно вызывает и первое серьезное недоумение. Мы уже видели,

что критерием для различения слогов различной длительности является исключительно музыкальная ритмика, поскольку филологических оснований для такого различения долгот сам Корш не находит. Эта музыкальная ритмика дана в виде разнообразных тактов, которые, правда, не исчерпывающим образом, перечисляет опять-таки сам Корш. Это разнообразие тактов выводило бы вопрос за пределы схемы, и отсюда следует молниеносный переход Ф. Е. Корша снова к разговорному ударению, которое обогатилось всеми возможными признаками музыкального такта, но сохранило полную свободу выбора этого такта, независимо от данного музыкального напева.

Для всякого, кто знает другие работы Корша, в которых он применял тот же такт в $^4/_4$ не только к стиховым формам, существующим параллельно с музыкальной мелодией, но и к стиху русских пословиц, к силлабическому стиху, наконец, — к стихам Пушкина, которые заведомо независимы от схем музыкальной ритмики, все эти теоретические положения не покажутся неожиданными. Но в вопросе о ритмике «Слова» мы имеем возможность, отбросив проблему доказательности тех или иных предпосылок исследования и допустив аналогию с формами русского фольклорного стиха, непосредственно выяснить законность применения того или иного такта к русскому песенному и былинному стиху, а, по аналогии — и к «Слову о полку Игореве». Итак, мы допускаем, что наличие мелодии, построенной в тактах $^3/_4$ или $^5/_4$, действительно обосновывает рассмотрение данного текста с точки зрения такта в $^4/_4$. Зададим себе вопрос: что такое музыкальный такт, применяемый Ф. Е. Коршем? Когда, где и при каких условиях он возник и мог ли он служить руководством автору «Слова» в его работе над гипотетической музыкальной ритмикой произведения?

Следует отметить, что распределение в пределах такта трех разновидностей акцента различной силы, которое мы находим в ритмических обозначениях Корша, в точности воспроизводит схему распределения сильных и слабых времен, которое мы имеем в $^4/_4$ такте современной нам западноевропейской музыки. Таким образом, не опасаясь недоразумений, мы можем обратиться за справками по интересующему нас вопросу к истории музыкальной ритмики на Западе.

Прежде всего оказывается, что такт не является какой-то вечной и незыблемой категорией теории музыки, а может быть введен в конкретные исторические рамки. Возникновение его в системе музыкальной записи датируется XVI веком, во всеобщее употребление он вошел в XVII веке. Эти даты формально уже достаточны для отвода такта в качестве ритмического критерия «Слова о полку Игореве». Но может возникнуть мысль: 1) не существовал ли такт в западноевропейской музыке еще до вве-

дения его в систему музыкального письма и, 2) даже если ответ на этот вопрос окажется отрицательным, не является ли такт специфическим признаком именно русской народной песни?

По первому из этих вопросов можно установить следующее.

Музыка в средние века тесно связана с теми требованиями, которые предъявлялись к ней в условиях христианского богослужения. Это музыка вокальная по преимуществу и притом одноголосная, в форме церковных песнопений. Ритм этих последних первоначально целиком зависел от чисто словесного ритма перелагавшихся на музыку текстов и был чрезвычайно однообразен. Ни определенных долгот звуков, ни, тем более, чего-либо напоминающего тактовый схематизм в них не было.

Развитие полифонии, пришедшей на смену старой одноголосной церковной музыке, не принесло принципиальных перемен в области музыкальной ритмики. Недаром усовершенствование нотного письма так медленно подвигалось к обозначению тактовой черты. В полифонической музыке даже в эпоху ее наивысшего расцвета ведущим началом остается самостоятельное развитие мелодии, и отчетливая пульсация ритма с этой точки зрения являлась бы только помехой. Чрезвычайно показательно, что народные темы, вплетающиеся в многоголосие церковной музыки, утрачивают свое ритмическое своеобразие. Даже в XVI—XVII вв., когда обозначение границ такта входит в систему нотной записи, его роль определяется главным образом потребностью внести ясность в чрезвычайно усложнившуюся партитуру. Такт служит своего рода масштабом, измерителем, но не определяет структуры отдельных мелодий многоголосия, которые продолжают сохранять свою самостоятельность. Такт становится органической клеточкой музыкального мышления в одноголосной по преимуществу, гармонической системе классического стиля в музыке. Но чем вызвана такая принципиальная перемена? Среди многих причин, обусловивших выработку отличительных признаков стиля классической музыки, едва ли не основной является то, что музыка этой эпохи черпает свои темы, свой материал не из канонизированных и неканонизированных источников церковной обрядовой музыки, а из музыки светской, в первую очередь, — танцевальной, которая давала и свежесть, полнокровность музыкального мышления, и богатство разнообразных музыкальных форм. Но танец — размеренное ритмическое движение — неразрывно связан с столь же строго размеренной мелодией. Бытовая функция танца с неизбежностью выдвигает такт как органическую клеточку музыкальной ткани. Мы знаем, какую огромную роль сыграла классическая музыка в истории нашей музыкальной культуры. Поэтому не удивительно, что музыкальные теоретики классического стиля возвели такт классической музыки в разряд чуть ли не «вечных истин» теории музыки. Но

историческая ограниченность понятия такта в развитии европейской музыки, как мы видели, может быть установлена с исчерпывающей полнотой.

Если мы теперь возобновим первый из поставленных нами вопросов — не существовал ли такт в западноевропейской музыке еще до введения его в систему музыкального письма, т. е. раньше XVI в., то мы должны будем на него ответить утвердительно, но с существенным ограничением: повидимому, такт или какая-либо аналогичная ему схема могли возникнуть в любую эпоху, культивировавшую плясовую музыку, плясовую песню. Ни в каких иных музыкальных жанрах мы не имеем достаточных оснований a priori предполагать существование такта.

Теперь обратимся ко второму из поставленных нами вопросов — не является ли такт специфическим признаком именно русской народной песни? Первые записи мелодий русского фольклора относятся к концу XVIII в., т. е. к тому времени, когда русские музыканты усваивали основы западноевропейских музыкальных знаний. Это был период расцвета классицизма в музыке Запада, и немудрено, что ритмические воззрения первых русских музыкантов безоговорочно базировались на понятии такта. Потому-то в музыкальных записях народных песен XVIII—начала XIX вв., на ряду с итальянскими оборотами в изложении мелодий, безраздельно царит такт и даже связанная с ним квадратура музыкальной формы. Но русская музыка XIX в., особенно со времен Глинки и «Могучей кучки», усваивая огромное музыкальное наследие русской народной песни, нашла в себе силы и для критического пересмотра ряда теоретических положений западноевропейской музыки, которые шли вразрез с своеобразным характером русской народной песни.

Поэтому по интересующему нас вопросу о такте применительно к русским песням и былинам мы можем, даже не затрагивая записей Балакирева, Римского-Корсакова, Мусоргского, Лядова и др., получить ответ из уст авторитетнейших музыкантов—знатоков музыкального строя русского фольклора:

«...первое записывание и гармонизация наших народных песен были сделаны людьми, которых знание, естественно, ограничивалось лишь западною музыкальною теориею; таковы были: Трутовский; равно аноним, работавший для издания песенника Герстенберга; Прач, Кашин, Шпревич... Они явно старались приноравливать наши народные мелодии к западной форме, кто к итальянской, кто к немецкой; для сего вводили симметричный ритм, которому отнюдь не подчиняется раздолье нашего народного пения...»[1]

По мнению В. Ф. Одоевского, следует «записывать напев точно так, как он поется в народе (отмечая особо варианты), если бы даже казалось, что в этом напеве встречаются неправиль-

[1] В. О[доевский]. Русская и так называемая общая музыка, в газ. «Русский», М., 1867, листы 11 и 12, стр. 171—172.

ности в отношении к ритму или движению мелодии. Эти самые (мнимые) неправильности и составляют отличие великорусской музыки от западной». [1]

«Ритм их (т. е. русских песен) чрезвычайно свободен, капризен и весьма не похож на обыкновенные ритмы общеевропейской музыки.... В очень многих случаях правильное деление на такты для русской песни дело вовсе не подходящее». [2]

«... уложенную в наши ноты и такты народную песню уже нельзя назвать таковою, а следует признать переводом на новый современный музыкальный язык, с комментариями переводчика, более или менее удачно осветившего особенности оригинала для современного музыканта». [3]

«Народ имеет.., свой «народный такт», с собственными отделами и акцентами, не укладывающимися в нашу тактовую систему». [4]

«Укладка в наш такт с черточками вносит в народную песню фиктивные акценты такта, нередко нарушая собственные акценты народного пения...». [5]

«Вследствие... подвижности и изменчивости *логического* ударения песни его очень трудно согласовать с *метрическим* (тактовым) ударением современной музыки, *стремящейся к механической правильности в счете единиц времени*». [6]

Не буду пытаться умножить цитаты из высказываний авторитетных музыкантов, направленные против применения такта к русской народной песне. Мнение их единодушно.

Приведу лишь одно замечание А. Львова, которое вносит в вопрос о тактах одно существенное для нас уточнение:

«Говоря об отсутствии строгой меры в пении простонародных песен, мы, однако, должны исключить песни плясовые: в них соблюдение такта необходимо для самой пляски». [7]

Подведем некоторые итоги нашему несколько затянувшемуся экскурсу в область истории западной и русской музыки. Тактовому членению западноевропейской музыки безболезненно подчиняются только плясовые песни русского фольклора. Это и неудивительно, если мы вспомним, что на Западе органической клеточкой музыкального изложения такт сделался в ритмике классического стиля, генетически связанного с танцевальной музыкой и песней. Русские так называемые «протяжные» песни и былины не имеют ничего общего с тактовой схемой и ее внутритактовыми акцентами, на которых базируется система ритмической нотации акад. Корша. Чем древнее та или иная мелодия,

---

[1] Труды Первого археологич. съезда в Москве, 1869, т. II, М., 1871, стр. 488.

[2] А. Серов. Критические статьи, т. IV, СПб., 1895, стр. 2131.

[3] П. П. Сокальский. Русская народная музыка, великорусская и малорусская в ее строении, мелодическом и ритмическом, Харьков, 1888, стр. 33—34.

[4] Там же, стр. 198.

[5] Там же, стр. 199.

[6] Е. Линева. Великорусские песни в народной гармонизации, вып. I, СПб., 1904, стр. XVI.

[7] А. Львов. О свободном или несимметричном ритме, СПб., 1858, стр. 5.

тем с большей уверенностью можно утверждать, что она не уложится в тактовую схему. Таким образом, тактовый анализ гипотетического музыкального ритма «Слова о полку Игореве» мог бы быть обоснован только аналогией с плясовыми песнями русского фольклора. Абсурдность такого сопоставления очевидна без доказательств. Если же настаивать на аналогии с протяжными песнями или былинами, то единственный вывод, к которому можно прийти, заключается в том, что музыкальная основа ритмики «Слова о полку Игореве» (если только она существовала) безусловно чужда какому-либо схематизму и при помощи западноевропейского такта восстановлена быть не может.

Мы детально рассмотрели наиболее солидную из попыток реконструкции ритма «Слова» при помощи музыкальных средств. Это, разумеется, далеко не исчерпывает библиографического списка подобных опытов. Еще совсем недавно, в 1926 г., немецкий теоретик стиха Э. Сиверс выступил с метрической обработкой «Слова о полку Игореве»,[1] в основу которой, судя по вступительной статье, также положен такт в 4/4. Мотивировка выбора именно этого такта обошлась без каких-либо аналогий с фольклором и, повидимому, исчерпывается «некоторой опытностью» автора в области музыки (стр. 3). Если мы вспомним, что эта «опытность» Э. Сиверса заключается в фантастической по своим выводам теории моторных реакций человеческого тела, лежащих в основе речевых явлений, то дальнейшая полемика с работой Сиверса будет неуместной.

Наш обзор до сих пор преследовал главным образом критические цели. Ни одна из рассмотренных работ в своих основных положениях, повидимому, не дает таких результатов, которые можно было бы признать научно обоснованными. Положительной задачей этой критики и являлось стремление показать, что предвзятая мысль о стихотворном характере ритма «Слова о полку Игореве» неизбежно приводила исследователей к ряду натяжек и прямых ошибок. И все же, несмотря на ряд неверных общих утверждений, имеющихся в затронутых нами работах, некоторые из них содержат немало наблюдений, которые, бесспорно, обогащают сумму наших сведений о звуковой форме «Слова».

Прежде всего — синтаксис. Ни учение Потебни о «синтаксической стопе», ни более простодушные ссылки на то, что «периоды его (т. е. «Слова») кратки и заключают в себе не только сами, но и части их, отдельный смысл» — никакие синтаксические признаки не докажут того, что «Слово» написано стихами.

По остроумному замечанию Н. К. Гудзия, «при сравнительной простоте древнерусского синтаксиса, на стихи можно разложить

[1] Das Igorlied metrisch und sprachlich bearbeitet von E. Sievers, Leipzig, 1926.

при желании чуть ли не всю летопись и даже многие проповеди».[1] Но совершенно бесспорно, что внимательное и объективное изучение синтаксической структуры «Слова» обогащает наши сведения о ритме памятника. Я говорю «о ритме», подразумевая здесь, конечно, не те или иные ярлычки стихотворных форм и не барабанную дробь музыкального такта. Пусть это будет изучение — страшно произнести — прозаического ритма «Слова о полку Игореве». Ведь изучаем же мы ритм ораторской прозы в произведениях величайших ораторов классической древности. А ораторский элемент в «Слове»—явление гораздо более бесспорное, чем его музыкальное сопровождение, построенное хотя бы и вне тактового схематизма. Исследователи не раз указывали на особенности синтаксиса «Слова»: постановка глаголов в нескольких предложениях сряду в конце или в начале, начатие предложения тем же словом, каким оканчивается предыдущее, параллелизм всевозможных видов и форм и т. п. Мы видели, что рифма, будучи в «Слове» эпизодической, не может привести нас к его отождествлению с украинскими «думами» даже самой древней гипотетической формации. Но если мы обратим внимание на то, что рифма эта — по преимуществу морфологическая, основанная не столько на созвучии, сколько на морфологическом тождестве, то она окажется тесно связанной с теми же явлениями синтаксического параллелизма. Мы видели, что аллитерации в «Слове» не дают нам оснований для того, чтобы проводить аналогию между нашим памятником и аллитерационным стихом северогерманских скальдов. Но изучение аллитерации как одного из стилистических признаков «Слова» необходимо, и оно только выиграет, если будет проводиться независимо от таких типов и форм, которых ни в «Слове», ни в каком-либо ином произведении на русском языке не было и быть не могло. И, наконец, изучение композиции «Слова». Если проводить его, не припутывая сюда таких понятий, как строфа, которые только нарушают ясность любой формулировки, касающейся архитектоники «Слова», то плодотворность такого исследования вполне очевидна. Применение к «Слову о полку Игореве» стиховедческих терминов, поскольку их содержание противоречит сущности анализируемых явлений, может быть объяснено только нарочитым желанием доказать наличие в «Слове» стихотворного склада. Эта предвзятая мысль, не менее, чем в рассмотренных выше законченных теоретических концепциях ритмики «Слова», сквозит также в имеющих широкое хождение и в наше время отрывочных суждениях о стихотворной природе «Слова о полку Игореве». Отрывочность, беглый характер этих замечаний, кстати сказать, служат

[1] (Н. К. Гудзий. Литература «Слова о полку Игореве» за последнее двадцатилетие 1894—1913 тг.), «Журн. Мин. нар. просв.», 1914, февраль, стр. 380.

немаловажным козырем для их авторов. Ссылаются, например, на два-три образца звукоподражания в «Слове» и на такие же случаи звукоподражания в былинах, и вывод готов: «Слово о полку Игореве» написано стихами. Что же, значит ли это, что в «Слове» и в былинах имеет место особая звукоподражательная система стихосложения? Разумеется, нет. И там и здесь звукоподражания единичны, они не являются системой; к тому же аналогию следует проводить не с былиной, а с фольклором в целом, так как звукоподражания имеют место не только в былинах, но и в народных сказках.

Защитники стиховой структуры памятника приводят также отдельные парные сочетания предложений из «Слова», которые скреплены однотипными клаузулами — мужскими или женскими, или дактилическими. Но, помимо того, что эти образцы в «Слове о полку Игореве» опять-таки единичны, никакой аналогии с фольклорным стихом они не заключают, так как в былинах, в песнях мы имеем дело с единой системой клаузул — например только дактилических или только женских, а в «Слове», на ряду с огромным большинством предложений вовсе не организованных по клаузулам, мы имеем дело в приводимых образцах с парными сочетаниями различных систем.

Подобный же смысл имеют ссылки на отдельные небольшие отрывки текста «Слова», которые на фоне современной нам стиховой традиции (т. е. исторически произвольно) напоминают ритм то ямба, то хорея, то одного из трехсложных размеров русского стиха. Эти цитаты могут производить соответствующее впечатление лишь постольку, поскольку они отрывочны, поскольку они изъяты из контекста. В сопоставлении между собой и, особенно, со всем текстом «Слова» эти отрывки ритма угасают сами собой.

Повидимому, основным источником недоразумений в интересующем нас вопросе является недостаточная ясность наших определений стиха и прозы. Я вовсе не стремлюсь доказать, что в «Слове о полку Игореве» отсутствуют звукоподражания или эпизодические случаи подбора однородных клаузул или кратковременные инерции ритма. Все это существует в «Слове» в виде единичных явлений так же, как и синтаксический параллелизм и случайная морфологическая рифма. Дело заключается в наличии или отсутствии выдержанной системы. И проза и стих всегда строятся на единой базе данного языка, и потому глубоко неправильна мысль, что признаки, определяющие ту или иную систему стихосложения, совершенно отсутствуют в прозаической речи.

Звуки русского языка (особенно — часто повторяющиеся звуки) сравнительно немногочисленны. Поэтому звуковые повторы, т. е. близкое соседство тождественных или сходных по артикуляции гласных и согласных звуков, сплошь и рядом возникают в

русской речи — прозаической и стихотворной — совершенно стихийно, не преследуя никаких художественных целей. Если бы эти благоприятные условия отсутствовали, то можно с уверенностью сказать, что использование звуковых повторов в интересах изобразительности стиха не получило бы заметного развития.

Так же обстоит дело и с клаузулами. Широко употребительных типов клаузул в русском языке в сущности только три: мужская, женская и дактилическая. Нетрудно понять, что при таких условиях нельзя избежать соседства однородных клаузул, если только не ставить это в качестве сознательного задания.

И наконец, о предпосылках ритмической организации. В русском языке преобладают слоговые группировки, в которых на одно ударение приходится преимущественно два, три или четыре слога. Эти слоговые группировки являются материалом, служащим для построения русских трехсложных и двусложных размеров, из которых первые полностью используют трехсложные слоговые группы, а вторые сочетают двусложные с четырехсложными. Совершенно естественно, что частичные, временные инерции ритма могут возникать и действительно возникают непроизвольно также и в прозе. Если бы не было этой потенции упорядоченности ударений в русской прозе, то и русский стих не мог бы строиться на закономерном распределении ударений.

Таковы «стихийные», независимые от вмешательства личной инициативы, данные языка. Здесь элементы, служащие материалом для звуковой организации речи, хотя и имеются, но лишены системы.

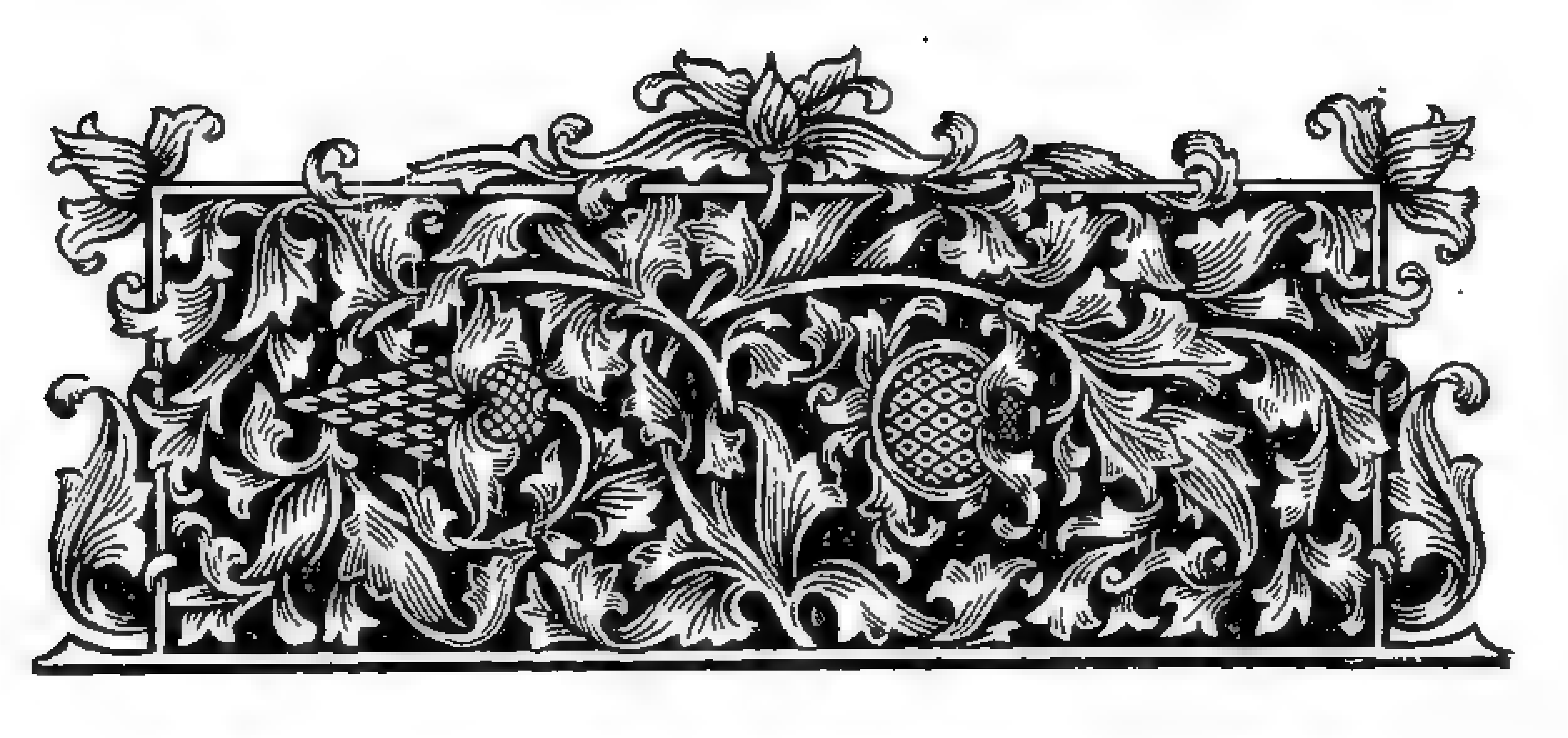
Попробуем рассмотреть те же явления на ином материале — на примере художественной прозы. Мы знаем из высказываний ряда крупнейших мастеров прозы, которые всецело подтверждаются их произведениями, что перечисленные выше структурные элементы речи, в частности ее звуковой организации, не являются безразличными для прозаика. Он рассчитывает звучание клаузулы, замыкающей фразу, устраняет неблагозвучные или двусмысленные («сдвиговые») сочетания слогов, по мере надобности обращается к средствам звуковой изобразительности (до звукоподражаний включительно), наконец, выверяет речь с точки зрения ее ритмики, пользуясь теми или иными инерциями ритма или, чаще, устраняя излишнюю ритмическую монотонию. В этой работе прозаик не связан никакой единой системой средств. Если он и выбирает ту или иную систему, то лишь на короткое время, применительно к условиям момента, чтобы немедленно сменить ее иными средствами или иной системой. Таким образом, различные виды и жанры прозы колеблются по своей звуковой организации в пределах между бессистемностью, характерной для речи вообще, и многосистемностью как наивысшей точкой организации художественной прозы.

Организация речи по единой системе того или иного типа — отличительная особенность стиха. Однажды избранное сочетание клаузул (или в соединении с звуковым совпадением — сочетание рифм) проводится через все произведение. Аллитерация, возведенная в ранг структурного признака стиха (как в древнегерманском аллитерационном стихе) перестает быть случайным звуковым орнаментом и закономерно возвращается на заранее определенных местах. Упорядоченное комбинирование ударяемых и неударяемых слогов (как в русском силлабо-тоническом стихе) перестает подчиняться случайным временным инерциям ритма и вводится в рамки определенного «размера», обязательного на протяжении данного произведения. Многосистемность прозы заменяется в стихе единой системой.

В «Слове о полку Игореве» в том виде, как мы его знаем, невозможно проследить единую систему звуковой организации какого бы то ни было типа. Такой организации в нем нет. Исследователи, правильно аргументирующие звуковую организацию «Слова» от *различных систем*, от *многосистемности*, тем самым, вопреки предвзятому заданию доказать стихотворную основу «Слова», подтверждают *прозаическую* природу его звуковой организации.

Со всеми этими оговорками мы можем принять ряд наблюдений относительно ритмики нашего памятника, собранных в научной литературе. Разумеется, специальная работа о звуковой структуре «Слова о полку Игореве», базирующаяся на тех основных положениях, защите которых посвящен настоящий обзор, представляла бы по своей единой методологической направленности особую ценность. Но необходимо принести благодарность и тем исследователям, которые накопили большое количество интереснейших наблюдений над стилем «Слова», хотя и ставили себе иные, неприемлемые для нас задачи. Неприемлемые потому, что в наших глазах «Слово о полку Игореве» как художественный памятник древней русской литературы стоит так высоко, что не нуждается ни в каких теоретических и терминологических украшениях.





В. Д. КУЗЬМИНА

ПОВЕСТЬ О БОВЕ-КОРОЛЕВИЧЕ В РУССКОЙ РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ XVII—XIX вв.

ВВЕДЕНИЕ

Русские повести и сказки о Бове-королевиче имеют многовековую интересную историю.

Рыцарь Бэв из города Антона появляется впервые как герой французской chanson de geste, сложенной в эпоху крестовых походов. В XIII в. это произведение становится популярной народной поэмой и попадает в рукописи. Идея торжества справедливости и мщения за насилие, облеченная в форму занимательного авантюрного повествования, причудливое сочетание элементов сказки и романа обеспечивают произведению широкую известность по всей Западной Европе. С XIII в. рукописные и устные варианты поэм о Бэве (Бевисе, Буово, Бово), кроме их родины — Франции, известны также в Англии и Италии. С началом широкого развития книгопечатания в XV—XVI вв. многочисленные издания стихотворных и прозаических обработок этой поэмы широко расходятся по всем странам Запада. Печатные итальянские издания поэмы о Бове распространяются на Балка-

нах. В XVI в. перевод повести о Бове проникает оттуда в Белоруссию и попадает на Московскую Русь. Через балканские государства, кроме повести о Бове, как известно, на Русь пришла «Троянская гистория» Гвидо де Колумна и так называемая «сербская» романизированная «Александрия».

Немногие переводные повести стали на Руси столь популярными, как повесть о Бове-королевиче. Об этом свидетельствует прежде всего большое количество сохранившихся рукописных списков ее.

В XVII в. известностью на Руси наряду с повестью о Бове пользовались переводные рыцарские повести о римском кесаре Оттоне, о Мелюзине, о Петре Златые Ключи, о Василии Златовласом, о королевиче Брунцвике, об Аполлоне Тирском. Судьба повести о Бове типична для переводных рыцарских повестей на Руси. На новой родине прививаются лишь те из них, которые ассимилируются с русским фольклором и постепенно из рукописных и печатных изданий целиком переходят в устное народное творчество.

Рукописная переводная повесть о Бове в списках конца XVII в. носит яркие следы воздействия русского фольклора. С течением времени этот процесс углубляется, и западная рыцарская повесть постепенно превращается в русскую волшебную сказку, популярную в различных классах. Начиная с конца XVII в., рукописная «повесть», «сказание», «гистория», «сказка» о Бове известна одновременно среди дворянства, купечества, мещанства, крестьянства. Она подвергается многократной творческой переработке соответственно вкусам своих классово различных читателей.

Со второй половины XVIII в. сказка о Бове становится популярным произведением лубочной литературы и с этого времени выходит сотнями изданий вплоть до 1918 г.

Одновременно, как популярное произведение народного творчества, сказка о Бове не раз привлекает внимание русских писателей и подвергается литературной обработке. Радищев, Пушкин, Батюшков задумывают поэмы о Бове; позднее писатели-народники используют этот же сюжет для прозаических сказок.

Наряду с лубочными изданиями и литературными обработками сказка о Бове с конца XVIII в. становится известной и в устной традиции. Эта линия развития оказалась наиболее жизнеспособной. Сказка о Бове до сих пор широко известна в устах народных мастеров-сказочников. Последние тексты ее записаны в 1940 г. Кроме того, ряд героев этой сказки, некоторые мотивы и даже целые эпизоды из нее рассеялись по многим русским сказкам и былинам.

I. ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Для выяснения проблем, которые необходимо ставить при изучении русских повестей и сказок о Бове, необходимо учесть результаты работы западноевропейских ученых над романом о Бове. На Западе литературоведение уделило много внимания исследованию романа о Бове в его разнообразных стихотворных и прозаических вариантах.

Первой работой, специально посвященной изучению романа о Бове, была книга Райна «Ricerche intorno ai Reali di Francia», Bologna, 1872. Последней по времени крупной работой о Бове является, повидимому, книга Штимминга «Der festländische Bueve de Hantone», пятый том которой появился в 1920 г. (серия «Gesellschaft für romanische Literatur», Bd. 25, 41, 42). За полстолетия изучения Бовы на Западе появились, кроме того, десятки других работ и статей, посвященных этому роману; но напечатаны и подвергнуты тщательному изучению лишь рукописные его тексты. Печатные же издания, за исключением «Reali di Francia», и устные поэтические варианты остались почти вне поля зрения западноевропейских историков литературы.

Первой проблемой, занимавшей ученых Запада, была проблема генезиса романа о Бове. Широкое распространение романа по ряду стран Европы, начиная с XIII в., весьма осложнило вопрос и вызвало самые различные гипотезы об его происхождении. Небезинтересно привести хотя бы наиболее характерные из них.

В 1896 г. Вюлькер полагает, что основой романа является кельтский источник,[1] Зухир в 1899 г. видит в романе о Бове переработку сказания о викингах,[2] Прентис Хойт в 1902 г. указывает на англо-саксонскую хронику,[3] Зеттегаст в 1904 г. считает источником романа предания армянского и персидского народного эпоса, в частности, Шах-Наме[4]. Однако в 1919 г. он печатает работу, в которой высказывает предположение, что в основу романа положены мифы об Одиссее, Оресте и Клитемнестре.

В 1905 г. Р. Ценкер полагает, что роман о Бове восходит к англо-саксонскому преданию о Гамлете,[5] М. Дейчбейн в 1906 г.,

---

[1] Wülker. Geschichte der englischen Literatur, Leipzig, I, 1896, S. 98.

[2] Suchier. Nachtrag zur Einleitung Stimming's Ausgabe des anglonormannischen Boeve, 1899, S. CXCV.

[3] Prentis C. Hoyt. The home of the Bevessaga. «Publications of the modern language association in America», 1902.

[4] F. Settegast. Quellenstudien zur galloromanischen Epik, 1904, S. 338—369. Его же. Die Odyssee oder die Sage vom heimkehrenden Gatten, als Quelle mittelalterischen Dichtung. «Zeitschrift für romanische Philologie», 1919, Bd. 39, S. 289—320.

[5] R. Zenker. Boeve-Amlethus. «Literarhistorische Forschungen», Bd. XXXII, Berlin, 1905.

желая примирить противоположные точки зрения, указывает, что в данном произведении имеется нагромождение разнохарактерных элементов.[1] Наконец, в 1908 г. Л. Иордан, отрицая все предыдущие исследования, утверждает, что источником романа о Бове является сказка эпохи крестовых походов, созданная для развлечения.[2]

Большая часть перечисленных выше работ устарела и является прекрасным образцом того, в какой тупик может завести и заводит исследователя метод внешних аналогий.

Решая проблему генезиса, большая часть этих ученых изучала роман о Бове изолированно, как один из вариантов сказания об изгнании героя. Этот сюжет широко распространен по всем странам, известен во все эпохи. Отсюда столь различны и предполагаемые его источники — от Шах-Наме и античных мифов до сказаний о викингах.

Проблема генезиса романа о Бове была впервые научно поставлена в диссертации Хр. Бойе «Ueber den altfranzösischen Roman von Bueve de Hamtone» (Beiheft 19 zur «Zeitschrift für romanische Philologie», 1909).

Хр. Бойе составил список всех основных европейских редакций романа и установил их взаимоотношение. Затем он изучил 187 французских рыцарских романов и на фоне этой литературы проанализировал роман о Бове. В результате исследования Хр. Бойе пришел к следующему выводу: англо-норманская и французская группы текстов возникли почти одновременно, независимо друг от друга, и восходят к общему, не дошедшему до нас источнику.

Этот вывод Хр. Бойе и в настоящее время принят европейской наукой.

Второй проблемой, интересовавшей европейских исследователей, была проблема реконструкции старейшего, не дошедшего до нас, варианта — архетипа романа. Этим занимался Л. Иордан в вышеуказанной работе, это пытался сделать также Хр. Бойе в своей диссертации. Такое искусственное восстановление предполагаемого зерна романа в запутанном и сложном авантюрном сюжете в значительной степени зависит от произвола исследователя. Поэтому данная проблема не должна в дальнейшем нас интересовать.

Третья проблема, поставленная западноевропейскими исследователями романа о Бове, — проблема социального приурочения ранних вариантов романа. По-настоящему ею интересовался лишь

---

[1] M. Deutschbein. Studien zur Sagengeschichte Englands, I. Die Wikingensagen, Cöthen, 1906, S. 181—213.

[2] L. Jordan, Ueber Boeve de Hanstone (Beiheft 14 zur «Zeitschrift für romanische Philologie», 1908).

Райна, который настойчиво проводил мысль, что итальянские версии поэмы и прозаические переработки ее являются произведениями, созданными в народной среде и для народа.[1] Райна указывает, что французский роман был занесен в Италию как народная устная песня или поэма. На рубеже XII—XIII вв. бродячие народные поэты северной Италии на основе ее сложили поэму о Бове (венецианский текст).[2] Наконец, «живой голос жонглеров, а не мертвые буквы рукописи» перенесли, по мнению Райна, поэмы о Бове из долин По и Адиджи в долину Арно — в Тоскану. Райна, анализируя тексты итальянских редакций поэмы о Бове, тщательно отмечает в ней приемы народного творчества: повторения, ретардацию, драматизацию, традиционные описания битв, обрисовку эмоций не с помощью слов, а с помощью описания жестов (в венецианской поэме),[3] народный юмор (в тосканских переработках).[4]

Бродячие народные певцы-поэты — вот создатели итальянских версий поэм о Бове, источников более поздних прозаических переработок; подвижная толпа пьяццы Флоренции и Тосканы — вот аудитория, для которой пели поэты свои поэмы или писали романы прозаики. Популярность в народной среде этих произведений и обусловила особенности их композиции и стиля. После Райна проблема отношения романа о Бове к фольклору совершенно не ставилась западноевропейскими исследованиями, несмотря на ее громадный методологический интерес.

Четвертая проблема, поставленная в западноевропейских исследованиях, — изучение композиции и стиля романа о Бове. Райна, как показано выше, ставил изучение композиции в связь с проблемой приурочения произведения к определенной социальной среде и его отношения к фольклору. Иначе подходил к вопросу Хр. Бойе. Он разложил сюжет романа о Бове на ряд первичных мотивов, привел параллели к каждому мотиву из французских рыцарских романов и установил для каждого мотива типичность или своеобразие его разработки в данном произведении (III глава). Он поставил анализ композиции (сведенный, правда, к анализу мотивов) в связь с проблемой генезиса, с одной стороны, и с проблемой воздействия данного произведения на позднейшие — с другой. А. Штимминг также интересовался проблемой композиции. Он охарактеризовал три версии французских редакций с точки зрения их метрики, рифмы, морфологии, синтаксиса, с целью датировки отдельных рукописей на основе филологического анализа. Затем он изучил изменения сюжета в различных вариантах романа о Бове и таким образом устано-

[1] P. Rajna, ук. соч., стр. 115.
[2] Там же, стр. 148.
[3] Там же, стр. 150—151.
[4] Там же, стр. 167—169.

вил взаимоотношение рукописных его текстов. Он изучил, кроме того, элементы композиции романа по отдельным рукописям и пытался охарактеризовать по этому признаку личность автора. Так, например, анализ второй группы рукописей привел Штимминга к выводу, что автором данной редакции был монах, желавший противопоставить свою «истинную», правдивую обработку поэмы о Бове «лживым» песням «грубых» жонглеров («Gesellschaft für romanische Literatur», Bd. 41, S. 198—199). Но это крайне интересное наблюдение в дальнейшем Штиммингом не используется, он даже не ставит перед собой вопроса, почему такая обработка имела место и чем именно отличалась народная поэма от ее церковной обработки. Такой существенный пробел в значительной степени обесценил работу Штимминга, из анализа не сделано настоящих выводов, и автор занимается, главным образом, констатированием тех или иных особенностей композиции романа.

Наметив основные этапы изучения романа о Бове в Западной Европе и указав основные проблемы, поставленные в процессе этого изучения, следует задать вопрос, что именно из этого материала необходимо учесть для изучения русских повестей и сказок о Бове.

Прежде всего надо ясно представить себе взаимоотношение европейских вариантов романа о Бове (XII—XV вв.), чтобы понять место русской группы текстов в общем развитии сюжета романа. Для этой цели необходимо использовать вышеуказанные работы Райна, Бойе и Штимминга, где данный вопрос разработан почти с исчерпывающей полнотой и четкостью.

Все известные тексты романа о Бове могут быть разделены на две группы: французскую (материковую) и английскую (островную). К французским текстам восходят, в свою очередь, голландские и итальянские, а к последним — русские, еврейско-немецкие и румынские. Английские тексты были источником ирландской, исландской и кимрийской обработок романа, а, с другой стороны, англо-норманские тексты воздействуют на итальянские переделки романа.

Для исследования русских повестей и сказок о Бове особенно интересны итальянские обработки этого романа, так как именно последние были источником русских вариантов.

В настоящее время, согласно указаниям Райна, известны 7 итальянских вариантов этого романа, часть из них—стихотворные, часть — прозаические; некоторые известны лишь в рукописях, другие с XV в. выходили многочисленными изданиями.[1]

[1] Итальянские варианты романа о Bovo d'Antona:

1. Рукопись XIII в. библиотеки св. Марка в Венеции, представляющая собой франко-итальянскую переработку поэмы (напечатана Штиммингом, Bd. 42, III Fassung).

Для изучения русской повести о Бове особенно интересны следующие источники:

1. «Reali di Francia». По предположению А. Н. Веселовского, на Балканском полуострове существовал хорватский перевод этого произведения.[1]

2. Тосканская прозаическая обработка романа (так называемая Риккардианская рукопись), являющаяся одним из источников «Reali».

3. Так называемый «Венецианский текст» поэмы, который, как показал А. Н. Веселовский,[2] был источником белорусской редакции повести о Бове.

Для уяснения взаимоотношения известных европейских редакций романа полезно воспользоваться схемами, которые составили Хр. Бойе и Райна (для итальянских текстов).

Работы указанных исследователей дают также четкую характеристику сюжета в его западноевропейских вариантах. Этот материал необходимо учесть при изучении русских текстов. Без ясного представления о том, чем был роман о Бове на Западе в XII—XV вв., нельзя будет понять своеобразие русских вариантов и уловить характерную линию развития сюжета на русской почве.

Прекрасную характеристику сюжета французских поэм о Бове (старейших в материковой франко-итальянской группе текстов) дал Хр. Бойе. Он убедительно показал, что сюжет французского романа о Бове типичен для рыцарского романа, построенного на воинских подвигах, приключениях и любовной интриге. Сюжет развертывается по следующим основным направлениям:

---

2. Рукопись XIV—XV вв. Лауренциановой библиотеки во Флоренции, содержащая так называемый «венецианский текст» поэмы о Бове (напечатана Райна в его «Ricerche», 1872).

3. Тосканская поэма начала XV в. в восьмистрочных строфах, издававшаяся многократно в Италии с середины XV в.

4. Переработка поэмы поэтом XV в. Герардо (не напечатана).

5. Удинские стихотворные отрывки конца XIV в., позволяющие восполнить пробелы так называемого «венецианского текста» (напечатано Райна в «Zeitschrift für romanishe Philologie», Bd. XI, 1888).

6. Четвертая книга «Reali di Francia» XIV—XV вв. — популярная в Италии компиляция, объединившая целый ряд рыцарских романов каролингского цикла. Это один из популярнейших в Италии лубочных романов, издававшийся сотни раз.

7. Риккардианская флорентийская рукопись XV в., представляющая собой тосканскую прозаическую обработку сюжета (напечатана Райна в «Zeitschrift für romanische Philologie», Bd. XV, 1891).

Из этих 7 итальянских редакций я не имела под рукой старопечатной тосканской поэмы и переработки Герардо. Доступное мне издание «Reali» также сравнительно позднее — 1868 г.

[1] А. Н. Веселовский. Из истории романа и повести, т. II, СПб., 1888, стр. 305.

[2] Там же, стр. 247—285.

1. Дважды несправедливо изгнанный (сначала злодейкой-матерью, потом королем) молодой рыцарь Бэв борется за возвращение своего домена — города Антона.

2. В романе по традиции отводится место борьбе с неверными. Бэв посещает дальние страны, где вводит христианство «огнем и мечом». Среди его воинских подвигов видное место занимают сражения против полчищ неверных, которых он, в конце концов, всегда побеждает.

3. Много места отводится фантастическому элементу. Бэв на пути своем встречает чудовищ — великанов, обращает в христианство кентавра Агопарта. В романе фигурируют чудесные предметы — яблоко, предотвращающее отравление, волшебные зелья, а также сны, видения и т. п.

4. Авантюрный элемент — описание всевозможных приключений — является одной из основных сюжетных линий. Бэв продан в рабство и служит простым конюхом, затем попадает в руки разбойников, не раз переодевается для того, чтобы не быть узнанным.

5. С другой стороны, в произведении прекрасно использована типичная для рыцарского романа любовная интрига, Она построена здесь на следующих характерных мотивах средневекового эпоса:

а) королевна (Жозьена) любит простолюдина Бэва, не зная, что он проданный в рабство королевич (мотив кажущегося социального неравенства);

б) на пути влюбленных Жозьены и Бэва встают всевозможные препятствия, — судьба и злые люди их дважды разлучают (мотив разлуки влюбленных);

в) полагая, что Жозьена умерла, Бэв собирается жениться на королеве города Сивель; на свадебный пир, узнав об этом, является Жозьена в одежде жонглерки, происходит узнавание (мотив — жена на свадьбе мужа).

Сплетение таких разнообразных сюжетных нитей придает произведению неослабный интерес на протяжении 13 000—16 000 стихов. (Ср. характеристику рыцарского романа у М. Горького в «Истории русской литературы», 1939, стр. 38).

Становится понятной большая популярность этого романа. О нем упоминают слагатели целого ряда chansons de geste, о нем говорят и провансальские трубадуры в своих сирвентах (ср. сирвента Pierre Cardinal:

Chantarai de filhs N'Arsen
..oro m'entendra: li entenden
Et a l'autra gen bricona,
Chantarai de filhs N'Arsen
E de Bueves d'Antona.

(Raynouard. Lexique roman, 1844, t. I, p. 440);

или сирвенту Guiraut de Lus (цитирую по книге Штимминга, Bd. 42, S. 329):

Ges si tot mai volunt at fellona
No m lais, non chant el son Boves d'Antona).

Личные имена действующих лиц романа о Бове попадают и в другие произведения средневекового французского эпоса (Gestes de Doon de Mayence, Gestes de Beuves de Comarchis). Стихотворный роман о Бове распространяется по Франции в многочисленных списках в течение всего средневековья, он оказывает значительное воздействие на развитие французского рыцарского романа XIII в. (Daurel et Beton, Parise la Duchesse, Florence de Rome, Octavian и др.), как показал Хр. Бойе.[1] Позднее стихотворная форма сменяется прозой, и в этом виде роман о Бове неоднократно издается, начиная с 1502 г.[2]

Итальянские тексты романа о Бове несколько видоизменили имена героев, но, за исключением тосканских переработок и поэмы Герардо, итальянские варианты, по словам Райна, довольно точно сохраняют основные линии сюжета, намеченные во французских оригиналах. Поэтому на них можно специально не останавливаться.

Несколько слов следует сказать и об англо-норманских (островных) текстах. Уже с XIII в. в Англии известна поэма о sir Bevis of Hampton. Сюжет французского произведения здесь сохраняется в основных чертах, но роман окрашен местным английским колоритом. Так, например, в целом ряде эпизодов борьба с Ирландией заменяет борьбу с неверными, сам герой — уроженец и властелин английского города Гамптона, место действия во второй части переносится из Кельна в Лондон и т. д. Эта поэма так же, как и французская, переделывается позднее в прозаический роман и, начиная с XVI в. является одной из популярных народных книг в Англии. Для исследователя русской повести о Бове англо-норманские тексты интересны постольку, поскольку они оказали некоторое влияние на итальянские переделки романа, которые были источниками белорусского перевода повести о Бове.

Это общее представление об основных группах европейских вариантов романа о Бове должно явиться исходной точкой при анализе русской группы текстов.

Подведем итоги.

Изучение западноевропейских исследований показывает, какие проблемы ставились при изучении романа о Бове на Западе и каков был охваченный материал; уясняет взаимоотношения европейских вариантов; позволяет составить достаточно четкое

---

[1] Ук. соч., ч. 2, глава III, стр. 59—133.
[2] См. Brunet. Manuel du libraire, t. I, Paris, 1820, p. 188.

представление о характерных чертах романа о Бове на Западе в XII—XV вв.

После краткого обзора исследований, посвященных западноевропейским вариантам романа о Бове, следует перейти к истории изучения русских текстов.

Прежде всего надо выяснить, насколько полно был охвачен исследованиями материал. Повести и сказки о Бове известны в десятках рукописей, в сотнях лубочных изданий, картинок и устных вариантов. Из всего этого было научно издано:

а) три рукописных текста (один белорусский—XVI в. и два русских);[1]

б) два текста лубочных сказок (первая половина XIX в.);[2]

в) одиннадцать лубочных картинок (первая половина XIX в.);[3]

г) четыре текста устных сказок.[4]

До сих пор не имеется полного списка рукописных текстов, лубочных изданий и устных вариантов.

Русские повести и сказки о Бове-королевиче не были предметом всестороннего изучения, как это было на Западе. Правда, А. Н. Веселовский в 1888 г. посвятил рукописной повести о Бове специальную главу во втором томе своей блестящей книги «Из истории романа и повести»; вопросом об отражении рукописной повести о Бове в лубочной и устной сказке занималась позднее Е. Н. Елеонская.[5] Но это все, что сделано у нас за пятьдесят лет.

Впрочем, кроме этих двух работ, ряд замечаний по поводу рукописных повестей, лубочных и устных сказок о Бове рассеян в общих курсах по фольклору, истории древнерусской литературы, в монографиях и статьях о лубке. Объединение и обзор этого материала дает представление о том, как смотрели на русские

---

[1] Русский текст повести о Бове по рукописи конца XVII в. (Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Q. XVII, 27) был издан в 1879 г. в «Памятниках древней письменности» (вып. I, под ред. Ф. Булгакова), переиздан позднее с некоторыми купюрами и исправлениями Б. И. Дунаевым в серии «Библиотека старорусских повестей», М., 1915. Второй русский текст повести о Бове из Истоминского сборника конца XVII века (Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, собр. Унд., № 919) и белорусский текст из Познанского сборника XVI в. были изданы А. Н. Веселоским в приложении к исследованию «Из истории романа и повести», т II, СПб., 1888.

[2] Д. Ровинский. Русские народные картинки, СПб., 1881, т. 1, стр. 76—82, 83—113, №№ 15 и 18.

[3] Там же, Атлас, №№ 16, 17, 19—27.

[4] И. А. Худяков. Великорусские сказки. М., 1860, стр. 127—132, № 36; Б. и Ю. Соколовы. Сказки и песни Белозерского края, М., 1915, стр. 206—209, № 114; Д. К. Зеленин. Великорусские сказки Пермской губернии, Пгр., 1914, стр. 171—176, № 18; М. К. Азадовский. Сказки Магая (Е. И. Сороковикова). Л. 1940, № 11, стр. 174—189.

[5] Е. Н. Елеонская. Несколько замечаний о русских сказках («Этнографическое обозрение», 1905, № 1, стр. 158—166).

повести и сказки о Бове различные поколения исследователей, какие проблемы их интересовали.

Лишь три исследователя специально занимались изучением этого произведения: А. Н. Пыпин в своем «Очерке литературной истории старинных повестей и сказок русских» (1857), Д. Ровинский в V томе «Русских народных картинок (1881) и А. Н. Веселовский в «Истории русской словесности» Галахова (1880) и во втором томе книги «Из истории романа и повести» (1888).

Наших исследователей занимал главным образом вопрос о происхождении русской повести о Бове.

В начале XIX в. эта повесть осмысливается как русская сказка о богатырях. Так, например, И. Нестерович писал в 1815 г., по поручению гр. Румянцева, Малиновскому: «Его с-во канцлер убедительнейше просит ваше пр-во принять на себя труд приискать древне-богатырские сказки о Бове-королевиче, Евдоне и Берфе и другие...» [1]

В 1820 г. Румянцев пишет Берху в Пермь: «...постарайтесь, пожалуйте, об отыскании древних списков наших богатырских сказок не токмо о российских богатырях, но даже о иностранных, каковы суть Бова-королевич, Евдон и Берфа и тому подобные. Если письменных таковых тетрадей нет, то можно записать таковые повести по изустному рассказу...» [2]

Здесь, как видно, Бова-королевич считается иноземным героем русской сказки, но не указывается, откуда именно он у нас появился.

Так же глухо упоминается обычно об иноземном происхождении сказки о Бове в учебниках первой половины XIX в. В. Плаксин, например, в разделе «поэзия» (понимаемой им, как устная народная поэзия), разбирая русские песни и сказки (с последними смешиваются былины), отмечает «внесенные после чуждые нам сказки, каковы, например, о Еруслане Лазаревиче, о Жар-птице и сером волке, о золотой горе, о Бове-королевиче и т. п., в которых проглядывает или азиатская судьба или европейское рыцарство, или византийское соединение того и другого». [3]

Впервые предположение об итальянском происхождении русской сказки о Бове было высказано еще Львовым в 1804 г. В поэме «Добрыня Никитич» Львов указывает, что не желает воспевать Бову-королевича, так как «не русский» он:

Он из города Антона,
Сын какого-то Гвидона,
Макаронного царя...

---

[1] А. Кочубинский. Адмирал Шишков и канцлер гр. Румянцев, приложения, Одесса, 1887—1888, стр. LVII.

[2] «Летопись занятий Археогр. ком.», СПб., 1877, вып. VI, отд. II, стр. 152.

[3] В. Плаксин, Руководство к познанию литературы, СПб., 1833, стр. 127.

В сноске к слову «Антон» Львов указал: «Анкона, город в Италии, сделался у переписчиков Антоном».[1]

Вопросом об итальянском источнике русской сказки о Бове интересовался позднее и А. С. Пушкин. Находясь в ссылке в Кишиневе, поэт летом 1822 г. живо интересуется фольклором.[2] Поэтому он возвращается к сюжету Бовы, интересовавшему его еще в лицейский период. Он пишет планы новой поэмы о Бове, делает наброски начала — пятистопным и четырехстопным ямбом. В связи с этим Пушкин изучает истоки русской сказки о Бове, известной ему по сборнику «Дедушкины прогулки» (изд. 1791 г.). Он читает P. L. Ginguené «Histoire littéraire d'Italie» (Paris, 1812), конспектирует оттуда главу, касающуюся старопечатной итальянской поэмы Bovo d'Antona (делает замечание: «Bov[o] est aïeul de Бова, c'est probable») и указывает, что сюжет на протяжении всей итальянской поэмы развивается «как в русской сказке» («comme dans le conte russe»).[3] В 1830 г. в журнале «Московский телеграф», № 22 (ноябрь), на стр. 157—164 появилась статья М. Макарова «Об источниках русских сказок» («Догадки об истории русских сказок»), где автор писал: (стр. 161—162): «Позднейший современник Еруслана, храбрый и смелый витязь королевич Бова — повесть итальяно-французская. Тут действуют попеременно итальяно-германцы и французы. Тут без труда находим имена Анконы (Антона города), Гвидо (Гвидона), Бовье (Бовы), Дьедона (Дидона), Марк Брюно (Малкобруна), Амико (Дружевну) и прочее.[4]

На своей родине сия сказка должна была принадлежать к числу рапсодий. К нам перенесена она словено-итальянами, едва ли ранее времен Иоанна III, и после переложена на русские нравы».[5]

В том же 1830 г. об итальянском происхождении повести о Бове упоминал и Н. А. Полевой.[6]

---

[1] «Друг просвещения», 1804, часть III, стр. 199.

[2] Возможно, что ему была известна статья Сн[егирева] в «Отеч. зап.», 1822 г., ч. XII, № 30, где также указывается на итальянское происхождение лубочной сказки о Бове (стр. 93.)

[3] «Рукою Пушкина», «Academia», 1935, стр. 486 (ошибочное чтение издателей «Bovet» вместо «Bov[o]est»).

[4] «Известный наш стихотворец Н. А. Львов, переложив некоторые отрывки из Бовы Королевича стихами, в замечаниях своих на сию повесть также был согласен со мною (см. журнал «Друг просвещения», 1804 г.»)

[Примечание Макарова.]

[5] «В ...библиотеке графа Ф. А. Толстого имеются две рукописи. Одна конца XVII столетия под № 215, под заглавием: «Сказание про храброго витязя, про Бову-королевича», вторая за № 415, позднейшая, принадлежит началу XVIII века и называется «Сказание о храбром и прекрасном витязе Бове-королевиче и о прекрасной королевне Дружевне». Первая рукопись важнее тем, что ближе к делу, т. е. к родине». [Примечание Макарова.]

[6] Н. А. Полевой. История русского народа, т. I, М., 1830, стр. 206.

В 1831 г. вопрос об итальянском источнике русской сказки о Бове занимает Я. Гримма. В предисловии к сборнику русских лубочных сказок, изданных в немецком переводе А. Дитрихом, Я. Гримм писал, что данная сказка восходит «без сомнения к романскому источнику». Это «не что иное как известный роман Buovo d'Antona каролингского цикла, который известен на нескольких языках в рукописных и печатных текстах и входит в состав 4-й книги «Reali di Francia». Как и когда эта баснословная повесть попала в руки русского создателя сказки — трудно сказать». Гримм указывает далее, что имена русской сказки обнаруживают близость к итальянскому оригиналу: «Бова — это Bovo, Дружневна—Drusiana, Синбалда—Sinibaldo, Полкан — Pulicane, град Антон — город Antona первоначальнюго сказания».[1] Постановка вопроса здесь только намечена, аргументация почти отсутствует.

В такой общей форме говорилось об итальянском происхождении русской сказки и позднее, вплоть до появления диссертации А. Н. Пыпина.

«Известная простонародная сказка Бова-королевич, — писал в 1842 г. П. Георгиевский, — не есть собственно русская, а итальянская: в Гвидоне читатель узнает известного рыцаря Гвидо, в Бове уроженца Бовин, а в Антоне — Анкону и проч. Вообще должно заметить, что мы имеем самые недостаточные, темные понятия о старинных наших сказках, разбор же их мог бы принести важную пользу Русской словесности».[2]

А. Н. Пыпин в 1857 г. в своей диссертации «Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских» впервые привлекает итальянские тексты к изучению русской повести о Бове. Он имел в своем распоряжении лишь «Reali di Francia» в венецианском издании 1667 г. и поэтому не ставит вопроса, из какого именно итальянского варианта заимствована русская повесть. Он сравнивает текст русской повести с текстом четвертой книги «Reali» и приходит к такому выводу: «История Буово с замечательной точностью передается в нашей сказке, впрочем довольно сокращенно: главные обстоятельства соблюдены верно, имена отчасти осмыслены русским произношением, отчасти же несходны с итальянскими, что зависело, вероятно, или от вариантов текста, или от того, что наши переделыватели основывались на другой итальянской редакции...»[3]

А. Н. Пыпина интересует уже не только самый факт итальян-

---

[1] A. Dietrich. Russische Volksmärchen, Leipzig, 1831, Vorwort, S. VIII—IX.

[2] П. Георгиевский. Руководство к изучению русской словесности в 4 частях, изд. 2-е, ч. IV, СПб., 1842, стр. 90.

[3] А. Н. Пыпин. Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских, СПб., 1857, стр. 246—247.

ского происхождения русской сказки о Бове, — он ставит вопрос о пути ее проникновения на русскую почву и приходит к выводу, что мы имеем дело с непосредственным переводом какого-нибудь итальянского варианта. «Вообще все переделки имен и обстоятельств говорят в пользу непосредственности перехода итальянского романа в нашу популярную словесность,—пишет далее А. Н. Пыпин. — В содержании и внешности сказки нашей нет никаких следов другой посторонней обработки, что заметно во всех других повестях и романах, явившихся у нас из литератур западных». [1]

Через несколько лет после диссертации А. Н. Пыпина, в 1861 г., появляется книга И. М. Снегирева «Лубочные картинки русского народа в московском мире». Автор указывает, что ряд русских сказок попал к нам с Балканского полуострова. «В числе сербских сказок, — пишет Снегирев, — находится и Бова-королевич, который в русских занимает не последнее место. Сказка эта из числа итальянских, переделанных на русский лад. Она заимствована из поэмы XIV века «Buovo d'Antone». [2]

Снегирев впервые указал на сербскую сказку о Бове как на звено, связывающее итальянскую поэму с русской лубочной сказкой.

В 1881 г. Д. Ровинский издает «Русские народные картинки», где печатает в I томе полный и краткий тексты лубочной сказки о Бове по изданиям начала XIX века. В IV томе («Примечания и дополнения») Ровинский ставит вопрос о западноевропейском источнике этой сказки и говорит, что печатаемая им русская сказка о Бове «не переделана непосредственно ни из 4-й главы Reali, ни из виршевой поэмы..., а скорее переведена с чужой готовой переделки Reali (скорее всего польской, судя по оборотам перевода), из числа тех, которые издавались во множестве, в виде поэм и романов, на всех европейских языках». [3] Однако в подтверждение своей гипотезы Ровинский не приводит никаких аргументов.

Таким образом, были высказаны следующие гипотезы: 1) русская повесть непосредственно заимствована с итальянского, 2) между русской повестью и итальянским романом о Бове существовало промежуточное звено в виде сербской или польской обработки.

С другой стороны, русские исследователи ставят вопрос, была ли действительно Италия первоначальной родиной средневекового романа о Бове. Впервые это сомнение было высказано Катениным. Он указывал, что Бова-королевич воспет был северными труверами Франции в каролингском цикле сказаний, а в

[1] А. Н. Пыпин, цит. соч., стр. 248.

[2] И. М. Снегирев. Лубочные картинки русского народа в московском мире, М., 1861, стр. 109.

[3] Д. Ровинский. Русские народные картинки, т. IV, стр. 145—146.

Италии он стал известен позднее. Но, возражая Львову, Катенин писал: «Ошибся один из покойных литераторов наших, написав, что невежи вместо города Анконы поставили Антона; Бова был точно из Антоны, и город сей не в Италии был, а в Англии: South Hampton».[1] В 1857 г., в статье «Ответ г-ну Буслаеву», Хомяков касается вопроса о происхождении русской сказки о Бове: «...Когда Пушкин, первый (если не ошибаюсь), сказал, что «Бова-королевич» переведен с итальянского языка (что совершенно справедливо) и есть сказка итальянская, я встретился с ним и доказал ему, что хотя сказка перешла к нам из Италии, но в Италию перешла она из Англии, своей родины. Он хотел это напечатать, но, кажется, забыл; с тех пор не знаю, сказал ли кто-нибудь то же самое...» В доказательство своего мнения Хомяков приводит анализ имен: Бевис — Бова, Антона — английский Гамптон. Здесь он смыкается с рядом западноевропейских ученых, которые видели в европейском Бове потомка английского Бевиса. Некогда, — справедливо указывает Хомяков, — Бевис был один из самых популярных героев английских сказок, но с течением времени он, мало-помалу, был почти забыт,—«и теперь едва ли Россия не лучше помнит англо-саксонского богатыря Бову, чем его родина».[2]

К мнению Хомякова позднее присоединяется Бессонов, который также видит в Англии первоначальную родину русской лубочной сказки о Бове, а в Бевисе, может быть, даже Беовульфа, предка Бовы-королевича.[3]

В 1876 г. А. Рамбо в книге «La Russie épique» (раздел «Epopée adventice») уделяет внимание сказке о Бове. Проанализировав имена, указав на сходство их с именами «Reali di Francia» и западноевропейскую манеру рассказа, изложив затем содержание, Рамбо приходит к выводу, что источником этой сказки является французская chanson de geste о Бэве из Антона, «одном из героев каролингского цикла через посредство «Reali di Francia».[4] Это—первая гипотеза, указывающая на Францию, как на первоначальную родину русской сказки о Бове, и chanson de geste XII в., как первоначальный вид этой сказки, если не считать не развитой в четкую концепцию мысли Макарова, что Бова — «повесть итальяно-французская» (см. выше).

В 1880 г. появляется 2-е издание «Истории русской словесности» Галахова, где раздел «Памятники литературы повествовательной» написан А. Н. Веселовским. Пользуясь материалами и

---

[1] «Литературная газета», СПб., 1830, т. I, № 33, стр. 266.

[2] «Молва», 1857, № 17 от 3 августа, стр. 204. См. также Полное собрание сочинений Хомякова, СПб., 1900, т. VIII, стр. 40, 44.

[3] Песни, собранные П. В. Киреевским, т. IV, № 862, Приложение, стр. CLXXXIV.

[4] A. Rambaud. La Russie épique, Paris, 1876, p. 429.

результатами исследования Райна, Веселовский внимательно сличает тексты североитальянской поэмы с русской сказкой и приходит к выводу, что источником русской переводной повести XVII в. — позднее лубочной сказки — о Бове были не «Reali», а какая-нибудь североитальянская обработка поэмы о Бове, вроде той, которая напечатана Райна.

Вопрос о первоначальной родине европейского романа о Бове также интересует А. Н. Веселовского. Он доказывает, что источником итальянских обработок романа были французские chansons de geste каролингского-цикла, которые «рано начали переходить через Альпы и распространяться в северной Италии, где близость местных говоров с французскими не слишком мешала пониманию и приурочиванию привнесенных рассказов.»[1]

Веселовского интересует и третий вопрос, связанный с проблемой генезиса русской повести о Бове, — путь ее проникновения к нам. «Каким путем пришла к нам итальянская поэма, была ли она переведена непосредственно, или прошла предварительно сквозь какую-нибудь славянскую переделку; переведена ли с писанного подлинника или пересказана по слуху и памяти,—на все эти вопросы мы пока ответа не имеем», — пишет Веселовский.[2] В связи с интересом к проблеме генезиса русских переводных повестей А. Н. Веселовского заинтересовал белорусский текст повести о Бове из Познанского сборника XVI в., на который впервые указал О. М. Бодянский.[3] А. Н. Веселовский изучает сначала отрывки, напечатанные Бодянским, затем непосредственно самый текст, читает доклады о своих разысканиях в романо-германском отделе филологического общества при Петербургском университете, печатает две заметки о повести о Бове,[4] причем в приложениях ко второй статье впервые печатает текст белорусской повести о Бове из Познанского сборника.

Итоги изучения этого сборника опубликованы А. Н. Веселовским в 1888 г. во II томе его исследования «Из истории романа и повести (Славяно-романские повести)». Там исследованы подробно, помимо повести о Бове, также входящие в этот сборник повести о Тристане и Изольде и об Аттиле.[5]

---

[1] Галахов. История русской словесности, изд. 2-е, стр. 458.

[2] Там же, стр. 459.

[3] О. Бодянский. О поисках моих в Познанской публичной библиотеке («Чтения ОИДР», М., 1846, кн. 1-я, стр. 29—30).

[4] A. Wesselowsky. Zum russischen Bovo d'Antona («Archiv für slavische Philologie», 1884, Bd. VIII, S. 330; 1886, Bd. IX, S. 310).

[5] Почти одновременно с А. Н. Веселовским Познанский сборник главным образом с точки зрения датировки его путем филологического анализа, изучает Брюкнер (см. его статью: Ein weissrussischer miscellaneus Codex в «Arch. fur slav. Phil», Bd. IX, S. 345. Результаты его работы использованы А. Н. Веселовским.

Как ставит Веселовский в этой работе вопрос о генезисе русской повести о Бове? В данном случае этот вопрос является для него второстепенным, поскольку его интересует в основном белорусский текст. Однако, изучая последний, Веселовский не только привлекает русские версии сказки о Бове, но и ставит широко вопрос об этой сказке лишь как об одной из десятков европейских обработок сюжета о Бове. Он собрал сведения о распространении романа о Бове по всем странам Западной Европы. Вплоть до появления книги Хр. Бойе (см. выше) работа Веселовского была единственной попыткой такого обзора.

Веселовский в этой работе снова подтверждает мнение, высказанное им в 1880 г., что первоначально повесть о Бове зародилась во Франции, откуда через посредство Италии и, вероятно, Сербии попала в Белоруссию и Великороссию. Из многочисленных итальянских переделок романа о Бове источником русских и белорусских текстов А. Н. Веселовский считает североитальянскую поэму. По его мнению, следует прежде всего установить две группы редакций: 1) белорусскую и 2) русскую.

Предположение Веселовского о сербском оригинале повестей о Бове основано на общем заглавии повестей в Познанском сборнике: «Почипаеться повесть о витязях с книг сербских».

Белорусская редакция, по его мнению, «переведена с сербского и за сербизмами, оставшимися в белорусском пересказе, сохранила и несколько италианизмов — следы оригинала, над которым работал южнославянский переводчик. Этот оригинал или весьма близкий к нему текст, мы и теперь еще можем признать в венецианской поэме, изданной Райной». Сербский подлинник белорусской повести не найден. «Сербский переводчик, — пишет далее Веселовский, — довольно близко, часто дословно передает подлинник... он тождественен с венецианским текстом или был к нему чрезвычайно близок». Русские редакции (а и б), по мнению Веселовского, восходят также к сербскому переводу итальянской поэмы о Бове (без эпизодов о Пипине и сцены боя под Задонией).[1] Так решает Веселовский проблему генезиса русской и белорусской повестей о Бове.

В 1899 г. Г. Н. Потанин на основе внешнего сопоставления мотивов высказывает (как позднее Зеттегаст, см. выше) мнение о восточном происхождении повести о Бове.[2]

Тот же метод на десять лет ранее привел М. Г. Халанского к малообоснованному выводу о влиянии русской повести о Бове на сербские песни о Марке Кралевиче.[3]

[1] А. Н. Веселовский, ук соч., т. II, стр. 246, 283, 304.

[2] Г. Н. Потанин. Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе, М., 1899, стр. 680—692.

[3] «Русск. филолог. вестник», 1889, № 2, стр. 260—282.

Кроме проблемы генезиса русской повести и ее отражения в славянском эпосе, исследователей много раз интересовал вопрос об отношении ее к фольклору.

В 1831 г. в предисловии к сборнику переводных русских лубочных сказок Я. Гримм, останавливаясь на сказке о Бове-королевиче, указывает, что на Руси эта сказка не была просто переводом: «она была изменена, дополнена, и эта обработка имеет особый интерес».[1]

В чем именно заключается своеобразие русской переработки сказки о Бове, Я. Гримм не указывает. Впервые этим занимается А. Н. Пыпин. Он указывает, что в русских редакциях повести о Бове-королевиче «существенное изменение первобытного рассказа состоит только в том, что к нему в обширных размерах привился обыкновенный тон и подробности русского сказочного эпоса. Важное доказательство старины нашей сказки представляют рукописи XVII в., излагающие ее в такой отделанной форме, какую она могла получить только от сильного продолжительного влияния народности русской. В старинных списках она отличается даже более народным складом, чем в последующих изданиях печатных и лубочных».[2]

Вопросом о связи с фольклором русских переводных повестей и сказок вообще и, в частности, сказки о Бове-королевиче интересуется в 1856 г. А. А. Котляревский. Он помещает в № 132 «Московских ведомостей» под псевдонимом «С-т» статью «Взгляд на старинную русскую жизнь по народным лубочным изображениям», в которой говорится: «Народное начало радостно приютилось под сенью... переводов и мало-помалу начало обнаруживать признаки жизни. В сказаниях ли о премудром царе Соломоне или Александре Македонском, в повести ли о славном Бове-королевиче — время от времени кое-где слышатся русские мотивы, сообщая всему произведению несколько иной характер, не похожий на тот, который оно имело в подлиннике. Причина, почему эти литературные заимствования принялись у нас и получили довольно обширное значение, заключалась в довольно близком сродстве их с некоторыми мотивами нашей народной поэзии — и роман, переведенный или переделанный с чужого образца, ставился иногда совершенно наряду с произведениями народной фантазии. Так незаметно терял перевод черты чужой жизни и заменял их другими, взятыми из русского быта. Эти знакомые подробности заставляли читателя забывать о происхождении книги, и сочувствие к ней возра-

[1] A. Dietrich, ук. соч.

[2] А. Н. Пыпин. Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских, стр. 248.

стало, особенно когда герой ее, не лишенный известной доли нравственных достоинств, овладевал чувством читателя и своими славными подвигами поддерживал его участие в судьбе своей...» [1]

В 1862 г. в приложении к IV выпуску «Песен» П. В. Киреевского Бессонов печатает анализ ряда русских лубочных сказок (стр. CLXXXIII—CXCIII). Среди других его внимание привлекает и сказка о Бове-королевиче, которая известна ему в полном и сокращенном тексте лубочного издания (на 32 лл. и на 8 лл.). Он сопоставляет лубочные сказки о Бове с былинами и указывает, что целый ряд эпизодов лубочной сказки разработан согласно традициям устного народного творчества. Персонажами, оттуда заимствованными, по мнению Бессонова, являются в сказке о Бове Чернавушка (былина о Ваське Буслаеве), гости корабельные (былина о Садко и Соловье Будимировиче), пилигрим (калики перехожие былин). Полкан и Лукопер, по мнению Бессонова, — персонажи русского народного творчества как по форме своих имен, так и по частому упоминанию в былинах и других лубочных сказках. [2]

Эпизодами, заимствованными из русского устного творчества или разработанными в стиле его, по мнению Бессонова, являются — притворное желание Милитрисы поесть мяса дикого вепря (былина об Иване Годиновиче), поведение Дружневны на пиру (отношение Апраксии к Тугарину и Чуриле) и т. д.

Недостатком статьи Бессонова является, прежде всего, смеше-

---

[1] Итальянское происхождение сказки о Бове автору статьи известно по цитированному выше предисловию Гримма.

[2] Вообще существовало представление об исконном русском происхождении образа Полкана. Хомяков, подобно Бессонову, основывался на его имени (Пол-кан, т. е. полуконь), а Макаров писал еще в 1833 г.: «Полкан или Полехан существовал полуконем и получеловеком. В честь его еще и поныне некоторые из рязанских и владимирских простолюдинов имеют какое-то торжество. Оно бывает, кажется, около Ильина дня, в других местах — ранне, именно тогда, когда совсем убирается сено» («Телескоп», 1833, ч. 18, № 21, стр. 114). Или: «Европейцы, разумею французов, германцев или немцев, англичан и итальянцев и пр., — гораздо беднее нас своими сказочными выдумками; их волшебное почти всегда постижимо; их гиганты не люди, не наши богатыри; их красавицы очаровательны, но не красные девицы; у них нет ни Яги, ни Кащея, ни Полкана, ни даже хотя одного Ивана Царевича» (там же, ч. 17, стр. 130).

Такое представление о Полкане попадает даже в учебник. Анализируя памятники древней Руси, относящиеся ко времени язычества, П. Георгиевский выделяет предание о Полкане: «Полканы сходны с греческими кентаврами. Кто читывал сказку о Бове-королевиче, тот верно имеет понятие о Пол-коне или Пол-кане. Из других сказок видно, что Пол-конь был умный, красивый, могучий богатырь и великий наездник, обращенный за что-то каким-то сильным же колдуном в лошадь с прекрасною человеческою головою. От власти Пол-коня зависели все сивки, бурки и вещие каурки». (П. Георгиевский. Руководство к изучению русской словесности в 4 частях, изд. 2-е, ч. IV, стр. 87).

ние двух моментов: широкой известности героев сказки о Бове и фольклорного стиля самой сказки. Кроме того, не зная итальянского текста романа о Бове, Бессонов делает целый ряд ошибочных выводов, например, пишет о коренном русском происхождении Полкана и Лукопера. Но совершенно правильно его наблюдение, что в русской сказке о Бове-королевиче есть целый ряд «подробностей, обличающих участие чисто русского народного творчества».[1]

А. Рамбо в цитированной выше книге «La Russie épique» останавливается на вопросе о национальном своеобразии русской переделки европейского романа о Бове. «В русскую сказку, — указывает Рамбо,— введены персонажи и мотивы из былинного творчества: девушка-Чернавушка, тяжесть богатырского сна, воинские подвиги с помощью оси тележной или другого хозяйственного орудия, великан с головой «что пивной котел», таинственный образ старца-пилигрима, Полкан — полуконь-получеловек... Интересно наблюдать,— пишет далее автор,— как русский гений полностью ассимилирует сказание, которое можно рассматривать как чисто западноевропейское, как неотъемлемую часть каролингского цикла...»[2] Таким образом, Рамбо указывает на народность стиля русской сказки о Бове, сопоставляя ее с былинами. Веселовский в своей работе «Из истории романа и повести» также ставит вопрос о фольклорных элементах в этой русской повести. По его мнению, уже в списках XVII в. (особенно в списке, опубликованном в 1879 г. в издании Общества любителей древней письменности) повесть о Бове на Руси представляет «ту череду в развитии народной книги, когда она готовится перейти в сказку, охватывается ее стилем, тянет к почве». Веселовский указывает далее, что рыцарский роман в русской переделке значительно видоизменяется: герцог Орио обратился в посадского мужика Орла́, средневековый замок— в земскую избу; когда описывается посольство — посол всякий раз бьет челом, кладет грамоту на стол; на пиру рушат лебедь белую и т. д. Веселовский отмечает, что ряд выражений повести просто заимствован, повидимому, из былин (например, «головней покачу»).

Наконец, Веселовский обращает внимание еще на два характерных композиционных приема народного творчества, имеющих место в нашей сказке: любовь к повторениям (например, двукратное описание богатырского коня Бовы) и предрасположение к эпической справедливости — враги и изменники должны быть наказаны, верные и добрые люди награждены. Этот элемент, имеющийся в западноевропейских вариантах, усилен

[1] Песни, собранные П. В. Киреевским, т. IV, стр. CXCIII.
[2] A. Rambaud. La Russie épique, p. 432, 433.

в русской сказке и потому несколько изменяет конец как по сравнению с европейскими вариантами, так даже и с белорусским текстом. Наказывается сторонник Додона Ричарда, наказан предатель дворецкий, пославший Бову на верную смерть к Салтану, в духе эпической справедливости награждается девушка-Чернавушка, спасшая Бову.[1]

Наряду с этим указанием на сказочно-былинный русский стиль в русской обработке повести о Бове, А. Н. Веселовский отмечает широкую популярность этого произведения в России и в связи с этим — проникновение когда-то иноземных ее героев в чисто русские волшебные и богатырские сказки.[2]

Веселовский еще не знал, что русская устная традиция хранит и самую сказку о Бове, как показали записи фольклористов, начиная с 60-х гг.

Закончив краткий обзор истории изучения повести о Бове на Западе и в России, подведем итоги.

1. В данном случае западноевропейская наука идет впереди. Там собраны и изучены хотя бы рукописные тексты (большая часть их издана), установлено взаимоотношение редакций как внутри отдельных стран, так и между ними. У нас положено лишь начало изучению повести на русской почве замечательной работой Веселовского, которая требует теперь значительных дополнений. Дело в том, что Веселовский имел в своем распоряжении лишь три-четыре русских рукописных текста повести, так как остальные в то время находились в частных коллекциях. С тех пор государственные книгохранилища пополнились такими замечательными коллекциями, как коллекции Барсова, Тихонравова, Забелина, Вострякова и других.

Наконец, после Октября многие частные коллекции стали достоянием государственных музеев. В результате, теперь, через 50 лет после работы Веселовского, в одной Москве имеется свыше 20 рукописных текстов повести о Бове — от XVII до начала XIX в. Вот почему первоочередной задачей является возможно более полное обследование доступного теперь рукописного материала, который позволит решить вопрос о взаимоотношении русских рукописных редакций.

Далее, используя основные западноевропейские труды и продолжая работу Веселовского, следует попытаться решить вопрос, где, когда, каким образом и какие именно европейские варианты романа о Бове легли в основу русской повести. С другой стороны, сравнительное изучение белорусских и русских редакций позволяет установить чрезвычайно интересный факт культурного влияния литературы Белоруссии на русскую литературу уже в

[1] А. Н. Веселовский, ук. соч., стр. 302—303.
[2] Там же, стр. 245.

XVI столетии. Вот ряд задач, которые могут и должны быть разрешены при изучении рукописного материала.

2. В западноевропейской и русской науке имеются опыты анализа композиции, стиля, языка повести о Бове. Здесь придется, в отличие от прежних исследователей, решать вопрос не об индивидуальной или типической разработке того или иного мотива, а о классово-социальном генезисе того или иного сюжета, того или иного стиля. Следует изучить социальную среду, создававшую и читавшую такие различные произведения, как рыцарский роман, записанный в XVI в. в сборнике шляхтичей Униховских, сказку, насыщенную откликами на политические события, наконец, русскую волшебную сказку, записанную в начале XX в. в Белозерском крае, на Урале и живущую до сих пор в устах советских мастеров-сказочников.

3. Необходимо затем изучить творческую переработку переводного рыцарского романа о Бове в лубочной литературе и в устном народном творчестве.[1] Следует указать, что судьба повести о Бове типична в этом отношении для ряда народных повестей: подобно Бове героями лубка и позднее народной русской сказки стали и Еруслан Лазаревич, и Петр-Златые Ключи. Таким образом, изучение литературной истории повести о Бове позволяет раскрыть один из характерных процессов русской литературы — освоение и творческую переработку литературного наследия других стран.

4. Необходимо специально остановиться на вопросе о литературной обработке этой народной сказки Радищевым и Пушкиным,[2] понять, почему их привлекал именно данный сюжет и как они его переделали, каждый по-своему, в связи с литературной традицией и исторической обстановкой своего времени.

5. Следует собрать также отзывы писателей о данной повести, так как эти отзывы тесно связаны и с проблемой так называемой «народной» литературы, и с проблемой «народности», как они понимались в XVIII — XIX вв.

6. Наконец, нужно изучить различные типы иллюстраций в лубочных изданиях сказки о Бове, попытаться раскрыть их источники, попробовать проследить не только переработку сюжета и стиля повести в различных лубочных вариантах, но и найти отражение этой переработки в стиле и композиции иллюстраций.

Вот ряд задач, которые следует разрешить.

---

[1] Вопросу о лубочных и устных вариантах сказки о Бове мною посвящена специальная работа.

[2] См. мою статью «Сказка о Бове в обработке Радищева», сборник «Проблемы реализма в русской литературе XVIII века», изд. Ак. Наук СССР, 1940; обработке сюжета этой сказки Пушкиным мною посвящена отдельная работа.

II. ИСТОРИЯ СЮЖЕТА РУССКОЙ ПОВЕСТИ О БОВЕ ПО РУКОПИСЯМ

Рукописи русской повести о Бове-королевиче довольно многочисленны. Они находятся не только в хранилищах Москвы и Ленинграда, но рассеяны также в краевых музеях и архивах. Количество рукописных текстов, которые удалось мне изучить,— 52 (один белорусский текст и 51 русский). Это, конечно, не исчерпывает всех имеющихся списков, но все же дает достаточно материала для общего представления о развитии сюжета повести о Бове на Руси.

Хронологическое обследование рукописей распределяется так: из 53 текстов лишь единственный, белорусский, текст относится к XVI в.; все русские тексты моложе: 10 из них относятся к XVII в., 39 — к XVIII и 3 — к XIX в.

Не все списки воспроизводят полный текст, многие содержат лишь часть его. Всего имеется 23 полных текста (1—XVI в., 3 — XVII в., 16 — XVIII в., 3 — XIX в.) и 30 отрывочных (7— XVII в., 23 — XVIII в.).

Необходимо также отметить, что повесть о Бове часто входит в состав различных сборников, хотя нередко встречаются и самостоятельно существующие ее списки. Из 53 изученных мной текстов 21 находятся в сборниках, 32 существуют отдельно.

Географическое распространение повести о Бове велико. Как показывают записи писцов и владельцев, она была известна в деревнях Остзейского и Олонецкого краев, в Петербурге, Москве, Шуе, Ярославле, Волоколамске, Суздале, Ржеве, Нижнем-Новгороде.

Обращают на себя внимание владельческие и читательские записи.

Одни рукописи повести о Бове были собственностью представителей высших слоев (стольника, боярского сына) и попадали в XVII—XVIII вв. даже в царские библиотеки;[1] другие были известны в средних кругах: принадлежали подьячим, мелким армейским чинам, купцам и мещанам; третьи сохранили владельческие записки крестьянина или солдатского сына.

Продолжительное существование, широкое географическое распространение, популярность в различных классах — таковы первые наблюдения при предварительном обзоре рукописных текстов повести о Бове.

Старейшая из рукописных версий повести о Бове (XVI в.)

[1] Ср. упоминание о том, как в декабре 1693 г. «из хором великого князя Алексея Петровича всея Великия и Малыя и Белыя России дьяк Кирила Тиханов снес потешную книгу в лицах в десть (т. е. в лист) о Бове-королевиче, многие листы выдраны и попорчены, а приказал тое книгу починить заново. И того ж числа для починки та книга отдана иконописцу Федору Матвееву». (И. Е. Забелин. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст., часть II, М., 1915, стр. 181).

является переводом на белорусский язык одного из вариантов североитальянской поэмы, как доказал это в своем исследовании Веселовский. Был ли сделан перевод на белорусский язык непосредственно с итальянского оригинала или промежуточным звеном была сербская редакция, как заставляют думать первые строки Познанского списка («починается повесть... с книг сербских») — неясно.

Сербская рукопись повести о Бове неизвестна, а может быть, и никогда не существовала. Что же значит в таком случае указание на «сербские книги»?

Некоторый свет на этот вопрос проливает статья К. Иречека (Beiträge zur Ragusanischer Literaturgeschichte)[1]. Автор указывает, что книжная торговля на Балканах, и, в частности, в г. Рагузе, была в XV—XVI вв. в руках итальянцев. Крупные транспорты книг постоянно прибывали туда из Венеции (центра итальянского книгопечатания) и других итальянских городов. Инвентарные описи ящиков с книгами, прибывших в 1549 г. от венецианского книготорговца Трояна Ново к рагузийскому либрарию Антонио до Одолис, позволяют до некоторой степени судить о том, какие книги обычно покупали и читали в то время жители Рагузы. Среди других книг пользовались большой популярностью рыцарские романы и поэмы каролингского цикла. Одной из самых любимых была народнолубочная итальянская поэма о Bovo d'Antona. 24 экземпляра ее прибыли в Рагузу, например, с книжным транспортом в 1549 г. («Cassa prima... 6 Boui picoli a risma... Cassa nuoua... 18 Boui d'Antona in 4°...»).[2] Это обстоятельство позволяет предполагать, что белорусский перевод повести о Бове мог быть сделан непосредственно с итальянского подлинника, приобретенного на Балканском полуострове. Здесь же, возможно, было приобретено и народнолубочное итальянское издание повести о Тристане, перевод которой помещен в Познанском сборнике рядом с повестью о Бове.

Так разъясняется указание переводчика на «сербские книги», т. е. приобретенные на Балканах итальянские книги, из которых он перевел повести Познанского сборника.

Такая гипотеза позволяет понять разнообразие языковых элементов повести. Если предположить, что переводчик был уроженцем Западной Руси, жившим долгое время на Балканах, то становится понятным наличие в Познанском списке итальянизмов — следов не всегда правильно понятого оригинала, — наряду с сербизмами и полонизмами — данью литературной среде и окружению.

Определение времени проникновения повести о Бове на Русь—

[1] «Archiv für slavische Philologie», Bd. 21, Heft 3—4, S. 399—542.
[2] Там же, стр. 513—514.

второй вопрос, который надо выяснить прежде, чем начать изучение взаимоотношения белорусских и русских обработок повести о Бове и исследовать развитие сюжета повести на русской почве.

Первые прямые ссылки на повесть о Бове относятся к 40-м гг. XVII в., когда И. Бегичев упоминает ее в своем письме С. Л. Стрешневу среди других переводных «баснословных повестей». [1]

Но эта дата бытования повести на Руси — 2-я четверть XVII в.—является не самой ранней. Уже в списках конца XVII в. переводная повесть о Бове носит следы весьма значительной переработки в духе русских народных сказок и былин, которая косвенно указывает на продолжительное пребывание этого произведения на Руси, как впервые заметил А. Н. Пыпин. [2]

Другим косвенным доказательством проникновения повести о Бове на Русь не позже половины XVI в. является то, что имена героев этой повести уже в конце XVI столетия известны как личные имена в некоторых русских семьях. [3] Так, 21 сентября 1590 г. привез в Москву грамоты из Терского города от государевых послов, что посыланы в Грузию, пятидесятник стрелецкий Бова Гаврилов; [4] 1 февраля 1604 г. из Москвы в Нижний-Новгород государева грамота отправлена с зубчанином Лукопёром Озеровым; [5] в 1600 г. патриарший сын боярский Бова Иванов (род Скрипициных) [6] делает вклад на поминовение родителей в Троице-Сергиев монастырь. [7]

Если прозвища «Бова», «Лукопер» на рубеже XVI—XVII вв. уже попали в официальные документы, то следует полагать, что

---

[1] «...все вы, кроме баснословныя повести, глаголемыя еже о Бове-королевиче и мнящихся вами душеполезные быти, иже изложено есть от младенец, иже о куре и о лисице и о прочих иных таковых же баснословных повестей и смехотворных писм, — божественных книг и богословных дохмат никаких ни читали» («Чтения в О. И. и Др. Рос.», 1898, кн. 2-я (182-я), отд. II, стр. 4).

[2] Очерк. лит. истории старинных повестей и сказок русских, стр. 248.

[3] Н. П. Лихачев. Любопытные прозвища («Библиограф», 1893, № 2—3, стр. 157—159).

[4] С. А. Белокуров. Сношения России с Кавказом, вып. I, М., 1889, стр. 127.

[5] Там же, стр. 375.

[6] Синодик Троице-Сергиева монастыря. Указал проф. С. Б. Веселовский.

[7] Личное имя Бова удержалось и позднее, в XVII—XVIII вв. Например, в Актах Холмогор. и Устюж. еп. (Рус. ист. биб-ка, т. 25, стр. 23) упоминается в 1626 г. «женка Наталья Бовина». В 1692 г. сборник исторических повестей (собр. Ундольского, № 184) переписал клиросный дьячок Васька Иванов Бова. В 1697 г. дьячок Василий Иванович Бова переписал «Историю о Казанском царстве» (собрание гр. Ф. А. Толстого, № 442). Его внук или правнук Семен Бова «долговязый ткач, великий сказочник и рапсодист», жил в Переяславль-Залесском уезде в 1794 г. («Телескоп», 1833, № 21, стр. 18; Макаров, «Листок из пробных листков для составления истории русских сказок», стр. 130).

повесть о Бове была популярным произведением на Руси уже в 60—70-е гг. XVI в., когда эти прозвища были даны их носителям. Следовательно, повесть попала на Русь еще несколько ранее — около 40—50-гг. XVI в. Должно было ведь пройти хотя бы одно-два десятилетия, прежде чем эти имена могли стать достаточно популярными.

На первый взгляд эта дата, устанавливаемая на основе показаний документов, как будто противоречит наличию русских рукописей лишь в конце XVII в. и белорусского текста 80-х гг. XVI в. Но здесь возможны два объяснения:

1. Белорусскому списку 1580 г. могли предшествовать более ранние белорусские тексты, послужившие основой русских вариантов повести о Бове в первой половине XVI в. С течением времени более ранние списки были утрачены, и остались лишь белорусский текст 80 гг. XVI в. и русские тексты конца XVII в. Такое предположение о судьбе первоначальных текстов повести о Бове закономерно, так как известно, что ряд произведений древней Руси сохранился лишь в списках, значительно отдаленных по времени от их оригиналов.

2. Можно также предположить, что повесть о Бове проникла из Белоруссии на Русь в первой половине XVI столетия путем устной передачи. То было время продолжительных войн с Польшей, Литвой, Ливонией. Пленные могли принести с собой на Русь эту повесть среди других, население северозападных русских областей могло знать ее. Можно предположить, что до 30—40-х гг. XVII в. повесть о Бове существовала на Руси только в устной традиции и лишь около половины XVII в. была записана. При этом часть списков, восходящих к рукописям, воспроизвела особенности белорусской группы текстов, а те, которые были записаны со слов русских сказочников, естественно восприняли ряд черт поэтики русского фольклора.

Обе эти гипотезы удовлетворительно объясняют наличие, как будет показано ниже, четырех различных редакций русской повести о Бове по рукописям конца XVII столетия. Поэтому обе они имеют законное право на существование, пока не будут найдены либо более ранние списки русской повести о Бове, либо более точные указания на то, что она существовала в XVI столетии в устной традиции.

* *
*

Изучение русской повести о Бове заставляет пересмотреть вопрос о соотношении белорусского и русских текстов повести. Как было выше указано, Веселовский предполагал, что белорусская и русская повести происходили из сербского источника;[1]

[1] А. Н. Веселовский. Из истории романа и повести, т. II, стр. 304.

в дальнейшем своем бытовании, по его мнению, белорусский вариант стоял особняком и не имел соприкосновения с русскими.

Привлеченные к изучению рукописи показывают, что точка зрения А. Н. Веселовского неверна. Целый ряд рукописных списков, несомненно русских, среди них четыре текста XVII в., явно восходят либо полностью, либо частично к Познанскому тексту повести о Бове. Пять русских списков повести воспроизводят основные характерные черты Познанского текста:

1. Список XVII в., собр. Шляпкина № 225/476А Библиотеки Саратовского Государственного университета (СГУ).
2. Список XVII в., собр. Шляпкина № 226/477 СГУ.
3. Список XVIII в., сборн. № 431 Государственного Исторического музея (ГИМ).
4. Список XVIII в., собр. Ундольского № 1060 Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ).
5. Список XVIII в., собр. Тихонравова № 611 ГБЛ.

Кроме того, семь списков, представляющие контаминации различных редакций, также воспроизводят ряд особенностей Познанского списка;

1. Список XVII в. О XV 6 Публичной библиотеки РСФСР им. Салтыкова-Щедрина (ПБСЩ).
2. Список XVII в., сборн. Черткова № 451 ГИМ.
3. Список нач. XVIII в., сборн. Q XVII 77 ПБСЩ.
4. Список XVIII в., сборн. Погодина № 1773 ПБСЩ.
5. Список XVIII в., № 4. 2. 23 собр. Библиотеки Академии Наук СССР (БАН).
6. Список XVIII в. № собр. 28. 6. 26 БАН.
7. Список XVIII в. М. 775 собр. ГБЛ.

Эти списки сохраняют как формы имен белорусского текста— Меретриса, Меретрыса, Синбалда, Сынбалда, Малгария, — так и эпизоды, исчезнувшие в руссифицированных вариантах: битва Бовы с угорским королем по призыву дочери Салтана, Малгарии; битва Бовы с Пипином (Пименом — ГБЛ, Тих. № 611, Пипимом — ГИМ № 431). Затем, согласно белорусской редакции, и в этих русских списках Бова не убивает Додона в постели, а лишь изгоняет его из своего города Антона. Додон идет за помощью к французскому королю Пипину, и тот выступает вместе с ним против Бовы. Бова убивает Додона в открытом бою, а Пипина берет в плен; наконец, согласно белорусской редакции, рассказан в этих списках и конец злодейки-матери Милитрисы: Бова велит ее живой замуровать в стену.

Можно привести много более мелких дословных текстуальных совпадений, но и приведенных достаточно для доказательства того, что целая группа русских текстов повести о Бове вплоть до конца XVIII в. сохраняет в точности основные черты белорусской редакции. Очевидно, белорусские списки повести о Бове были первоначальным источником всех русских версий, и в дальнейшем развитии часть текстов сохранила характерные

черты белорусского оригинала, другие же подверглись сильной творческой переработке, восприняли характерные черты русской народной сказки, испытали влияние русских былин.

Приведенные соображения интересны не только для истории повести о Бове. Белоруссия уже в XV — XVI вв. близко соприкасалась с Западом . Там были хорошо известны романские рыцарские повести. Кроме повести о Бове, Тристане и Аттиле (Познанский сборник), в белорусской литературе были известны также западноевропейские варианты повестей о Трое и об Александре Македонском, книга о Тундале-рыцаре, сказание о Сивилле-пророчице.[1] Белоруссия через свою литературу и искусство была проводником на Московскую Русь западного влияния в течение XVII и XVIII вв. С этой точки зрения и представляет интерес вопрос о взаимоотношении белорусских и русских редакций повести о Бове.

Выяснив вопрос о взаимоотношении белорусской и русской версий повести, следует остановиться на классификации ее русских списков.

Они распадаются на пять основных групп.

Первая из них, как было выше указано, восходит к типу Познанского списка (тип 1).[2]

Вторая группа объединяет тексты, близкие к списку Истоминского сборника конца XVII в. (тип II).

К этой группе относятся следующие списки:

1. Список XVII в. из Истоминского сборника собр. Ундольского № 919 ГБЛ, напечатанный А. Н. Веселовским.
2. Список XVII в., сборн. Беляева № 59 (1567) ГБЛ.
3. Список XVIII в., собр Барсова № 2329 ГИМ.
4. Список XVIII в., сборн. № 1807 ГИМ.
5. Список XVIII в., сборн. Q XV 96 ПБСЩ.
6. Список XVIII в., собр. Шляпкина № 480/479А СГУ.
7. Список XVIII в., собр. б. Самарской публ. б-ки Q 104.

Третья группа русских списков повести о Бове восходит к типу текста, напечатанного ОЛДП (тип III).

1. Список XVII в., сборн. Q XVII 27 ПБСЩ (напечатан в «Памятниках древней письменности», 1879, ОЛДП).
2. Список конца XVII в., собр. Погодина № 1778 ПБСЩ.
3. Список XVII в., собр. Погодина № 1780 ПБСЩ.
4. Список нач. XVIII в., собр. Барсова № 2345 ГИМ.
5. Список XVIII в., сборн. Об-ва Ист. Др. № 324 ГБЛ.
6. Список 1734 г., собр. Ундольского № 927 ГБЛ.
7. Список XVIII в., сборн. Тихонравова № 324 ГБЛ.
8. Список XVIII в., собр. Барсова № 2328 ГИМ.
9. Список 1788 г., собр. Барсова № 2327 ГИМ.

---

[1] Е. Ф. Карский. Белоруссы, т. III. Очерки словесности белорусского племени. 2. Старая западнорусская письменность, Пгр., 1921, стр. 66—83.

[2] Рукописные тексты первого типа перечислены выше.

10. Список XVIII в., собр. Забелина № 329 ГИМ.
11. Список XVIII в., сборн. Барсова № 1616 ГИМ.
12. Список 1764 г., Q XV 85 собр. ПБСЩ.
13. Список конца XVIII в., собр. Эрмитажа № 196 ПБСЩ.
14. Список XVIII в., собр. Погодина № 1779 ПБСЩ.
15. Список XVIII в. № 17. 16. 21, собр. БАН.
16. Список XVIII в. № 21. 7. 9 сборн. БАН.
17. Список XVIII в., Калин. обл. арх. упр., б. Тверск. музея № 171/3637.
18. Список XVIII в., собр. Шляпкина № 479.228 СГУ.
19. Список XVIII в. № 33. 15. 195 собр. БАН.
20. Список XIX в., собр. ОЛДП № XVIII ПБСЩ (писарская копия списка Q XVII 27 для издания 1879 г.).[1]

Отличия русских текстов (типа II и III) указаны А. Н. Веселовским. В основном они сводятся к следующему.

Тип II стоит ближе к Познанскому тексту и носит меньше следов руссификации, как это показывают прежде всего имена (Малгария, Тервез, или Териз, Ангулин). В нем фигурирует также брат Симбалды, названный Агеном (Познанский сп. — Гилберт). Сватовство Гвидона рассказано сравнительно коротко и без деталей. В погоню за Бовой отправляются два племянника (богатыря) Салтана. Пилигрим дает два зелья, как в Познанском тексте; придя в царство Маркобруна, Бова встречает юношей; в городе Костеле царствует царь Урил (Орел); Малгария упомянута лишь в конце, когда Бова сватается за нее.

Тип III носит несравненно больше черт русской творческой переработки. Сватовство Гвидона рассказано здесь гораздо подробнее. Малгария превращается в Миличигрию, Минчитрию; Тервез—в Дмитрия или Никиту. Царь Урил превращается в земского (или посадского) мужика Орла, пилигрим дает Бове не 2, а 3 зелья, эпические повторения тут гораздо более многочисленны, чем во второй редакции. Эпизод погони племянников Салтана за Бовой совершенно отсутствует, исчезает также брат Симбалды. Зато царевна Миличигрия появляется в конце и, узнав, что Бова нашел Дружневну, просит, чтобы он сделал ее своей «закладчицей».

Гораздо сильнее, чем в предыдущей группе, здесь выражена «эпическая справедливость»; подробно рассказано о мести Бовы своим врагам и награждении верных слуг и друзей, в противоположность первой группе, где этот эпизод едва намечен.

Четвертая группа русских текстов (тип IV) представляет собой различные контаминации как вышеуказанных двух русских групп, так и белорусской (тип IV):

1. Список XVII в., сборн. Щукина № 251 ГИМ.
2. Список XVII в., сборн. Черткова № 451 ГИМ.

---

[1] Мне известен еще один список (XVIII в.) из собр. Титова (№ 1543), находящийся в Ростовском краевом музее, который отказался его выслать в Госуд. б-ку им. Ленина по моему запросу.

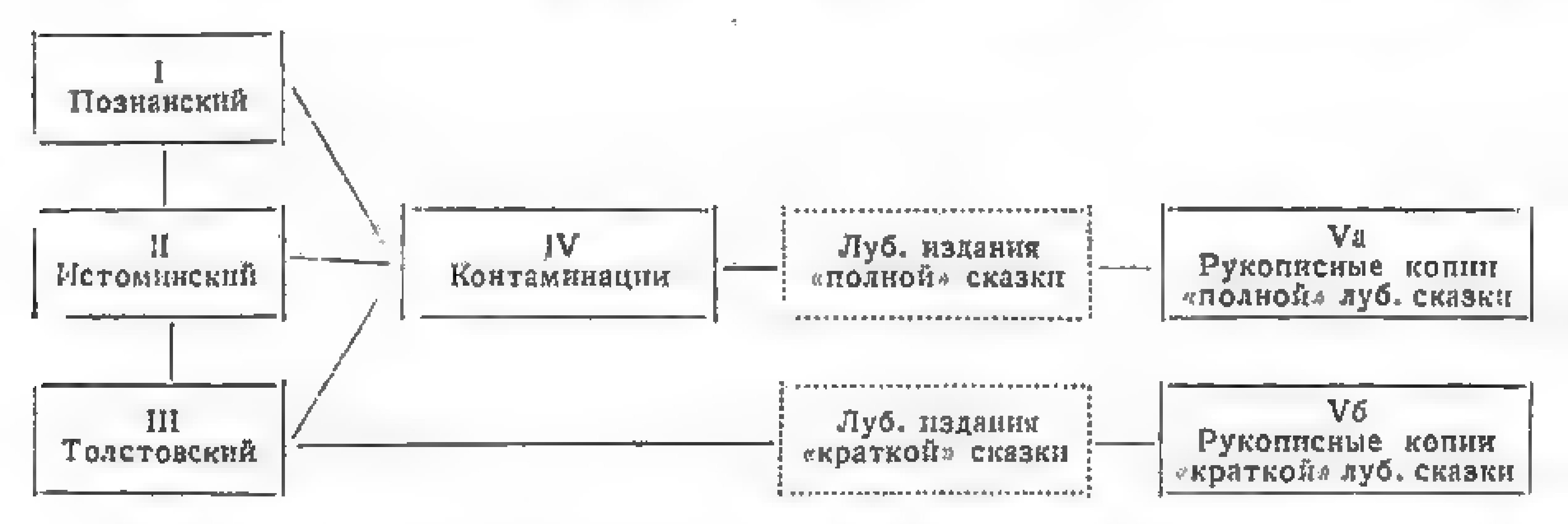
3. Список XVII в. О XV 6 собр. ПБСЩ.
4. Список нач. XVIII в. Q XVII 77 сборн. ПБСЩ.
5. Список XVIII в. Q XVII 189 сборн. ПБСЩ.
6. Список XVIII в., сборн. Погодина № 1773 ПБСЩ.
7. Список XVIII в. № 4. 2. 23 БАН.
8. Список XVIII в. № 28. 6. 26 БАН.
9. Список XVIII в., М. 3155 сборн. ГБЛ.
10. Список XVIII в. М. 6931 сборн. ГБЛ.
11. Список XVIII в., сборн. Барсова № 1592 ГИМ.
12. Список XVIII в., сборн. ГИМ № 1452.
13. Список XVIII в., собр. Вострякова № 1192 ГИМ.
14. Список XVIII в., собр. Ундольского № 920 ГБЛ.
15. Список XVIII в., собр. Ундольского № 922 ГБЛ.
16. Список XVIII в., сборн. Шляпкина № 478/227 СГУ.
17. Список XVIII в. М. 775 собр. ГБЛ.

Тексты повести о Бове пятой группы являются копиями различных лубочных изданий, возникших в половине XVIII в. на основе контаминированных текстов (тип V).

1. Список XIX в., сборн. № 3615 ГИМ (копия краткой лубочной сказки).
2. Список XIX в. № 28.6.50 БАН (копия лубочного издания, СПб., 1807).

Таковы в общих чертах характерные признаки пяти основных типов русской рукописной повести о Бове.

Взаимоотношение их графически поясняет следующая схема:



Если положить в основу только внешний метод критики текста, то придется изучать разнообразные варианты повести о Бове, восстановив предполагаемый прототип каждой группы, и тщательно отметить отличительные особенности каждой отдельной рукописи по сравнению с ним. Именно таким путем шел А. Штимминг в изучении франко-итальянских текстов о Бове.

Но такой подход к материалу не раскрывает подлинной жизни художественного произведения. Ведь почти каждая рукопись была результатом не рабского копирования, а подлинного творческого акта, обусловленного исторической эпохой и той социальной средой, в которой он совершался. Поэтому вполне понятно, что повесть о Бове в XVI столетии и в сборнике шляхтичей Униховских будет мало похожа на повесть, которую

в течение столетия (1735—1834) хранил рукописный сборник крестьянской семьи Кузнецовых и Остзейском крае (ГИМ сборник № 431), хотя формально обе они — лишь два сравнительно близких варианта одной и той же редакции.

В течение своей двухсотлетней жизни на страницах русских рукописей повесть о Бове часто параллельно была распространена в различных общественных классах. Вполне понятно поэтому, что в одних вариантах она хранит облик иноземной авантюрно-рыцарской повести, в других сближается с волшебной русской сказкой, в третьих впитывает в себя отзвуки Петровской эпохи или борьбы дворянской оппозиции эпохи Екатерины II. Выделить особенности стилевого, композиционного, идеологического своеобразия основных групп вариантов повести, использовать записи для выяснения среды, в которой были созданы эти различные варианты, наметить эволюцию сюжета и стиля в зависимости от социальной среды — вот путь, по которому должно итти исследование.

* *
*

Первой стадией жизни повести о Бове на славянской почве является так называемый Познанский список XVI в. Чтобы иметь отправной пункт для изучения дальнейшей эволюции сюжета повести, нужно охарактеризовать идеологию и художественные приемы этого наиболее раннего из известных славянских вариантов повести о Бове, раскрыть в нем традиции европейского рыцарского романа, а затем проследить его превращение в русскую волшебно-богатырскую сказку.

В Познанском списке, как показал Веселовский, повесть о Бове сохранила все основные черты итальянских текстов с второстепенными отступлениями: 1) пропущен один эпизод (единоборство Бовы с угорским королем), 2) несколько иначе рассказано узнавание Бовы Симбальдом и сыном его Тервезом. Как справедливо указывал Веселовский, пропуск первого эпизода может быть легко объяснен стремлением переводчика несколько сократить конец повести.[1]

Переделка эпизода узнавания Бовы Симбальдом и Тервезом легко объясняется непониманием, а может быть, незнанием западноевропейского обычая, по которому женщины прислуживали мужчинам в бане (ср. также постоянный пропуск стиха «Po' li die del' aqua», по незнакомству с западным обычаем мыть руки перед едой).[2]

Какие же характерные черты западноевропейского рыцарского романа содержит повесть о Бове в белорусской редакции?

[1] А. Н. Веселовский, ук. соч., стр. 276.
[2] Там же, стр. 284 и 258.

В ней, прежде всего, следует отметить сложность интриги и обилие рыцарско-авантюрного элемента. Сюжет одновременно развивается по нескольким линиям; переходы от одной линии к другой нередко подчеркиваются автором: «Тут вернимося...», «Але тут вернимося до Бова...» Иногда же он просто употребляет в тех же целях союз «а» («А Бова...», «А Дружненна...»). С одной стороны, в повести живо чувствуется феодальная идеология, — в ней фигурируют: борьба за утраченное наследное королевство, борьба феодалов друг с другом, борьба христиан с сарацинами, обычай мести за убийство, идеалы вассальной верности и рыцарской доблести. Вполне понятно поэтому, что в повести видное место занимает описание воинских подвигов и приключений, битв, турниров, поединков. Согласно традиции западноевропейского рыцарского эпоса, у героя — чудесный конь и чудесное оружие. И конь, и оружие наделены собственными именами (конь — Гальц, меч — Кляренция). Меч некогда принадлежал «витязю Аливеру», (вероятно, Оливье, соратнику Роланда). Сказочный элемент не ограничивается чудесным оружием: здесь и чудесные зелья, и вещие сны, и чудовище Пулькан, полупес-получеловек, видом «як диабол с пекла».

С другой стороны, в центральных женских образах этой повести (Бландоя, Меретрыс, Дружненна, Малгария) ясно сказывается жизнеутверждающее прославление владычицы любви, звучащее в XII — XIII вв. как в рыцарском романе, так и в лирике трубадуров.

Ben es morts que d'amor non sen
Al cor quelque de ussa sabor

(Воистину мертв тот, кто не чувствует
в сердце радостного дыхания любви)

— пел Бернар де Вентадур. Во имя своей поруганной любви подстраивает убийство старого мужа красавица Бландоя. Презрев свой сан, умоляет пленного витязя о взаимности дочь султана Малгария. Влюбившись в красавца конюха, дочь короля Дружненна (в позднейших русских списках она будет называться Дружневной), забыв все приличия, целует равнодушного к ней юношу-слугу. Ради этой любви она целый год не выходит замуж за своего жениха Маркобруна. Жертвуя всем: положением, знатностью, бежит Дружненна с Бовой (здесь всюду он именуется Бово) по первому его знаку в день брачного пира. Она рождает сыновей не в законном, церковью освященном браке. Откровенно и целомудренно описаны эротические сцены, без ложной стыдливости, но и без всякого любования ими. Церковному миросозерцанию противопоставлено прославление земных радостей. Но это не делает героев людьми, равнодушными к религии. Они постоянно обращаются с жаркими молитвами к богу, богородице. Образ Бовы в темнице Салтана носит

характерные черты благочестивого христианского рыцаря, стойко отстаивающего свою веру.

В сплетении двух линий (рыцарско-авантюрной с примесью чудесного элемента и любовной) заключается основной интерес произведения.

С целью поддержания напряженного интереса читателя в развитие сюжета вводится ряд задерживающих моментов (побег, продажа в рабство, посылка с подложным письмом, буря, дикие звери и т. п.), которые сообщают фабуле всякий раз новый поворот. Авантюрный характер обусловливает введение таких элементов, как переодевание (придворный переодевается королем, Бова — пилигримом, Дружненна — скоморошкой) и узнавание (Дружненна узнает Бову по его мечу и ране, Бова узнает Дружненну по ее красоте и одежде).

Нужно отметить также вмешательство автора в повествование: он внимательно следит за перипетиями в судьбе героев, печалится их бедами, радуется их удачам. Это проявляется у него рядом сочувственных восклицаний («О боже великий, якая болесть нашлася!..», «О боже, святая дева Мария, якое зло учинила пани!..»).

Переводчик сохранил также ссылки итальянского оригинала на популярные песни о Бове—«como dixe lo cantor», изменив эти слова всюду в своем переводе на «як письмо говорит».

Таким образом, повесть является характерным рыцарским романом куртуазной литературы со всеми его особенностями.[1]

В каком же направлении видоизменялась далее рукописная повесть о Бове, пришедшая на Русь в обличье западноевропейского романа?

Эволюция ее тесно связана с условиями бытования. Единственный список XVI в. хранится в сборнике, принадлежавшем шляхтичам Униховским. В среде служилого дворянства это произведение было популярно в XVII — XVIII вв. Так, сборник собр. Беляева № 59 (1567) ГБЛ половины XVII в. принадлежал последовательно нескольким поколениям дворянской семьи Шангуровых (записи на лл. 1 — 3, 5). Список собрания Шляпкина № 225/476А 1675 г. был в XVIII в. собственностью какого-то «стольника и полковника» (л. 23 об.). Список собр. Погодина № 1780 XVII в. был собственностью «сына боярского Алексея Перепелицына, сына ево Петра Перепелицына да брата же ево Егора сына Перепелицына».

Повесть о Бове была известна в XVIII веке и в военной служилой среде, как показывают читательские или владельческие записи на списке собр. Погодина № 1779 половины XVIII в.,

[1] Подробный анализ мотивов повести о Бове в связи с рыцарским романом см. у Бойе, ук. соч., гл. III.

где имеются подписи каптенармусов, канцеляристов, канцелярского и ротного писарей «инфантерии нижегородского пехотного полка». Рукописная копия лубочной сказки о Бове начала XIX в. (ГИМ, № 3615) в 1840 г. принадлежала подпоручику Аполлону Рожкову.

С другой стороны, уже со второй половины XVII в. повесть эта бытует параллельно также в среде мелкого чиновничества. Один список ее, конца XVII в., собр. Унд. № 919 (напечатан А. Н. Веселовским), имеет запись на переплете: «Сия повесть разбойного приказу подьячего Ивана Яковлева, писал своима рукама». Другой список (XVII в. собр. ПБСЩ Q XVII 27) принадлежал «разбойного приказа подъячему Ивану Федорову».

В XVII — XVIII вв. ряд списков повести о Бове был известен в среде купечества и мещанства:

а) Собр. Погодина, № 1778 (ПБСЩ): «Сия Бова тетрадь посадского Шуи города человека Михаила Иванова сына, а по реклу Посникова. Писал Михайла сам своею рукою, а продал я Михайла сию тетрадь» (лл. 1—23).

б) Собр. Тихонравова, № 611 (ГБЛ): «Сия тетрадь суздальского купца Ивана Ильина его милость Белова» (лл. 9, 10, 11, 12, 13, 15).

в) Собр. Барсова, № 2327 (ГИМ): «Писал оную тетрадь нижегородский посацкой человек Александр сын Теплов 1788 года мая двадцатого числа» (л. 27 об.).

Другие же списки повести пользовались популярностью в крестьянской среде, где нередко они переходили из поколения в поколение в течение столетия.

Таковы, например, следующие:

а) Сборник № 431 (ГИМ): «Сия книга Устюжской правинцы Остзейской волости деревни Ермаковской книга Петра Семеновича Кузнецова. Тетрадь сия 1735 г.» (л. 236). «Сия книга Устюжской Остзейской волости крестьянина Ивана да Семена Федорова Кузнецовых» (л. 245). Или далее: «Сия книга Устюжской Остзейской волости деревни Назиновской, крестьянин Михайла Михайлова Кузнецова, подписал своею рукою 1834 года сентября 10 дня» (л. 246 об.).

б) Собр. Барсова, № 2345 (ГИМ): «Сия тетрадь крестьянина» (л. 30б).

в) БАН, № 21.7.9: «Зачета сия тетрадь писать в лето 1748 году марта 1 дня, а совершена того ж месяца 20 дня, а писал сию тетрадь Пудожского погоста житель Иван Устинов своеручно» (лл. 77—82).

г) БАН № 33. 15. 195: «Сия история Шуиского погосту деревни Драницыной экономического крестьянина Павла Федорова з братьей Александрой, Иваном Кушниковых списал отцовой (рукой) Федора Григорьева 1798 году» (л. 1).

д) Сборн. Барсова, № 1616 (ГИМ) XVIII в.: «Сия тетрадь солдацкого сына Николая Федотова» (л. 42 об.).

е) ГБЛ М. 775: «Сия тетрать города Волока Ламского солдатской слободы солдацкого сына Афанасия Екимова сына Хихалкина в 1770 году генваря 15 дня» (л. 19 об.).

Различия в социальной принадлежности читателей сказались в переработке рукописных текстов повести о Бове. Основные черты дифференциации намечаются уже к концу XVII в., а в XVIII столетии они находят свое завершение.

Группа текстов повести о Бове, созданных в демократической среде и для демократического читателя, ценителя фольклора, уже к концу XVII в. обладает устойчивыми характерными чертами. Типичным текстом такого рода является текст QXVII 27 ПБСЩ конца XVII в. (напечатан ОЛДП). В этом списке, как правильно указал П. Н. Сакулин,[1] повесть о Бове «по основным чертам своего стиля — это типичная русская сказка богатырского содержания. Действие происходит «в некоем царстве», в городе Антоне и в разных других государствах, иной раз названных так, что нельзя определить, о какой именно стране идет речь: рядом с Арменским царством названы царства Задонское и Рахлейское. Собственные имена переиначены как попало, но иногда осмыслены на русский лад; так, итальянский герцог Орио стал посадником Орлюм. Чужеземная обстановка, с королями. королевами, витязями и поединками, сохранена, но повесть предпочитает давать русскую обстановку: город с хоромами, палатами и теремами златоверхими, с посадником и земской избой, с подьячими и дворецкими, избы с кутом (красный угол), конником и поставцом; на пирах подают и «рушат» лебедь; играют на гуслях и домрах («играйте наигрыши добрые, а танцы ведите хорошие, да во всякой песне пойте храброго витязя Бову-королевича»); охотятся на гусей и лебедей, даже с ястребами; бои происходят в общем так, как у былинных богатырей (ударились острыми копьями, «что сильный гром грянул перед тучею»; «не столько били, сколько конем топтали» и т. д.). Женщины (дочери и жены) «падают» мужчинам в ноги. Поэтическая фразеология примыкает к стародавней русской традиции. Вот еще несколько примеров. «Ой, еси, слуга Личарда, служи ты мне верою и правдою, — поди ты... посольствовать, а от меня свататься», — говорит король Видон, как Владимир стольнокиевский в былинах о сватовстве; посол грамоту принял и «челом ударил». Ударяют челом и Бова, и Дружневна, и другие. Королевна Милитриса просит отца: «Государь мой батюшка, не давай меня за короля Видона». Личарде и Бове грозят «грозной смертию казнить» их. «Словеса твои паче меда устам моим», — говорит Личарде король Додон. На королевский двор Бова въезжает «безобсылочно». Биться на смерть — это «смертные чаши пити». Нападающий обычно угрожает огнем город «сжечь и головнею покатить». Витязь ездит на «добром коне», на «богатырском». У Лукопера, «славного богатыря», «голова—аки пивной котел, а промеж очами добра мужа пядь, а промеж ушами калена стрела ляжет, а промеж плечьми мерная сажень» (былинные приемы описаний). Лукопер сшиб с коней двух королей, «что снопов»; у Дружневны много «нянек, мамок и красных де-

[1] П. Н. Сакулин. Русская литература, ч. II, М. 1929, стр. 54—55.

виц». Не раз встречается выражение «песку к сердцу присыпал» в значении «огорчил». Как в былинах и сказках, в повести о Бове повторяются целые эпизоды с сохранением характерных словесных оборотов. Эпизод о том, как Бова меняется платьем со старцем на улице и как переодетый появляется перед Дружневной, готовой выйти замуж за Маркобруна, — очень близко напоминает аналогичные эпизоды в былинах. Бова наделен самыми привлекательными качествами, не хуже Девгения, — красавец, перед которым не может устоять ни одна женщина; богатырь, проявляющий свою силу с самого раннего детства, с семи лет (и сон у него богатырский, продолжается по нескольку дней), и в то же время благочестивый христианин, твердый в вере до готовности пострадать за нее. Как Девгению, Бове приходится иметь дело с неверными. Витязь часто молится, и даже слезно, милостивому спасу и пречистой богородице. Заслышав погоню, он говорит Дружневне: «молися богу, бог с нами». Закопав преступную мать живой в землю, он «по ней сорокоусты роздал». Бова крестит царевну Миличигрию. «Гости-корабельщики» хотят знать, «крестьянского (христианского) ли он роду или татарского». Скрывая свое королевское происхождение, Бова твердо заявляет, что роду он христианского. Дочь Салтана, королевна Миличигрия, хочет «превратить Бову в свою веру латынскую» и заставить уверовать в «бога Ахмета». Угрозы повесить или посадить на кол и многодневное пребывание в темнице без пищи и платья — ничто не может сломить его веры. «А не верую яз вашея латынские веры и не могу яз забыть своея истинныя», — непоколебимо повторяет он. Оттого «Бове господь путь правит», и мысли его часто от бога («и возложи бог Бове на разум»). После всех приключений и подвигов Бова мирно зажил с Дружневной и с детьми своими — «лиха избывать, а добра наживать». И Бове «слава не минется от ныне и до века». Финал разом пользовался формулами и сказки, и воинской повести».

Правда, в своих наблюдениях П. Н. Сакулин ограничился лишь одним списком повести о Бове XVII в., напечатанным ОЛДП в 1879 г. и затем перепечатанным Б. И. Дунаевым (тип III), но все, отмеченное им, характерно как для большей части текстов, восходящих к этому типу, так и для текстов групп I, II, IV, которые наиболее ярко восприняли элементы устного поэтического творчества и старорусской воинской повести.

Так, например, в списке ГБЛ из собрания Тихонравова № 611 (тип I) так дается описание боя Додона с Симбалдой, осадившим Антон: «Копейное ломление аки гром гремит, а сабельное сверкание аки молния сверкает, а от крови реки текут со озеры» (л. 5 об.). Бова с Лукопером «зачали съезжатися вместе, что два сокола слетатися, и нача скакати во всю пору лошадиную и

съехалися и ударились копии толь сильно, что гром перед тучею грянул» (л. 18 об.) Корабль по морю бежит «аки из лука стрела летит» (л. 26).

В списке ГБЛ (М. 6931) так описывается сражение Бовы и Полкана против полчищ «силы турецкой», посланной дочерью Салтана Миличигрией: «И начали рубить и побили всю силу турецкую, так что ужасно слышити, не только выдети: крови аки реки текут и в трупу человеческом проходу нет» (л. 23).

Такое же описание жестокого боя («по удолиям кровь течаше аки реки быстрые»), встречается в сборнике ГБЛ из собрания Беляева №· 59 (1567) (л. 48). В списке ГИМ № 1452 к этим традиционным формулам описания боя прибавляется следующая интересная деталь: приехавший под город Армен Маркобрун пишет «ярлыки скорописные» (л. 17), в которых требует себе Дружневну в жены; Бова вооружен копьем «мурзоветским» (л. 19 об.). Те же детали находим в списке Q XVII 189 ПБСЩ.

Наряду с воздействием фольклора и старорусской воинской повести отдельные списки повести о Бове обнаруживают тяготение к житийному стилю. В этом отношении характерен текст XVIII в. О XV 6 ПБСЩ. В тюрьме у Салтана сильному испытанию подвергается целомудрие Бовы, так как он понравился дочери Салтана Малгарии и она хочет женить его на себе, соблазняя пленника едой, питьем и платьем многоценным. Бова трижды отвергает ее предложение, говоря ей, что у него на родине есть «обручница.» Ради верности ей он согласен сидеть в тюрьме «сколько бог велит». Находка меча-кладенца является как бы наградой за целомудрие. Но и здесь автор подчеркивает благочестие героя: найдя меч, Бова «испусти глас свой и рече: «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние свое». В традиционном облике храброго витязя безымянный переписчик XVIII в., вероятно, любитель житийного чтения, усилил черты христианского благочестия, не без влияния истории об Иосифе Прекрасном. Впрочем, этот текст единичен и не характерен для эволюции повести о Бове в XVIII в.

Одновременно с тяготением к русскому фольклору и допетровской литературной традиции (воинская повесть и житие) в XVIII столетии намечается еще одна линия эволюции сюжета повести о Бове. В городской среде, постепенно утрачивая облик западноевропейского рыцарского романа, повесть о Бове превращалась в галантную «гисторию», которая впитывала вместо утрачиваемых элементов рыцарства черты городского быта XVIII в. Тем самым она становилась в ряд с такими произведениями, как повести о Василии Кариотском или Александре российском дворянине.

На преобладание любовно-авантюрного элемента в более поздних списках повести о Бове порою указывало само заглавие:

«История о славном и храбром витязе Бове-королевиче и о прекрасной королеве Дружевне и обо их похождении» (собр. Барсова, № 2328) или «Сказание о храбром и славном (витязе) Бове-королевиче и о похождения[х его]» (сбор. Барсова, № 2329).

В этих переработках исчезают элементы рыцарского романа: описание турнира, поединков, игры в шахматы. Дружневна уже не переодевается скоморошкой, разыскивая Бову, а посылает к нему на пир сыновей. Зато в тексте больше уделяется места переживаниям влюбленных, вводится ряд черт знакомого городского быта половины XVIII века, отводится, например, большое место описаниям празднеств.

Найдя Дружневну и детей, победив всех врагов, Бова «послал за возлюбленною своей прекрасною королевною Дружневной посла — первого своего верного фелтмаршала Териза и за возлюбленными детками во град Сумин к дятке Цымбалде со указом, чтобы он привез в славный город Антон с подобающею честию и со всякою церемониею, и приказал ему быть в пути при ней верным оберегателем. И по прибытии из града Сумина прекрасной его королевны Дружневны с возлюбленными их детками в славный град Антон и повеле храбрый витязь Бова-королевич всему своему войску и гражданскому народу учинить встречу с подобающею честию и церемониею и со всякими учреждениями и приказал учинить викторию на семь дней и ставить по всем улицам баки с разными напитками, кто што пожелает, то имет за здравие храброго витязя Бовы-королевича и прекрасной его супруги и любезных чад, что господь бог привел из неволи в отечество свое» (Унд., № 1060, л. 24 об.)

Или после победы Бовы над войском Додона и возвращения его в город Сумин Симбалда «на радостях, получа викторию славную, повелел молебны петь и звонить» (ГИМ, собр. Барс., № 2329, л. 35 об). Бова везет Дружневну в город в «золотой карете» (ГИМ № 1807). Рыболов перевозит Бову на берег в «шлюпке» (ГБЛ, собр. Тих., № 324, л. 22), на корабле уже не ярыжки, а «матросы» (там же, л. 40). Додон, осаждая город Сумин, берет «войска своего конного 5000, пушек, мортир и всякого снаряду» (там же, л. 21). Бова назван просто «любовником» Дружневны (л. 42 об.). Он по возвращении отдает девку-Чернавку, освободившую его от тюрьмы, «за некоторого знатного министерского сына замуж с великим богатством и церемониею» (список ГБЛ, М. 6931, л. 25 об.).

Интересно отметить, что в повесть о Бове проникают и другие черты русской жизни XVIII в. Так, например, в списке ГИМ, собр. Барсова № 2327, рассказывается не только о торжественной встрече Бовы в городе Антоне. Навстречу государю, приехавшему с Дружневной и детьми в двух каретах, выехали «енералы, все сенаторы и министры», все убогие и богатые.

Праздник длился трое суток, звонили во все колокола по церквам, палили из пушек (л. 25 об. — 26). В этот же список вставлен целый самостоятельный эпизод. Пожив некоторое время спокойно и мирно в Антоне, Бова решил перестроить заново свою столицу, «размысли во своем уме, что сей град велми тесен стенным видением и пространством в нем. И нача Бова-королевич подначальныех своех наряжати, чтобы град сей ломати, и скорыем временем град сей до подошвы сломали. И Бова королевич, в скором времени сыскав хитростех мастеров град строить, и поехав сам Бова королевич размеревать стены градные нового града и, размерев все четыре стены равны, что первая, то и все мерою, как единая по три тысящи сажен стена длиною, расположи широту стены градные мерою двенадесять сажен. И расположи на каждою стене посредине стены по вратам и над воротами поставить по башне и на углах на всех на четырех по такою же по башне. А высота новому граду шесдесят сажен, а башням положи меру в высоту семьдесят пять сажен. И повеле закладывать град из крепкаго камени из дикаго из белаго и с тесанью. И собра много людей и повеле камения возити и тесати. И не в скором времени заложили весь град, вокруг все четыре стены и все именованные башни, а башни повеле делать ис камени из белаго и синяго мрамору для украшения града. Еще не в скором времени поставивши град и башни, повеле покрыть железом белыем и наверху самыех башен повеле поставить для украшения залотые токи, что от солнышнаго свету далече во страны видеть блестящияся, аки огонь горящ паче меры свитящеся. И еще на всех вратах повеле украсити златом и сребром и повеле написать на вратах свою державу королевскую и лице свое повеле изобразить королевская и прикрасную королевну Дружневну и детей своих (вид лица их) и своих воинских енералов. И украсивши град всякими драгоценными вещами, и бысть град по всей стране славен что велми прекрасен строением хитрым» (лл. 26 об. — 27).

Совершенно очевидно, что в этом новом эпизоде отразились в повести о Бове песни и предания о Петре Великом — строителе новой роскошной столицы Петербурга в прибалтийских лесах и болотах.

Второй отклик исторических событий XVIII в. в повести о Бове связан уже с более поздней исторической эпохой—борьбой дворянской фронды с Екатериной II. Идея повести о Бове, что сын «отмстит смерть отца своего», соответствовала настроению дворянства, надеявшегося осуществить свои чаяния через посредство цесаревича Павла. На основании записи в одной из рукописей повести о Бове (БАН 17. 16. 21)[1] Н. Г. Павлова не

[1] «Государь, ести хочеться. — С великой радостью».

без основания считает возможным полагать, что сказки о Бове рассказывались или читались по указанию воспитателей молодому Павлу, в пользу которого в начале екатерининского царствования был ряд заговоров. Вторичное погребение Петра III «могло входить в программу заговорщиков и, как живое эхо современности, отразилось в сказке».[1] В 1796 г. Павел I после своего воцарения действительно осуществил этот пункт программы, вырыв гроб и торжественно вторично похоронив отца, убитого или отравленного по приказанию матери.

Следует отметить, что эпизод вторичных торжественных похорон Гвидона не является исключительно особенностью одной единственной рукописи, как полагала Н. Г. Павлова,[2] а встречается также и в других, в очень близком пересказе:

1. Публ. биб-ка им. Салтыкова-Щедрина Q XУ 85, 1764 г.	2. Гос. Ист. музей, собр. Барсова, № 2327, 1788 г.	3. Гос. Ист. музей № 1452 (36064), к. XУIII в.
И повеле Бова королевич раскопать могилу отца своего и положил его в новом гробе. И повеле Бова королевич священником собратися, и пойде Бова королевич со всем собором и отпевше отца своего короля Гвидона погребение с великой честью, а мати свою прекрасную Милитрису живую повеле в старый гроб положить и поставить в той же могиле и закопать живую в землю и погреб отца своего честно и мать.	И повеле Бова разрыть отца своего могилу и положить отца своего в новом гробе, а матерь свою единородную повеле живую положить в старом гробе и повеле священником всем собратися, и прииде Бова со всем собором и отпеша над отцом своим королем Гвидоном и над матерью своею Милитрисою честно и понесоша их до могилы с великой честью. И повеле Бова королевич матерь свою поставить в могилу подыспод в старом гробе, а отца своего наверху в новом гробе повеле поставить, и засыпать землею отца и матерь живу, и погреб отца своего и матерь свою честно и поминовение творил обрядно.	И повеле Бова раскопать могилу и выслать добрую мраморными каменьями отцу своему королю Гвидону и положил его в новом гробе и повеле увить бархатом, також повеле священником собратися, и прииде Бова с всем собором, отпеша он своего короля Гвидона с честью и повеле мать свою Милитрису живую положить в тою ж могилу подыспод, засыпать в старом гробе землею и погребе отца своего честно.

[1] Н. Г. Павлова. Сказка «Бова» у Радищева и Пушкина как вид политической сатиры, «Звенья», I, 1932, стр. 515.
[2] Н. Г. Павлова, там же, стр. 514.

Эпизод вторичных похорон Гвидона тем более своеобразен, что для него нет внутренней мотивировки в содержании повести. Погребение убитого Гвидона не упомянуто ни в одном из списков ее. Следовательно, нет и речи о нарушении при этом царского ритуала. Этот эпизод, очевидно, был включен писцом XVIII в., как живой отклик на злобу дня.

Наряду с такими отзвуками современности в ряде списков повести о Бове во второй половине XVIII в. наблюдается превращение рыцарской повести в авантюрно-галантную «гисторию». В таких текстах любовная интрига развивается более подробно, и нередко делается попытка хотя бы элементарно разработать любовную психологию героев — Бовы и Дружневны, Додона и Милитрисы. Так, например, в вышеприведенном списке Q XV 85 ПБСЩ одновременно с вставкой эпизода вторичных похорон совершенно своеобразно разработана завязка повести. Красавица Милитриса — нелюбимая дочь. Она жила у родителей «в особливой палате якобы как в темнице и всегда же сердце свое сокрушала, понеже не была утешена от отца своего и матери и всегда о том плакаше». О красоте ее и печали услыхал соседний королевич Додон. Переодевшись «в черное платье», он приходит в город Дементиан на королевский двор и требует, чтобы прекрасная королевна приказала накормить его, «прохожего старца», для «спаса и пречистыя богородицы». После трапезы Додон притворился, будто он «зело пьян», и не может итти. Когда витязи начали его «возбуждать встати» и «стали его по двору волочити», Милитриса пожалела его и приказала оставить в покое: «Не замайте старца, пусть выспится и сам пойдет». Ночью Додон вошел в королевские палаты, подкупил стражей (каждому дал «по золотому») и проникнул в спальню Милитрисы, где в ту ночь «не случилось ни нянек, ни мамок, ни красных девок». Крепко уснувшая красавица проснулась в объятиях Додона. Когда она «от страха и ужасти начала кричати громким голосом и вопити», Додон пригрозил ей смертью, если она не захочет с ним «любовь творити». «Слыша то, прекрасная Милитриса нача размышляти: у отца своего и матери своей я в великой нелюбви, не имею я никогда потехи, стану с тем отроком творити любовь. Тогда Милитриса скоро обращалась к нему и рече ему: О господине государь мой королевич Додон, сотвори со мною любовь, что хочешь. — Додон же сотворил с ней любовь и от тех пор по всякой ночи он приходил». Узнав о том, что дочь его тайно живет с Додоном, король Кирбит хотел предать Додона «злой смерти», но Милитриса сумела предупредить возлюбленного, и тот уехал к отцу с тем, чтобы вернуться с войском и просить руки Милитрисы. Тем временем отец Додона король Анфим отправился воевать против «недруга своего» короля Гвидона. Но в этом походе Анфим был

убит, а из его пятнадцатитысячного войска «невеликие люди ушли во город свой Магонец». Вскоре после победы король Гвидон решил жениться и, узнав о Милитрисе, с трехсоттысячным войском отправился под город Дементиан. Король Кирбит, несмотря на просьбы Милитрисы выдать ее замуж за молодого королевича Додона, отдал ее старику Гвидону. А Додон отправился печально в родной город, где от витязей узнал о том, что отец его убит Гвидоном в бою. И стал размышлять королевич Додон: «Великая беда учинилася от короля Гвидона, что убил отца моего, да взял госпожу Милитрису за себя замуж».

В этой вставке сделана попытка не ограничиться традиционным изображением отрицательных персонажей повести — Милитрисы и Додона, а дать психологическое объяснение их поступков. Мотив замужества поневоле (имеющийся в списках типа II и III) осложнен здесь мотивом нелюбимой дочери, и усиленно разработан любовный элемент в стиле широко известной повести о Флоре Скобееве. Ненависть Милитрисы и Додона к Гвидону в этом тексте психологически полностью оправдана: Милитриса мстит ненавистному ей старику-мужу, Додон — убийце своего отца и сопернику, отнявшему у него возлюбленную. В известной степени указанные черты, свойственные данному списку, имеются также в других списках XVIII в. (БАН 4. 2. 23; ПБСЩ Q XVII 189), но нигде они не разработаны так подробно и тщательно.

Если в одних рукописях разработаны образы Додона и Милитрисы, то в других внимание сосредоточено на положительных персонажах: Бове и Дружневне. В эти списки нередко проникают традиционные формулы галантной книжной повести XVIII в. Прежде всего это сказывается на лексике: «пир» заменяется «банкетом», «подъездок» — «шлюбкой», девку-Чернавку Бова отдает замуж за «некоторого знатного министерского сына с великим богатством и церемониею». Вместо обычного «государь-батюшка» Дружневна так церемонно обращается к отцу: «О великий и дражайший мой родитель» и «о яснейший король». Лукопер называется «вторым Голиафом» (БАН 17. 16. 21, Эрм. № 196 и др.).

Соответственно этому изменяются и формулы, которыми автор рисует чувства героев. Обратив внимание на новокупленного красавца-слугу, Дружневна «уязвлена сердцем на Бовину красоту» (Эрм. № 196 и БАН 17. 16. 21). Переживания влюбленной Дружневны особенно разработаны в списке б. Тверского музея № 171/3637.[1] На красоту мальчика-конюха прежде всего обратили внимание сенные девушки Дружневны и рассказали об этом своей госпоже. Та с «заднего крыльца» тайком посмотрела на него «и сердцем своим тотчас к нему влюбилась». Она зовет Бову к себе, расспрашивает, кто он и откуда, «а сама более

[1] В настоящее время рукопись находится в Калининском партархиве.

сердцем к нему разгорелась и не может на красоту ево наглядетца». Своими руками Дружневна сняла с головы Бовы венок и прижала к своему ретивому сердцу и хотела Бову-королевича «поцеловать во уста сахарные и любовь с ним возыметь». После того, как оскорбленный в своем целомудрии Бова с гневом так хлопнул дверью, что выпавший из стены кирпич расшиб ему голову, Дружневна не только сама лечила рану Бовы (как обычно во всех списках), но «подносила ему кубок меду сладкова и подарки», дала Бове-королевичу «много злата и серебра». Пока Бова пил и веселился со своими товарищами, «прекрасная королевна Дружневна не может часу единого терпеть, понеже горячность сердца ея склоняет о Бове-королевиче». Отец по просьбе Дружневны отдает ей Бову в услужение. На пиру, который устроила королевна, нянюшки, мамушки и сенные девушки говорят с Дружневной о необычайной красоте Бовы и о том, что он, наверное, «роду не простого». «И теми словами пуще привели королевну в любление, и она сама себе думает, чтоб хоть иметь ево к себе сердешным другом». В течение пира Дружневна пытается его украдкой поцеловать, когда он нагнулся достать брошенный ею нож. Бова снова гневается и читает Дружневне резкую отповедь. «Однако королевна на те слова не сердилася, а с Бовы глаз своих не спускает». В результате после пира Бова и Дружневна «друг в друга сердечно влюбилися». В этом списке показано, как пылкая любовь Дружневны постепенно побеждает равнодушие Бовы и вызывает в нем ответное чувство. Кроме того, тут обращает на себя внимание сочетание разнородных элементов книжного стиля («привести в любление», «горячность», «склоняет сердце» и т. д.) с устно-поэтическим («на красоту наглядеться», «сердешный друг», «сахарные уста»), что так характерно для ряда текстов второй половины XVIII в.

Это сочетание фольклорной и литературной традиций проявляется в данном списке не только в разработке психологии персонажей, но и в отдельных эпизодах повести. Подобно кавалерам галантных повестей, Бова изображается играющим на арфе, Дружневна встречает отца после победы Бовы над Салтаном «со всеми дамами». В текст вводится ряд терминов военного быта. Дворяне и шляхтичи из войска Маркобруно распределяются на постой «по обывателям», которым велено «их всем потребным довольствовать», а войску приказано «быть в лагере». Услыхав шум от войска Маркобруно, Бова идет к королю Зензевею «о команде рапортовать». Салтан наступает на город «с моря флотом». К нему «в ставку» отводят пленных королей Зензевея и Маркобруно, после того как неудачей закончилась их «вылазка». Но в обрисовке тех же эпизодов используется фольклорная поэтика, в первую очередь былинные loci communes. Вот, например, как описывается седлание коня: «Бова брал

седелечко черкасское и накладывал на добра коня, подтягивал подпруги шелку шемаханского, не ради красоты, ради крепости богатырския, для того что шелк не рветца, а булат не гнетца, аравицкое золото на срезы не ржавеет» (л. 29). Окончив седлание коня, Бова садится на него «и сам бьет коня по крутым бедрам, пробивает мясо до костей. И конь его осержается и от земли отделяется, не спрашивает городских ворот, скакал прямо через стену белокаменную, поход держал далече во чисто поле» (л. 30—31). Характерна также формула описания боя Бовы с противниками: «Где ни повернется — тут улица» (л. 24 и 31 об.). Бова бьется долго и упорно девять суток «не пиваючи не едаючи, с добра коня не слезаючи» (л. 31 об.). Кроме того, в данном тексте с целью ретардации введено повторение эпических формул. Так, например, трижды с небольшими вариациями в разных частях текста повторяется формулировка описания пира с многочисленными постоянными эпитетами: хозяин или хозяйка вводят гостей «в палаты белокаменные», сажают «за столы дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, за питья медвяные, и пили они, ели, прохлаждалися» (лл. 22, 23, 33).

Отмеченное сочетание книжной и фольклорной традиций особенно последовательно проведено в одной ярославской рукописи 1734 г. (ГБЛ, собр. Ундольского, № 927) под заглавием «История и повесть о славном короле Гвидоне и сыне его о храбром витязе Бове-королевиче». В этой рукописи талантливый автор сумел слить воедино книжный стиль русской повести западно-европейского образца и устно-поэтические песенно-былинные элементы.

Здесь звучат отклики пышных столичных праздников. Например, на свою свадьбу с Милитрисой Гвидон пригласил иноземных государей, праздники длились 40 дней. «И притом были пирования, всякие игры и различные утехи: потешная стрельба, и в трубы играли, и по литаврам били, и в габои играли, и во всякие разные игры музыки, от них же более и не имеем глаголати» (л. 5). За убийство мужа и прелюбодеяние Бова «повелел матерь свою прекрасную королевну Милитрису среди града скопати в землю по горло. Тут матка его и скончалась» (л. 96 об.—97). Наконец, отправляясь за Дружневной, «повеле храбрый витязь Бова королевич впрягать цук добрых коней во златоукрашенную карету за стеклами» (л. 100 об.)

В стиле авантюрно-любовных «гисторий» XVIII века герои повести о Бове часто плачут, горько рыдают, томно вздыхают, жалуясь на «фортуну». Бова так, например, оплакивает мнимую кончину Дружневны: «Ох, возлюбленная моя прикрасная королевна Дружневна, потерял твое здравие, ни за что пропала дщерь королевская! Ох, несчастлива мне ныне фортуна! Ох, злые звери съели дочь королевскую занапрасно! Ох, злое семя на

сем свете мне, что нас разлучили звери, не дали нам на сем свете пожить!» (л. 38 об.).

В полном согласии с традицией таких «гисторий» автор охотно использует форму писем, которыми обмениваются действующие лица. К числу писем, которые вообще встречаются в повести о Бове, он добавляет еще три: 1) письмо Кирбита Гвидону с извещением о согласии на брак с Милитрисой; 2) письмо Гвидона Кирбиту с извещением о рождении сына и приглашением в крестные отцы; 3) письмо Кирбита с согласием быть крестным отцом и поздравлением зятя с рождением сына.

Вообще автор пользуется текстом очень свободно: взяв за основу текст типа III, он то дает вольный пересказ, то вставляет целые эпизоды для объяснения тех мест повести, которые кажутся ему непонятными.

Так, например, в тексте типа III имеется восклицание умирающего Гвидона: «О сыну мой милый Бова королевич, о чем ми еси не поведал злые мысли матери своей?» Для пояснения этого (действительно не вытекающего из предшествующего текста) восклицания автор ярославской рукописи придумал такое объяснение: Бова спал в комнате матери в ту ночь, когда она писала письмо Додону и посылала с письмом Личарду. Мальчик рассказал об этом дядьке Симбалде, а тот передал королю Гвидону, который призвал жену и сына к ответу. Испугавшись родителей, Бова «прослезился и пал в ноги перед отцом своим и рече: виноват есмь аз перед тобою и матушкой своею, потому что аз гулял три дня, а к матушке не бывал. И как домой пришел, и за то меня била матушка плеткой и аз за то солгал и неправду сказал на матушку свою» (л. 12).

Другим большим эпизодом, самостоятельно разработанным автором данного варианта, является песня, которую поют дети на свадебном пиру у Бовы, чтобы тот узнал их. Обычно в тексте повести давалось лишь указание, что они пели, а сама песня не приводилась.

По этому же варианту сыновья Бовы «сташа в палате у дверей и поча петь умильно гласом и в гусли играть и к тому приложили припевку:

Отлетел млад ясен сокол
От своего от тепла гнезда,
Покидал млад ясен сокол
Младую перепелицу
Со младыми детушки
На пустой на пустоше,
В чистом поле в беле шатре.
Оставил млад ясен сокол
Сторожу крепкую,
Своего брата милова названова,
Стеречи младую перепелицу
Со младыми детушки.

Со левую сторону
Выходили две тучи грозные,
Убили сторожу крепкую,
Ево брата милова названова.
Вылетала перепелица
Со младыми детками
На чюжую сторону:
Искала перепелица
Своего ясна сокола
Ровно восемь лет.
И послыша перепелица
Ея же ясен сокол
На отцове вотчине.
Прилетела перепелица
Блиско своего ясна сокола.
Села перепелица
На его прекрасном лугу,
Послала перепелица
Своих младых детушек
Ко ясну соколу».

(лл. 99—100).

Приведенная песня представляет собой вольную талантливую переделку народных песен о разлуке. Первая строка этой песни почти в том же виде сохранилась в целом ряде таких песен до XIX в. [1]

Эта песня не является в данной рукописи случайной чужеродной вставкой. Автор вообще прекрасно владеет устно-поэтическим стилем. Он любит эпические троекратные повторы, гиперболы, сравнения. Особенно любит он красочные былинные формулы описания боя: «Не ясен сокол напущается на гуси, на лебеди, напускался добрый витез Бова королевич на их полки басурманские, на их силу татарскую» (л. 41 об.), — повествует он о битве Бовы с войском Лукопера. В этой битве «учал (Бова) войско сечь и конем топтать, будто траву косить» (л. 43). Бова Лукопером «съезжалися, как ясные соколы слеталися» (л. 43 об.). От ржания богатырского коня Бовы в царстве Маркобруна «град потрясеся и многие палаты рассыпашася и теремы с верхов не постояли» (л. 66 об.).

Местами автор умеет придать своей речи народный юмор. После победы Бовы над Лукопером Дружневна просит отца,

---

[1] «Не ясен сокол со тепла гнезда солетает, —
Добрый молодец со квартирушки долой съезжает». («Великорусские народные песни», изд. Соболевским, т. VI, № 138). Ср. там же почти дословно совпадающие строки из песен №№ 133—137. Отлет сокола вообще является в народных песнях символом отъезда возлюбленного (см. там же, т. V, песни №№ 518—529). По своему стилю и содержанию из I тома «Великорусских народных песен» Соболевского; лишь сокол и перепелица заменены тут орлом и орлинушкой. Они вместе вьют «тепло гнездо», выводят «детушек». Потом подымается «полуденная погодушка» и потопляет гнездо и малых детушек.

чтобы тот отослал Маркобруна, а выдал ее за Бову, и прибавляет: «Два медведя в одной берлоге не уживутся, а мне два жениха не надобе» (л. 46). Перед тем, как убить Додона, Бова ругает его: «Худой ты... королишко Додонишко. Како еси смел царством моим владеть. Лежишь ты... как свинья в чужом гнезде...» (л. 95).

Списки повести о Бове, распространявшиеся в дворянской среде, показывают, как на русской почве это произведение, теряя облик переводного рыцарского романа, превращалось в любовную авантюрную «гисторию». Как и другие книжные произведения XVIII в., она вбирала черты современного ей русского быта и элементы фольклорной поэтики.

* *
*

Подведем итоги. В своем развитии рукописная повесть о Бове-королевиче шла в основном двумя путями. Одна группа текстов в дворянской среде близко стояла к русским любовно-авантюрным «гисториям» иноземного образца, другая, теряя в народной обработке западноевропейский характер, приобретала черты русской богатырской сказки.

В дальнейшем первая группа замирает, а вторая продолжает жить в лубке и устной народной традиции.

Для представления о читательских интересах, следует обратить внимание на состав сборников, в которые входила повесть о Бове. Конечно, сборник нередко отражает индивидуальные вкусы составителя, но все же, оказывается, у повести о Бове есть спутники, которые встречаются в ряде сборников. Таковы «Александрия» (ПБСЩ Q XVII 27, собр. Черткова № 451, ГИМ № 431, ГБЛ № 3155, ПБСЩ Q XVII 77), повесть об Еруслане Лазаревиче (Тих. № 324, Погод. № 1773, ПБСЩ Q XV 96, БАН 28. 6. 50, ГИМ № 3615), повесть о Мамаевом побоище (собр. Черткова № 451, ГИМ № 431, ГБЛ № 3155), повесть об Азовском осадном сидении (Бел. № 59/1567, Погод. № 1773), повесть о семи мудрецах (ПБСЩ Q XVII 27, Щук. № 251, Погод. № 1773), повесть об Аполлоне Тирском (ПБСЩ Q XVII 27, ГИМ № 431, Погод. № 1773), повесть о купце Дмитрии Басарге (Тих. № 324, ГИМ № 431, Барс. № 1592), повесть о гордом царе Аггее (Тих. № 324, Барс. № 1592, Погод. № 1773), повесть об Индийском царстве (ГИМ № 431, Барс. № 1592) и путешествие Трифона Коробейникова (ГИМ 1807, Погод. № 1773).

Повидимому, одни составители воспринимали главным образом героику, «богатырство» повести о Бове, других привлекали в ней авантюрно-рыцарские элементы. Наконец, можно указать еще сборник собр. Барсова № 1592, насыщенный фольклорным материалом. Здесь повесть о Бове стоит рядом с «гисторией» об

Илье-Муромце и Соловье-разбойнике. Этот круг литературных спутников Бовы найдет позднее отражение в лубке.

Выше было показано, на основе записей, разнообразие читателей рукописной повести о Бове. Такой пестрый состав их не был исключением. А. Н. Пыпин так характеризует читателей рукописной повести XVIII в.: это были люди «всяких сословий; рукописи принадлежали людям по тогдашнему образованным — гвардейским и армейским офицерам, мелким военным чинам (какие проходили тогда и дворяне), чиновникам... затем купцам, посадским людям, наконец, крестьянам».[1] Расслоение читателей объясняет ту разницу отзывов о рукописной повести о Бове, которая на первый взгляд вызывает недоумение.

Демократический читатель любил и знал эту повесть. В 1769 г. журнал Чулкова «И то и сьо» рассказывает об одном приказном, который промышлял переписыванием романов, «по прекращении приказной службы кормит он голову свою переписыванием разных историй, которые продаются на рынке: как то, например: Бову королевича, Петра Златых Ключей, Еруслана Лазаревича, о Франце Венециянине, о Герионе, о Евдоне и Берфе, о Арсасе и Размере, о российском дворянине Александре, о Фроле Скобееве, о Барбосе-разбойнике и прочие весьма полезные истории, и сказывал он мне, что уже 40 раз переписал историю Бовы-королевича, ибо на оную бывает больше походу, нежели на другие такие драматические сочинения».[2] Выходец из среды бедного духовенства Г. Добрынин (род. в 1752 г.) так вспоминал позднее свои детские впечатления от чтения этой повести: «Квинт Курций не меньше пленил меня, как на девятилетнем моем возрасте Бова-королевич».[3]

Некоторые дворяне, любители народных сказок, также имели эту повесть в своей библиотеке вместе с печатными романами. Вспоминая печатный состав библиотеки отца, княжна Ел. Т-ая (Казань) указывает, что наряду с романами и журналами там были и сказки такие, как о Бове и Еруслане, «Белая кошка», «Кот в сапогах».[4] «Собеседник любителей российского слова» пишет, что один любитель чтения XVIII в. имел... «составленную библиотеку» печатных книг, но «никогда книг не читал, кроме как: Шемякин суд, Бову-королевича, Петра, Златых ключей и им подобных; таковые книги хранятся у него с превеликим тщанием и каждой по два экземпляра, — один для украшения

---

[1] А. Н. Пыпин. Для любителей книжной старины, М. 1888, стр. VI. Ср. также В. В. Сиповский. Очерки из истории русского романа, СПб., 1909, т. I, вып. I, стр. 16, 22, 23, 46, 50, 380, 381; вып. II, 1910, стр. 73, 108, 136, 228, 714.

[2] «И то и сьо», март, неделя десятая.

[3] Г. Добрынин. Истинное повествование. СПб., 1872, стр. 134.

[4] «Московский курьер», II, 1805, стр. 346.

библиотеки, другой лежит в кабинете, на столике для всегдашнева употребления... Протчие же хорошие сочинения... стоят у него в шкафу, в богатом переплете с золотыми обрезами и с надписанием его имени».[1]

Следует отметить, что среди других рукописных произведений повесть о Бове входила в состав Эрмитажной библиотеки Екатерины II (Рукопись конца XVIII в., собр. ПБСЩ, Эрм. № 196). Этот текст дословно совпадает с текстом № 17. 16. 21 собрания БАН за исключением нескольких характерных исправлений.[2] Некоторые прямолинейно-наивные места повести показались непристойными и подверглись правке. Например, вместо «на одной постеле не спати» в эрмитажном списке — «в одной полате не жити»; вместо «совокупился» в эрмитажном списке—«обвенчался». В «Памятных записках» А. В. Храповицкого сохранились записи о том, что Екатерина читала Бову. 27 февраля 1786 г. «ея императорское величество... взяли Бову-королевича», а 2 февраля «возвратили Бову-королевича за нелепость».[3]

Здесь характерно презрительное отношение к данному произведению. Вообще аристократическо-дворянская литература XVIII в. враждебно настроена по отношению к повести о Бове, считая ее одним из произведений «подлой литературы».

Кантемир писал в 1743 г. о возможной печальной судьбе своих стихов:

Когда уж иссаленым время ваше пройдет
Под пылью, мольям на корм покинуты, забыты
Гнусно лежать станете, в один сверток свиты
Иль с Бовою, иль с Ершом, и наконец дойдет
(Буде пророчества дух служит мне хоть мало)
Вам рок обвертель иль икру, иль сало.[4]

Сатирик сделал к этому стихотворению такое примечание: Бова и Ерш «две весьма презительные рукописные повести о Бове королевиче и о Ерше-рыбе, которые на Спасском мосту с другими столь же плохими сочинениями обыкновенно продаются».

Ему вторил А. П. Сумароков, характеризуя в эпистоле «О русском языке» бездарных безграмотных писателей и читателей:

Но льзя ли требовать от нас исправна слога?
Затворена к нему в учении дорога.
Лишь только ты склады немного поучи,
Изволь писать Бову, Петра златы ключи.
Подьячий говорит: писание тут нежно,
Ты будешь человек, учися лишь прилежно.
И я то думаю, что будешь человек;

---

[1] «Собеседник любителей российского слова», ч. XVI, 1-е изд. СПб., 1784, стр. 70.

[2] Оба текста относятся к группе III (тип ОЛДП) и, как указано выше, разработаны в книжном стиле.

[3] А. В. Храповицкий. Дневник, М. 1901, стр. 4.

[4] А. Д. Кантемир. «Письмо к стихам моим».

Однако грамоте не станешь знать во век,
Хоть лучшим почерком с подьяческа совета,
Четыре литеры сплетешь ты в слово «лета».
И вычурно писать научишься «конец»,
Поверь, что никогда не будешь ты писец.

Противопоставляя дворянскую героическую эпопею классицизма сказочно-богатырской повести, тот же А. П. Сумароков льстиво писал Екатерине в 1773 г.: «Когда владеет Август, тогда пишут Виргилий и Овидий и в почтении тогда Енеиды, а не Бовы-королевичи». [1]

Если Сумароков, презирая Бову, противопоставляет ему героическую поэму классицизма, то переводчик «Философа Английского», противопоставляя старой сказочно-богатырской повести новый английский нравоучительный роман, заносит ее в разряд «худых и нелепых» старых романов: «Не у одних нас есть Бовы-королевичи, Ерусланы Лазаревичи, Петры златые ключи. Везде их много, но надобно предводимому разумом человеку справедливо полагать различие между такими враками и связно, приятно и остроумно выведенными приключениями». [2]

Критик «Адской почты» робко заступается за Бову в отзыве на сочинения «г-на К.». В статье указывается, что при фантастическом характере содержания в обоих произведениях разница в том, что «в Бове-королевиче нет таких неблагопристойностей и слуху противных выражений... какими наполнен... К.». [3]

Но как бы ни относилась критика к повести о Бове, она должна была признать громадную популярность ее в демократической среде.

М. В. Чулков писал в повести «Горькая участь»: «Путешествие его [Сысоя] из армии на место рождения не столь было славно и достопамятно, как путешествие Бовы-королевича из царства Додона Додоновича во владение Кирбита Верзауловича, родителя Милокрасы Кирбитовны, или славного рыцаря Петра златых ключей во владение прекрасной королевы Магилены Неаполитанской». [4]

Сумароков, так нападавший на Бову в вышеприведенном стихотворении, в комедии «Трессотиниус» (1750 г.) заставил говорить Кимари, слугу Оронта, о хвастливом офицере Самохвале Брамарбаса: «Много едаких рыцарей на свете есть, которые на словах с Бовою-королевичем равны, а как придет к делу, так мы и паши». [5]

---

[1] «Летописи русской литературы и древности», изд. Н. С. Тихонравова, т. III, отд. III, М. 1861, стр. 73.

[2] «Филозоф английской, или житие Клевеланда», 1760 (предисловие).

[3] «Адская почта» 1769 г. Второе тиснение. Письмо 58-е, стр. 195.

[4] «Пересмешник, или Словенские сказки», т. V, М. 1789, гл. XVIII, стр. 194.

[5] «Российский феатр», ч. XV, СПб. 1787, стр. 288.

Осип Козодавлев, посмеиваясь над Державиным, писал ему:

Да чем же занят здесь в свободных ты часах?
Ты нежишься и спишь, валяясь на диване,
То ездишь погулять, то моешься ты в бане,
Проказишь то с женой, играя в дураки,
То смотришь удальцом, как бьются в кулаки;
А под вечер сидишь за ломберной игрою,
Иль просвещаешься Полканом и Бовою,
И словом в праздности проводишь ты свой век,
Как будто дышущий развратом человек.[1]

Полкан, как нарицательное имя воинской силы, встречается у Н. Николева:

Что ж полканы зазевались?
Неужель они дрожат?
Посмотри, куда девались,
Вверх ногами все лежат.[2]

Эти отзывы читателей и упоминания героев повести о Бове подтверждают ее громадную популярность во второй половине XVIII в. и делают понятными ее многочисленные переделки и списки.

Изучение вариантов повести показывает, что переписывание ее было не механическим действием, а почти всегда творческим актом. Из числа изученных нами 53 рукописей лишь две пары (Эрм. № 196 и БАН 17. 16. 21) и (Шляпк. 478/227 и БАН 21.7.9) дословно сходятся друг с другом. Остальные отличаются друг от друга в той или иной мере самостоятельной композицией. Взяв за основу тот или иной текст, автор то произвольно сокращает его (ГИМ собр. Вострякова, № 1192, ГБЛ собр. Беляева № 59/1567, Эрм. № 196), иногда переставляя эпизоды (ГБЛ М. 6931), по-своему пересказывая их, добавляя те или иные вставки (ПБСЩ Q XV 85, ГИМ № 1452, ГБЛ собр. Ундольского № 927, б. Тверского музея, № 171/3637), иногда комбинирует тексты различных редакций (все тексты типа IV). Имена второстепенных героев неустойчивы и нередко изменяются. Так, в списке ГИМ № 1452 сыновья Бовы вместо обычных имен (Личарда и Гвидон или Симбалда) названы один — Кирбитом, по имени отца Милитрисы, другой — Брунсвиком, по имени героя популярной рукописной и лубочной повести о чешском королевиче Брунцвике.

В списке Q XVII 77 (ПБСЩ) отцу Милитрисы Кирбиту вместо обычного Верзеуловича присвоено отчество Еруслановичь, в других списках оно заменено уже совсем странным «Бирбанович» (ПБСЩ Q XV 85). Иногда на русский лад изменяется само имя Кирбит (ГИМ № 1807), «Кирбич» и даже превращается в

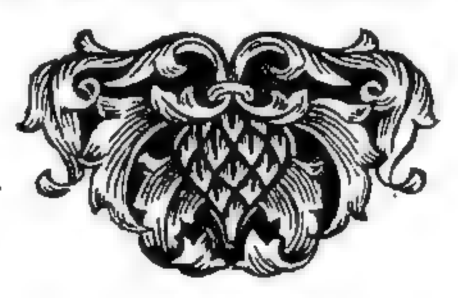
[1] О. Козодавлев. «Письмо к татарскому мурзе, сочинившему оду к премудрой Фелице» («Русская поэзия» под ред. Венгерова, том I, СПб., 1894, стр. 765).

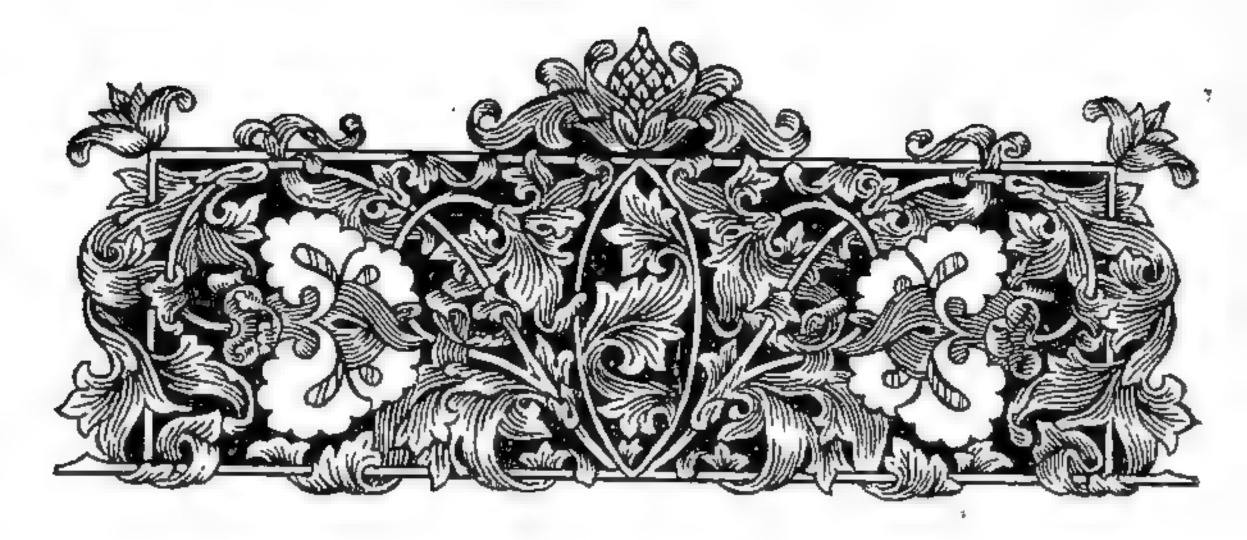
[2] Н. Николев. «Русские солдаты. Гудошная песня на случай взятия Очакова» («Русская поэзия», стр. 798).

«Ирлич» (ПБСЩ Q XV 96). Нередко персонажи вместо иностранных имен носят имена русские. Сын Симбалды в списках III группы нередко называется то Дмитрием (БАН 21. 7. 9, Q XVII 27 и мн. др.), то Никитой (ПБСЩ Q XV 85). Отец Дружневны Зинзовей Андорович в одном из списков (БАН, 4. 2. 23) назван «Авдеем Иродовичем». Переосмысляются также некоторые географические названия. Город Костел превращается в «город Костянтин» (ПБСЩ Q XVII 77), очевидно, по аналогии с Константинополем. Резиденция царя Салтана — не в сказочном Задонском царстве, а в «Царьграде» (текст б. Тверского музея № 171/3637), — как следует повелителю мусульман. Но если имена второстепенных персонажей не устойчивы, то имена главных героев прочно закреплены за их носителями.

В заключение анализа рукописных текстов повести о Бове надо поставить вопрос, каково было взаимоотношение письменной и печатной традиции в повести о Бове.

Надо прежде всего отметить, что печатные издания повести (текст полной редакции создан на основе контаминации рукописных текстов типа II и III) появились лишь во второй половине XVIII века и потому сравнительно слабо влияли на рукописную традицию. Но кое-какие точки соприкосновения тут можно отметить. Так, например, в списках конца XVIII в. под влиянием лубочных картинок Полкан изображается как полуконь — получеловек: «От пояса до ног аки лошадь а от пояса до главы аки человек». (ГИМ № 1452) или: «Ноги у него конские по пояс, а с головы как протчий человек» (ПБСЩ Эрм. № 196). В списке Q XVII 77 ПБСЩ вставлена следующая деталь под влиянием полной редакции лубочной сказки с 32 гравированными картинками: во время боя Бовы с Лукопером «прекрасная Дружневна смотрит из высока терема на Бовину храбрость» (л. 174). Наконец, следует отметить, что два рукописных текста начала XIX в. являются копиями лубочных изданий: текст БАН 28. 6. 50 воспроизводит лубочное (без картинок) издание 1807 г., вышедшее в Петербурге, а текст ГИМ № 3615, являющийся копией краткой (с 8 картинками) лубочной сказки о Бове, вплетен в состав сборника Рогожиных рядом с печатными лубочными сказками. Из этого видно, как в начале XIX в. рукописная повесть о Бове вытесняется возникшей на ее основе печатной лубочной сказкой.

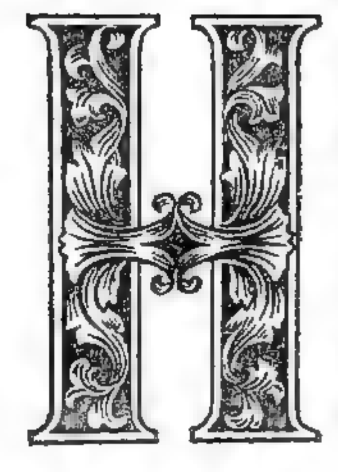




А. В. ПОЗДНЕЕВ

СКАЗАНИЕ О ХОЖДЕНИИ КИЕВСКИХ БОГАТЫРЕЙ В ЦАРЬГРАД

I



есмотря на то, что Сказанием о хождении киевских богатырей в Царьград занимались многие ученые — Ор. Миллер,[1] А. Н. Веселовский,[2] Барсов,[3] Халанский,[4] Тихонравов,[5] Вс. Миллер,[6] Б. М. Соколов,[7] М. Н. Сперанский,[8] тем не менее до сих пор нет ясных ответов на вопросы, что собою представляет это «Сказание»: былину или книжное произведение, и когда оно создано.

---

[1] Илья Муромец и богатырство киевское, СПб., 1869, стр. 758—763.

[2] Южнорусские былины, гл. X, Сб. ОРЯС АН, т. XXXVI, СПб., 1884, стр. 356—373.

[3] Богатырское слово, Сб. ОРЯС АН, т. XXVIII, № 3, 1889, стр. 8—11.

[4] Великорусские былины Киевского цикла, Варшава, 1885, стр. 97—99.

[5] Былины старой и новой записи. ч. I, М., 1894, стр. 69—70.

[6] Очерки русской народной словесности. Былины, т. II, М., 1910, стр. 120—153.

[7] Былины об Идолище Поганом, ЖМНПр., 1916, № 5, стр. 1—31 (оттиск).

[8] Былины, изд. Сабашникова, т. II, М., 1919, стр. 115, 503—504.

По последнему вопросу не вызывают сомнений следующие соображения Ор. Миллера и Вс. Миллера. Та обстановка, которая описывается в «Сказании», напоминает московский царский период: князь Владимир именуется государем, он имеет вотчины во всех ордах, богатыри называют себя его холопами, князь отсиживается от нападений врагов за городскими стенами; татарский город Царьград находится не за морем, а где-то за рубежом, в степи; татары рисуются «нестрашной силой», и «Сказание» описывает наступательные действия против них, что дает право относить составление «Сказания» ко времени после завоевания Казани и Астрахани Иваном Грозным.

Отметив в «Сказании» ряд любопытных черт, исследователи, однако, не дали им объяснения. Такими любопытными чертами является, например, отсутствие прожорливости в изображении Идолища, неестественное сочетание Царьграда и Константина благоверного с Идолищем и Тугарином, человеческий, а не фантастический облик героев и их врагов, отсутствие описания страшного вида Идолища в буслаевском варианте «Сказания» и, наконец, отсутствие столкновений богатырей с князем (Ор. Миллер, Веселовский, Вс. Миллер).

Для решения поставленных выше вопросов необходимо изучение вариантов «Сказания», его сюжета и основной идеи, характеристики действующих лиц, а также сопоставление «Сказания» с былинами.[1]

Ныне известны три варианта «Сказания»: 1) барсовский, имеющий дату 1642 г. и входящий в сборник, который найден был в Турчасовской волости Каргопольского уезда, 2) буслаевский, относящийся к началу XVIII в.,[2] и 3) библиотеки Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР (сокр. ИМЛИТ) XVIII в., который еще не был в научном обороте.

---

[1] Ввиду большого количества ссылок на сборники былин и основные труды по их изучению в дальнейшем приняты следующие сокращения:

— Гильфердинг. Онежские былины, изд. 2-е, 3 тт. СПб., 1894—1900—Гильф.

— Песни, собранные Рыбниковым, изд. 2-е, тт. 1—2, М., 1909—Рыб.

— Песни, собранные Киреевским, вып. 1, изд. 2-е, М., 1868, и вып. 4, М., 1862 — Кир.

— Русские былины старой и новой записи, под ред. Тихонравова и Вс. Миллера. М., 1894—Тих.—Мил.

— Архангельские былины и исторические песни, собранные Григорьевым в 1899—1901 гг., СПб., т. I, 1904, т. III, 1910, — Григ.

— Беломорские былины, записанные А. Марковым. М., 1901 — Марк.

— Ончуков. Печорские былины СПб., 1904 — Онч.

— Былины новой и недавней записи, под ред. Вс. Миллера, М., 1908—Мил.

— Астахова. Былины Севера, т. I, Лгр., 1938. — Аст.

[2] Изданы со всей точностью в 1922 г. П. К. Симони в «Памятниках старинного русского языка и словесности XV—XVIII столетий», в. I (Сб. ОРЯС, т. С, № 1).

1. Барсовский вариант, наиболее пространный, содержит много былинных элементов (седлание коней, поездка на конях, стычка с татарами в Царьграде, клятва не бывать на Руси и т. д.), но зато дает и большее, по сравнению с другими вариантами, количество книжных формул стиля московских приказов.

2. Буслаевский вариант, короче предыдущего по объему, тоже сохраняет песенные особенности и былинные описания (пир у Владимира, разговор Ильи и Идола и т. д.), имеет и сказочную формулу (хвастанье Идола, что он посадит Илью на ладонь и прихлопнет); и в нем есть отрывки, изложенные языком московских приказов, но в гораздо меньшем количестве, чем в предыдущем варианте (первая речь князя Владимира к богатырям и слова дворянина Залешенина к нему по возвращении в Киев).

3. Вариант ИМЛИТ (дефектный, без конца),[1] по объему равный предыдущему, сохраняет частично песенный ритм. Он ближе к барсовскому варианту, имея с ним шесть общих мест, отсутствующих в буслаевском варианте,[2] но в то же время имеет и одно общее с последним место, отсутствующее в барсовском варианте (речь дворянина Залешенина к князю Владимиру).

Кроме того, в каждом варианте встречаются места, присущие только данному варианту.

Барсовский вариант по сравнению с другими имеет наибольшее число дополнений, выраженных или былинными формулами или книжным языком: речь богатырей к Владимиру (до перечня богатырей), седланье коней, подробное описание каличьей роскошной одежды, описание страшного вида Идола, оправдание Алеши в своей горячности, описание стычки богатырей с татарами в Царьграде, приближение русских богатырей к татарским и страх последних. Речь богатырей к князю Владимиру в начале «Сказания» по барсовскому варианту дана дважды: до перечня богатырей и после него. Это позволяет предполагать, что так как перечень богатырей в «Сказание» не входил, а был написан сбоку текста, то, переписав речь Владимира один раз до перечня, переписчик ошибочно повторил ее. Барсовский вариант дает наибольшее количество книжных оборотов, выраженных языком московских приказов, именно в обращении князя к богатырям и богатырей к князю, в то время как описания чаще передаются былинными формулами.

В этом варианте дана характеристика Ильи Муромца как религиозного человека путем соответствующих вставок в его речи,

---

[1] Из сборника XVIII в. собрания ИМЛИТ № 1—27—105.

[2] Вопросы Идола и Константина, обращенные к Илье Муромцу о киевских богатырях, разговор калик (богатырей) о лошадях, расспросы Идола о киевских лошадях, обращение Алеши к богатырям перед битвой после отнятия лошадей, обращение царицы Елены к Илье Муромцу и его товарищам, речь богатырей к дворянину Залешенину перед его поездкой к князю.

чего в других вариантах нет. Так, отъезжая с богатырями в чистое поле, он говорит:

Мы станем богу молитися,
Чтобы нам бог помощь послал
на цареградцких богатырей.

После встречи с каликами Илья Муромец говорит:

За то хочю голову сложить
за государеву чашу и молитвы.

Дополнения барсовского варианта объясняются старанием идеализировать Илью Муромца, а с другой стороны, желанием усилить значение великого князя путем вложения в уста богатырей холопских выражений.

В буслаевском варианте мало дополнений, не встречающихся в других вариантах. К ним принадлежат: былинная формула описания пира в начале «Сказания», не вызываемая ходом действия; указание, что богатыри пошли из-за стола после речи князя «не докушамши», и похвальба Идола расправиться с Ильей, посадив его на ладонь и прихлопнув другой. Язык буслаевского варианта близок к языку «сказаний» и «гисторий» XVIII в., представляющих собой книжную переделку былин: очевидно, «Сказание» эволюционировало, постепенно меняя свой язык. Дополнения буслаевского варианта нужно рассматривать как позднейшие вставки.

Вариант ИМЛИТ имеет следующие особенности: шестой богатырь назван Глазыныч, что приближается к Щата Елизыныч барсовского варианта (ср. Глапит буслаевского варианта), а седьмой — Белая Пьяница — вместо Белая Палица в двух других вариантах. Богатырь Сухан (получающий прозвище Доментиян, близкое к имени града Идементияна из повести про Бову), выступает в небольшой роли, обращаясь к Алеше с советом унять свое сердце, что в барсовском варианте выполняет дворянин Залешенин, а в буслаевском — просто «товарищи». Таким образом, обосновывается участие Сухана в «Сказании»,— наравне с четырьмя другими богатырями (Илья, Добрыня, Алеша, Никита Залешенин). Зато в эпизоде с осмотром богатырских лошадей в Царьграде к царю Константину обращается с просьбой о разрешении спуститься с крыльца на землю Илья Муромец, а не дворянин Залешенин, как в других вариантах. Калика Никита о себе говорит, что он роду королевского («карачевец» в других вариантах), а встреча с каликами указана за 600 верст до Царьграда (12 поприщ по другим вариантам).

Наконец, вариант ИМЛИТ описывает встречу киевских и цареградских богатырей в следующих словах: «и к ним идут встречю 12 человек, а на них платья количьное». Таким обра-

зом, вариант ИМЛИТ сохраняет конструкцию фразы барсовского варианта («ажно има на встречю идут 12 человекь цареградцких богатырей, а на них платье калицкое»), опуская слова «цареградских богатырей»; однако сохранение соединительного союза «а» подтверждает, что вторая часть фразы должна дать противоположение первой, как это и имеется в барсовском варианте.

В отношении языка вариант ИМЛИТ бледнее буслаевского: хотя песенный ритм в нем тоже чувствуется, но вставки цельных былинных формул отсутствуют.

Общие особенности всех трех вариантов «Сказания таковы: богатыри после речи Владимира бьют челом князю;[1] они (или один лишь дворянин Залешенин) называют себя холопами князя, просят пожаловать их — разрешить приехать к князю; богатыри, с одной стороны, говорят: лучше смерть, чем срамота, с другой стороны—после встречи с каликами—хотят сложить головы свои за князя. Все это свидетельствует о том, что в основной редакции «Сказания» уже имелась неизвестная нам из былин тенденция подчеркнуть верноподданническое и холопское отношение богатырей к князю.

В двух вариантах — барсовском и ИМЛИТ — употребляется польское слово «шкапа» для обозначения плохих лошадей цареградских богатырей, восходящее, очевидно, к основной редакции «Сказания».

При всем том, сюжетная линия и большое количество общих подробностей в изложении свидетельствуют о восхождении всех трех вариантов к одной первоначальной редакции.

Основной вопрос, подлежащий разрешению,— в каком виде было составлено «Сказание»: в полном виде, по образцу барсовского варианта, или в кратком, как варианты буслаевский и ИМЛИТ. В первом случае варианты буслаевский и ИМЛИТ получились в результате сокращения и переработки полной редакции, во втором случае барсовский вариант представляет собою распространение первоначальной краткой редакции. Рукописная традиция знает много случаев распространения краткого текста подлинника. Однако в данном случае — после привлечения к изучению варианта ИМЛИТ — решение вопроса облегчается тем, что два варианта «Сказания» из трех оказываются принадлежащими к краткой редакции, причем вариант ИМЛИТ (краткий) по своему содержанию гораздо ближе к барсовскому распространенному варианту, чем к другому краткому — буслаевскому, имея с первым много общих мотивов, отсутствующих

[1] Впрочем, в былинах герои постоянно бьют челом; в былинах сборника Гильфердинга этот мотив встречается до 60 раз, у Рыбникова — до 20 раз (Васильев, Указатель к Онежским былинам Гильфердинга, СПб., 1909, стр. 113; Песни, собранные Рыбниковым, изд. 2-е, под ред. Грузинского, М., 1909, т. III, стр. 427).

в последнем. В то же время в обоих кратких вариантах очень мало дополнений, не встречающихся в распространенном барсовском варианте. Принятие мнения об исконности полной редакции типа барсовского варианта заставляет предполагать в этих условиях неоднократную переработку полной редакции путем ее сокращения, так как варианты буслаевский и ИМЛИТ не могут восходить к общему оригиналу. С другой стороны, представляется натянутым и предположение, что последующие переработки свелись к изъятию из распространенной редакции всех красочных описаний, что само собой разумеется, если допустить, что распространенная редакция была первичной, а краткая — вторичной. Отсюда естественнее предположить, что первоначальный вид «Сказания» представлял собой краткую редакцию, которая впоследствии была распространена путем введения дополнений.

Правильность этого предположения доказывается тем, что дополнения барсовского варианта, осложняющие ход действия и не имеющие органической связи с сюжетом «Сказания», заимствованы или из былин,—что представляется естественным, поскольку барсовский вариант составлялся в Прионежье,— или из рукописной повествовательной литературы. Поэтому можно считать буслаевский вариант более близко стоящим к основной редакции «Сказания», — при условии изъятия из него дополнений.

Обилие былинных вставок, песенный ритм в изложении, сходство центральной части «Сказания» с содержанием былин об Илье и Идолище — все это приводит к выводу, что основная редакция «Сказания» была составлена на основе былинного материала, но с введением некоторых изменений в характеристику отношения богатырей к князю и князя к богатырям по типу московских придворных отношений. Эта основная редакция затем подвергалась дальнейшим переработкам, во время которых привлекался, между прочим, снова былинный материал в виде описаний и формул и т. д. Однако подробный анализ трех вариантов не позволяет нам возвести к прототипу «Сказания» ни одной былинной формулы, встречающейся в этих вариантах, поскольку они имеются в каждом особо. И можно считать, что все три варианта — барсовский, буслаевский и ИМЛИТ — восходят к основной редакции «Сказания» через посредствующие звенья.

II

Сказание распадается на три части:

В первой части (вступление) действие протекает в Киеве. Ее содержание — обращение князя к своим богатырям с запретом выезжать из Киева, так как ожидается нападение вражеских богатырей. Богатырям это не нравится, и они уезжают из Киева, считая княжеский запрет позором для себя.

Вторая — основная — часть рассказывает о поездке богатырей в Царьград, причем действие происходит на пути в Царьград и в Царьграде; она распадается на три эпизода. В первом описывается встреча богатырей с каликами (под одеждой которых скрылись цареградские богатыри, по барсовскому варианту), мена платьем и расспросы у калик про царьградские вести, причем калики сообщают о похвальбе цареградских богатырей. Во втором эпизоде рассказывается о проникновении богатырей в Царьград, о расспросах Идолища и Константина про киевских богатырей, в частности про Илью Муромца, о вспышке Алеши, о показе лошадей цареградских богатырей, об отобрании лошадей киевскими богатырями и отъезде их из Царьграда. Третий эпизод посвящен битве киевских богатырей с цареградскими и татарской ратью, победе и пленению Идола и Тугарина; а затем там описывается приезд Ильи Муромца в Царьград к царю Константину с сообщением о победе, возвращение ему Идола и увоз Тугарина в Киев, несмотря на просьбу за него царицы Елены.

Третья часть — заключение, в котором идет речь о возвращении богатырей в Киев. Тут можно выделить также три эпизода: 1) посылка к князю богатыря Никиты Залешенина и получение согласия князя на приезд остальных богатырей; 2) прием богатырей князем, награждение их и расспросы князем Тугарина и 3) похвальба князя своими богатырями, одолевшими большую татарскую рать, просьба Ильи Муромца отпустить Тугарина, согласие на это князя и проводы Тугарина до границы; богатыри уезжают в поле.

Композиционно «Сказание» представляет собой цельное и согласованное в отдельных частях произведение, содержание которого передано заглавием «Сказания» в барсовском варианте: «Сказание о киевских богатырех, как ходили во Царьград и как побили цареградцких богатырей, учинили себе честь». Если во вступлении рассказывается о запрете князя богатырям отлучаться из Киева и ослушании богатырей, то в заключении описывается, как князь наградил богатырей за победу над цареградскими богатырями, т. е., по существу, за нарушение его запрета. Средняя часть вытекает из вступления: богатыри, вопреки запрету князя, уезжают из Киева и побеждают цареградских богатырей; заключение — награда за победу над врагом — вытекает из средней части и контрастирует со вступлением.

Равным образом отдельные эпизоды второй части представляют собой логическое развитие: сначала имеется получение вестей о Царьграде, потом разведка и, наконец, битва, как завершение подготовительных мероприятий. Таким образом, впечатление должно постепенно нарастать.

Композиция «Сказания» обнаруживает хорошо продуманный замысел автора — независимо от того, является ли он исключи-

тельной принадлежностью «Сказания» или же он был перенесен в «Сказание» из былины.

Основная идея «Сказания» раскрывается в следующих словах князя в конце «Сказания» (по барсовскому варианту): «Цареградцких богатырей было 42, а с ними было татар людей много, — а не рать ли в поле была? а моих богатырей только 7 было». Буслаевский вариант передает эту мысль иначе: «И зговорит князь Владимер Киевски своим богатырям: были вы во Цареграде и всех богатырей в поле побивали». Таким образом, смысл «Сказания» — в прославлении семи киевских богатырей, одолевших многочисленных врагов путем наступательных действий — похода на их столицу, вопреки запрету князя выезжать из Киева, за что они были награждены и прославлены тем же князем.

Это звучит, с одной стороны, как высокая оценка деятельности богатырей за их подвиг, но с другой — как насмешливое отношение к князю, который, запрещая богатырям выезжать из Киева, руководствовался эгоистическими, частнособственническими (а не государственными) интересами — защитой своих вотчин: по обычаю московских князей он хотел отсидеться за городскими стенами и ограничиться обороной, на что указал Вс. Миллер. Киевские же богатыри явились последователями другого стратегического принципа, изложенного в наше время в словах: «бить неприятеля на его земле», так как, с военной точки зрения, наступление эффективнее обороны.

Анализируя «Сказание», нельзя обойти и другой его идеи, придающей ему иной смысл и выдержанной в стиле средневековья: «похвала мужу — великая пагуба» (барсовский вариант).

Так, в первом эпизоде второй (центральной) части «Сказания» богатыри слышат от калик: «И те вести нам прямо неизменныя: ездят богатыри во Цареграде, а хвалятца при царе, что хотят ехать к Киеву и в Киеве учинить сеча великая, а князя Владимира и ево княгиню и с ево богатыри в полон взять» (по буслаевскому варианту).

Во втором эпизоде той же части русские богатыри являются сами свидетелями похвальбы цареградских богатырей: «И говорит Идол богатыр... и мы тебе приведем во Царьград великаго князя Владимера и с ево великою княинею и всех ево богатырей побьем сколько их есть во граде Киеве, учиним мы с ними сечю великую» (по варианту ИМЛИТ).

Наконец, в третьем эпизоде второй части «Сказания» описывается победа киевских богатырей над цареградскими с указанием, что поражение последних является результатом их похвальбы: «И зговорит Илья Муромец: Ведомо ли тебе, царю, мы твоих богатырей побили, а двух живых взяли?.. мы поехали ис Киева без государева ведома на похвалу твоих богатырей» (по буслаевскому варианту).

Эта идея никчемности похвальбы, последовательно развитая в трех эпизодах центральной части «Сказания», встречается во всех трех вариантах — барсовском, буслаевском и ИМЛИТ. Следовательно, можно считать, что она была проведена и в основной редакции «Сказания». В этом случае в «Сказании» мы имеем две параллельных, но не согласованных между собою идеи: первая — идея прославления богатырей с параллельным ироническим отношением к князю, связанная с сюжетом и непосредственно из него вытекающая. Этого нельзя сказать про вторую идею — трактовку победы русских богатырей над цареградскими как посрамление вражеских богатырей за их похвальбу: последняя идея из сюжета не вытекает и механически пристегнута к нему. Необходимо предположить, что каждая из этих идей соответствует последовательным этапам оформления сюжета, т. е. 1) былине, использованной затем в качестве материала для «Сказания», и 2) основной редакции «Сказания». Отсюда не явится ошибочным утверждение, что вторая идея — осмысление победы киевских богатырей как посрамления цареградских за их похвальбу — принадлежит книжнику, переработавшему былину в «Сказание», и была неорганична для самой былины — прототипа «Сказания». И далее, если само «Сказание» стремилось возвеличить князя, изображая его высшим началом, перед которым должны холопски преклоняться даже богатыри, победители татар (отсутствие в «Сказании» столкновения Ильи с властью подметил Вс. Миллер), то ироническое отношение к князю, столь противоположное тенденции книжника, слагателя «Сказания», нужно связывать с былиной, откуда оно перешло вместе с былинным сюжетом в «Сказание». Слагатель «Сказания» не смог, однако, вытравить из использованного им сюжета идею насмешливого отношения к князю, а ограничился только переработкой некоторых эпизодов, введя в «Сказание» свою идею возвеличения княжеской власти и посрамления похвальбы. Вместе с тем книжник подправил в придворном духе отношения богатырей и князя, излагая эти места в «Сказании» языком московских приказов, и внес, кроме того, еще ряд дополнений. Получилась довольно пестрая мозаика из воинских приключений богатырей, сдобренная старыми идеями, которые нам известны из моралистических поучений («гнило слово похвальное»).

Анализ барсовского варианта «Сказания» показывает, что в отличие от других вариантов, похвальба здесь вложена в уста киевских богатырей и князя. Так, во вступлении богатыри в ответ на обращение князя говорят: «отпусти нас в чистое поле, мы тебе, государю, прямыя вести отведаем и приведем тебе, государю, языка добраго, тебе, государю, славу великую учиним.., многия орды остртим».

Перед битвой Алеша Попович обращается к другим богаты-

рям с такими словами: «дайте мне поправить свое сердце богатырское... хочет и последнюю орду побити, похвалу доспеть... хочю себе похвалу доспети, чтоб у(ви)дял царь Костянтин и дошла б наша похвала до князя Владимера». (Из дальнейшего, впрочем, не видно, предпринял ли что-нибудь Алеша Попович, вследствие чего эти слова можно считать поздней вставкой.)

И, наконец, вразрез с тем впечатлением, которое по замыслу книжника должен произвести образ князя Владимира, звучит похвальба последнего богатырями: «Говорит князь Владимер Всеславиевич: ...Цареградцких богатырей было 42, а с ними было татар людей много, не рать ли в поле была? а моих богатырей только 7 было».

Таким образом, в барсовском варианте совершенно забыто про то отношение к похвальбе, которое было заложено в основной редакции «Сказания» и которое сохранилось в центральной части барсовского варианта. Это противоречие между посрамлением вражеских богатырей за их похвальбу и безнаказанностью киевских богатырей за такие же их речи свидетельствует, что выше цитированные места в барсовском варианте — позднего происхождения, а также вновь подтверждает, что полная редакция «Сказания» не является первоначальным его видом, а сама образовалась путем распространения краткой редакции, которая была сложена раньше.

III

В «Сказании» большое число действующих лиц. Со стороны Киева — князь Владимир и его семь богатырей, из них два бездействующих; со стороны Царьграда — царь Константин и царица Елена, богатыри Идол Скоропит и Тугарин Змеевич, атаман калик Никита Карачевец, мать Тугарина, а также безымянные 40 татарских богатырей и 11 калик.

Князь Владимир обрисован в общем непривлекательными чертами: он требует, чтобы киевские богатыри оберегали его самого и его вотчины, боится нападения врагов, оскорбляет богатырей, запрещая им выезжать из Киева (а они не уговаривались сидеть сторожами), внушает богатырям страх к себе: очевидно, даже роль победителей не гарантирует им безопасности; с другой стороны, у него большой размах — он щедро награждает богатырей, он страшен для своих противников (Тугарин ему говорит в буслаевском варианте: «Нет, государь, тебя грознея во всех царствах»), сам он любит погулять и потешиться («и как будет князь Владимер на весело, и учали потешатися» — по барсовскому варианту). Таким образом, даже при тенденциозном отношении к нему князь представляет собою колоритную фигуру, с яркими индивидуальными чертами.

Богатырям киевским в «Сказании» не свойственно сидеть в

обороне, они не сторожа, они «извадились в чистом поле ездити, побивать полки татарские» (барсовский вариант), «по чисту полю гуляти» (вариант ИМЛИТ); предложение князя превратиться в сторожей они понимают как оскорбление для себя: «лутче нам тои срамоты великия как случитца нам в чистом поле смерть не добрая» (буслаевский вариант).

Богатыри киевские чувствуют себя по отношению к княжескому распоряжению довольно свободно; после приказания князя не покидать Киев они сели на коней и поехали в чистое поле. Для богатырей по душе ехать навстречу врагам; они видят свою задачу в том, чтобы отыскать и привести «языка добраго»: «мы поедемь встречю к ним и там с ними свидимся», говорят они (по барсовскому варианту).

Наиболее полно обрисован Илья Муромец: он признанный глава богатырей, самый храбрый из них. Именно он сшиб Идола и взял в плен его и Тугарина; ему без возражений уступают калики. Он настоящий воин: своих товарищей он подбадривает сообщением, что цареградские богатыри — достойные их противники; он прост, но находчив и хитер. Таким он выступает в разговоре с Идолом, отвечая на его вопрос, каков собою киевский богатырь Илья Муромец: «И говорит противу ево Илья Муромец: Ростом он с меня велик, а лицем на меня же походил» (по варианту ИМЛИТ).

Барсовский вариант (один только) рисует Илью Муромца как религиозного человека, в чем видно старание книжника присвоить идеальному воину и герою все положительные черты (см. выше). Черта религиозности привнесена книжником, который переделывал первоначальную редакцию «Сказания».

Добрыня Никитич (Добрыня Рязанец в варианте ИМЛИТ) и Сухан Доментьевич (Доментиян по варианту ИМЛИТ) в действии не даны. Первый (по вариантам барсовскому и ИМЛИТ) спрашивает калик, зачем они ходили в Царьград, второй (по варианту ИМЛИТ) советует Алеше сдерживаться в Царьграде. В других вариантах эти выступления Добрыни и Сухана присвоены другим богатырям.

Не были ли оба эти богатыря введены в «Сказание» книжником, его слагателем?

Дворянин Залешенин, встречающийся в записях былин XIX—XX вв. один-два раза, выступает в «Сказании» в качестве дипломата: он улаживает инцидент с Алешей в Царьграде, его посылают богатыри к князю, чтобы получить разрешение на приезд в Киев, говоря: «ты—жилец двора государева, много живешь во дворе государеве и всякой чин ведаешь»; он богатырь-дворянин (барсовский вариант; в варианте ИМЛИТ богатыри, посылая Залешенина, говорят: «а се мы богатыри, жильцы государевы»).

Алеша Попович в «Сказании», как и в записях былин XIX—XX вв., выделяется среди богатырей отрицательными чертами: он нетерпелив и несдержан и среди врагов в Царьграде допускает рискованную выходку; авторитетом он не пользуется: калики отказываются ему отдать свое платье; он любит выпить, говорит лишнее, он выскочка, задорный человек, хочет отличиться перед другими богатырями. О действиях Алеши Поповича в бою ничего не сообщается. Композиционно Алеша Попович должен оттенить положительную характеристику Ильи Муромца.

Остальные богатыри — «Щата Елизынич» (барсовский вариант; Глазыныч — по варианту ИМЛИТ, Глапит — по буслаевскому варианту) и Белая Палица (Белая пьяница — по варианту ИМЛИТ) в действии не выступают и никаких речей не произносят; они набраны для количества, как указал еще Вс. Миллер.

В первоначальной редакции «Сказания», вероятно, были поименованы не все богатыри, и книжник, слагатель «Сказания», сделал на полях их перечень, придумав имена тем, которые в «Сказании» не выступали. Так как в «Сказании» в действии выступают только Илья Муромец, Алеша Попович и дворянин Залешенин, то можно предположить, что в былине — прототипе «Сказания» — участвовали только три богатыря и, следовательно, остальные четверо были введены слагателем «Сказания». Роль Алеши в «Сказании» исключительно осложняет действие, но не двигает его; такова же роль и дворянина Залешенина, за исключением его поездки к князю. Нельзя ли предположить, что описание поездки присочинено книжником, слагателем «Сказания», тем более, что во всех вариантах рассказ о ней изложен языком московских приказов с подчеркиванием холопского отношения богатырей к князю.

Царь Константин соединяет в себе противоречивые черты благоверного цареградского царя, с одной стороны, и владетеля вражеского татарского города, патрона Идола Скоропита и Тугарина Змеевича — с другой. Он в «Сказании» играет пассивную роль, не выступая против киевских богатырей.

Отношение последних к нему двойственное: для них он враг, но в то же время — благоверный царь Константин. После победы Илья Муромец говорит ему: «а тебя мы царя ничем не двигнем, ни черным волосом» (по буслаевскому варианту, аналогично и в других). Царь Константин имелся и в былине, прототипе «Сказания» (откуда он был и перенесен в «Сказание»), так как записи былин XIX—XX вв. сохраняют в ряде вариантов этот персонаж, но уже в качестве царя города, «обнасилованного» Идолищем. Однако несомненно, что почтительное обхождение киевских богатырей с царем Константином есть результат работы

книжника, слагателя «Сказания», который изображает холопское отношение богатырей вообще к княжеской и царской власти, распространяя его и на вражеского властителя, «благоверного» царя Константина.

Образ благоверной царицы Елены, заступницы за вражеского богатыря Тугарина Змеевича, попал в «Сказание» тоже благодаря работе книжника—слагателя «Сказания». Эпизод ее просьбы за Тугарина осложняет развитие сюжета, но органической связи с последним не имеет. Таким образом: а) образ царицы Елены, а равно матери Тугарина (как указал Вс. Миллер), б) эпизод просьбы за Тугарина, в) лакировка отношений киевских богатырей к царю Константину, как почтительных, — все это результат работы книжника и не могло быть заимствовано из былин.

Идол-богатырь (вариант ИМЛИТ), Идол Скоропит (по буслаевскому варианту), Скоропеевич (в барсовском варианте) не имеет позднейших черт чудесного существа, это — богатырь человеческих масштабов. Его страшный вид описывается в барсовском варианте «Сказания»: «а ростом добре не по обычею: меж очима у него стрела ладится, меж плечми у него болшая сажен, очи у него, как чаши, а голова у него, как пивной котел. Посмотрить на него — устрашится». Однако в варианте ИМЛИТ эта подробная характеристика Идола отсутствует, и вместо нее стоит: «ростом велик [добре] необычно, а взором страшен». В буслаевском варианте его внешность не описывается.

Вероятно, в основной редакции «Сказания» описание внешнего вида Идола было краткое, и разрисовка его образа с помощью приведенной выше формулы сказочного типа — это привнесение более позднего времени и принадлежит одному из переписчиков, перерабатывавших основную редакцию и откуда-то заимствовавших эту формулу. Былинная традиция, относящаяся ко времени переработки былины в «Сказание», возможно, еще не знала этой сказочной формулы. Все варианты «Сказания», как отметил Ор. Миллер, не знают прожорливости Идолища, встречающейся в записях былин XIX—XX вв.

Тугарин Змеевич в «Сказании» не выступает в действии: ему царь Константин приказывает позвать калик, об его освобождении просит богатырей царица Елена, его берут вместе с Идолом в плен, везут в Киев, а затем отпускают.

Очевидно, Тугарин привнесен в «Сказание» книжником, слагателем последнего при переработке былины в повествовательное произведение тем более, что в записях былин XIX—XX вв. Идол и Тугарин одновременно не выступают.

Никита Карачевец, предводитель калик, как и прочие калики, — образ противоречивый. Калики так описываются в барсовском варианте (и почти так же и в варианте ИМЛИТ): «идут

12 человек цареградких богатырей, а на них платье калицкое... а на каликах гуни голуба скорлату, а терки на них камки венецкие». Скорлат — дорогое французское сукно — было употребительно в Московии в XVI—XVII вв.; им жаловались особы первой статьи; цена 1 аршина скорлата в XVI в. была очень высокая — 3 рубля; венедицкая камка — цветная шелковая ткань с узорами — тоже была в ходу в XVI—XVII вв. Камка была в 4½ раза дороже сукна, а венедицкая камка ценилась в XVI в. в 19—20 алтын. [1]

Это описание дорогого платья, встречающееся в двух вариантах и восходящее, следовательно, к основной редакции «Сказания», подтверждает, что, собственно говоря, калики — это переодетые цареградские богатыри.

IV

До настоящего времени изучение языка и стиля «Сказания» не производилось.

В начале буслаевского варианта находится описание пира:

У великаго князя Владимира
было пированье почестное
на многия князи и бояря
и на силныя могучия богатыри.
И как пошел пир новоселной...

Это общее место — былинная формула описания пира — отличается от подобной же формулы, употребляемой и в записях былин Рыбникова и Гильфердинга, но оно совпадает с формулой, употребляющейся в других «сказаниях» и «гисториях» XVII—XVIII вв., например, о Михайле Потоке. [2]

Это описание пира ходом действия не обусловлено и, очевидно, привнесено при переписке «Сказания», вследствие чего не может быть отнесено к первоначальной его редакции.

Последующая речь князя Владимира к богатырям во всех вариантах «Сказания» изложена книжным языком, с теми оборотами, которые в песнях не встречаются: «или то вамь не ведомо, богатырем... и вы б нынеча никуды не розъезжалися, берегли бы естя града Киева и всее моей вотчины» (барсовский вариант). Иные выражения, но в том же тоне, изложенные тем же приказным языком, находятся в других вариантах.

Дальше следует ответ богатырей, причем в барсовском варианте он изложен дважды: 1) до перечня богатырей — смешанным книжным и песенным языком и 2) после перечня — песенной

---

[1] Костомаров. Соч., т. XX, стр. 414, 416, 418—419.

[2] Тих.-Мил., стр. 25, 32, 39; см. также Б. М. Соколов, Былины старинной записи. «Этнография», 1927, № 1, стр. 115.

речью, хотя смысл ответа остается без изменения (в вариантах буслаевском и ИМЛИТ аналогия имеется только ко второму ответу, и в нем слышится песенная речь):

Отпусти нас в чистое поле.
Мы тебе, государю, прямыя вести отведаем,
И приведем тебе, государю, языка добраго.
Тебе, государю, славу великую учиним,
и себя, государь, в честь введем,
и всему твоему государству похвалу великую учиним
и многия орды остртим...
Сторожем мы в земле не извадились жить.
Не доведетца нам сторожами слыть

(по барсовскому варианту — до перечня богатырей).

Строки 4—7 представляют собою похвальбу богатырей, необычную в былинах и не соответствующую их характеру, и не поддерживаются другими вариантами «Сказания».

Второе обращение князя к богатырям изложено языком московских приказов, как в барсовском варианте, так и в вариантах буслаевском и ИМЛИТ, в одних и тех же выражениях: «Не пригоже вам в те поры проч отъехати... а яз жду тех богатырей с часу на час... пригоже вам моея вотчины поберетчи» (барсовский вариант). Одно из обращений князя к богатырям излишне и, очевидно, является вставкой переписчика.

Переход от разговора с князем к сборам богатырей и описание их отъезда изложены в «Сказании» былинным языком:

И в те поры руския богатыри закручинились,
ударили челом князю и прочь пошли.
Идут же богатыри ко своим добрым конем
И кладут на себя доспехи крепкия,
садятца богатыри на свои добры кони,
едут же богатыри в поле чистое
прямых вестей проведывать

(буслаевский вариант).

Только один барсовский вариант вставляет сюда общее место седланья коней:

Учали на них класти седла черкасские,
подтягивают подпруги шелку белово.
У всех пряжи булатные
красного булату перепускнаго.
Да кладут на себя доспехи крепкия,
емлють с собою палицы булатныя
того булату перепускнаго
и всю свою збрую богатырьскую.

Так как эта формула встречается только в барсовском варианте «Сказания», то она, вероятно, отсутствовала в первоначальной его редакции и была вставлена в барсовский вариант или в тот список, с которого он списан, позднее, будучи заимствована из устной традиции.

Любопытно, что краткое описание снаряжения богатырей, частично совпадающее с только что приведенной формулой седлания-снаряжения — общим местом в былинах записи XIX—XX веков—встречается в «Сказании» позже и находится во всех трех вариантах, что доказывает наличие этого краткого описания в основной редакции «Сказания», а также и в былине, о чем свидетельствует песенный ритм этого описания, например, по варианту ИМЛИТ:

и садилися они на свои кони добрые богатырские,
и клали на себя наряды богатырские,
и емлют они копя вострые.

В дальнейшем песенным ритмом излагается описание цветного платья калик, разговор калик с богатырями, сообщение калик о похвальбе цареградских богатырей, приход богатырей в Царьград, описание страшного вида Идолища (только в барсовском варианте), расспросы Идола о виде Ильи и ответы последнего, совет Ильи отнять лошадей и приведение его совета в исполнение, приближение русских богатырей к цареградским и впечатление, произведенное их громкими криками, битва, награждение киевских богатырей князем, ответ Тугарина князю Владимиру, хвастанье последнего своими богатырями, клятвенное обещание врагов не бывать на Руси. Приближение русских богатырей к цареградским и впечатление, произведенное их громкими криками,—общее место в записях былин XIX—XX вв.—в «Сказании» встречается только в одном барсовском варианте:

Свиснули, крикнули богатыри
богатырским голосом;
от свисту и от крику
лес розсьтилаетца, трава постилаетца,
добрыя кони на окарашки падают,
худыя кони и живы не бывали.
Не птички соловьи в дуброве просвистали —
свиснули гаркнули руския богатыри
Иля Муромец с товарыщи.

Следовательно, и в этом случае книжник-переписчик «Сказания» это место заимствовал из устной традиции, в основную же редакцию «Сказания» оно не входило. Строки 7, 1, 2 и 9 в барсовском варианте повторяются в описании стычки богатырей в Царьграде. Вставка красочных былинных описаний, которые в записях XIX—XX вв. встречаются в былинах в качестве общих мест, объясняется тем, что переработка первоначальной редакции «Сказания» в редакцию типа барсовского варианта производилась в Каргопольском районе в Прионежье, где, вероятно, былинная традиция расцветала еще в середине XVII в.

Можно отметить и более короткие, применяемые в «Сказании» формулы, которые в основную редакцию последнего попа-

ли из былины, причем эти формулы повторяются неоднократно, например:

Тут богатыри закручинилися

(барсовский вариант — после разговора богатырей с Владимиром).

И Идол-богатырь на Алешьку осержается

(вариант ИМЛИТ).

Другая яркая формула — сравнение обращения матери Тугарина с криком белой лебеди:

Не белая лебец воскликала...

заимствована тоже из других былин, [1] но внесена слагателем еще в первоначальную редакцию «Сказания». Право утверждать это дает нам наличие этой формулы в барсовском и буслаевском вариантах.

Таким образом, былинный материал попадал в варианты «Сказания» различными путями: 1) он заимствовался слагателем основной редакции «Сказания» из былины, которая легла в его основу (это можно предполагать в отношении эпизодов, сохранившихся в двух или трех вариантах); 2) слагатель первоначальной редакции, возможно, использовал отдельные формулы из других былинных сюжетов (например, формула сравнения речи женщины с криком лебедя); наконец, 3) переписчики и книжники, перерабатывая первоначальную редакцию «Сказания», дополняли ее красочными описаниями, которые в XIX—XX вв. известны нам в качестве общих мест. В последнем случае эти описания встречаются только в каком-нибудь одном варианте «Сказания». При переработке основной редакции книжники-переписчики обращались с песенным текстом рукописи достаточно вольно и свободно его изменяли и дополняли: ведь это не была «божественная» книга; представления о неприкосновенности текста художественного произведения не было, словесный комплекс произведения не поддерживался никаким механическим каркасом (в былине таким каркасом являлась мелодия — напев). О таких изменениях дает представление ответ богатырей князю Владимиру в барсовском варианте, данный в двух видах, которые восходят к одному прототипу.

Изучение былинных отрывков, включенных в варианты «Сказания», показывает, что отрывки, которые носят красочный характер, встречаются только по одному разу в отдельных вариантах, следовательно, все они были внесены переписчиками первоначальной редакции «Сказания» при его переработке и в перво-

[1] Ср. Кирша Данилов, изд. Ак. Наук, СПб., 1901, стр. 18 (Мастрюк Темрюкович); Марк., № 64 (сюжет Казарина); Рыб., № 180 (Смерть Чурилы) и т. д.

начальную редакцию не входили: отрывки же которые, имелись в первоначальной редакции и которые нужно возводить к былине, прототипу «Сказания», носят довольно бесцветный характер. Таким образом, былина, прототип «Сказания», композиционно построенная мастерски, по языку и стилю была слабой. Отсюда понятно, что слагатель первоначальной редакции «Сказания» нашел в былине, прототипе «Сказания», для своего использования только бесцветные отрывки.

Книжные элементы «Сказания», привнесенные слагателем первоначальной его редакции и переписчиками-книжниками, перерабатывавшими эту редакцию «Сказания», выдают свое происхождение лексикой, конструкцией оборотов, несвойственных разговорному языку и имеющих свои книжные же образцы, фонетическими формами церковно-славянского построения, смыслом и тенденциями, не свойственными былине. Так, изложение книжным языком первого эпизода третьей, заключительной части «Сказания», в которой идет речь о посылке дворянина Залешенина к князю, дает право сделать вывод, что этот эпизод, хотя он и имеется во всех трех вариантах, — дополнение слагателя первоначальной редакции «Сказания» и что в былине — прототипе «Сказания» вместо этого, возможно, имелось упоминание о предварительной поездке Залешенина к князю, но без ее описания. Равным образом, данные языка подтверждают книжное происхождение эпизода с ходатайством Ильи Муромца перед князем об отпуске на свободу Тугарина Змеевича. Наконец, такой же книжный характер носят и слова цареградских богатырей Идола и особенно Тугарина, обличающие их страх при приближении киевских богатырей с Ильей Муромцем во главе; слова эти встречаются только в барсовском варианте, и можно предполагать, что они были привнесены книжником, перерабатывавшим первоначальную редакцию «Сказания».

Анализ вариантов «Сказания», его сюжета, характеристики персонажей и стиля позволил определить первоначальную редакцию «Сказания», работу его слагателя над былинным материалом, характер переработки первоначальной редакции переписчиками-книжниками, роль былинного и книжного элемента в «Сказании» и его вариантах, а также время внесения отдельных формул и отрывков в «Сказание». Этот же анализ дал возможность определить, что было заимствовано слагателем из былины. Однако использование только самого «Сказания» для этой работы придает целому ряду выводов гипотетический характер. Вопрос может быть твердо решен только при условии привлечения для исследования былинного материала — записи былин XVIII—XIX и XX вв. из живой традиции.

V

Сравнение всех известных вариантов былины об Алеше и Тугарине со «Сказанием» свидетельствует о том, что в «Сказании» ничего не заимствовано из этой былины, кроме имен двух персонажей; но былинный Алеша и Алеша «Сказания», с одной стороны, Тугарин былины и Тугарин «Сказания», с другой, — друг на друга не похожи. В частности, мотив обжорства Идолища, известный по записям былин XIX—XX вв., в то время, когда складывалось «Сказание», отсутствовал, что отмечено Веселовским. Таким образом, предположение Вс. Миллера об использовании слагателем первоначальной редакции «Сказания» материала былины об Алеше и Тугарине оказывается излишним.

Былины и об Илье и Идолище в ряде записей XIX—XX вв. перестают существовать самостоятельно и или контаминируются с другими былинами, или входят в состав отдельных былинных вариантов в качестве особого эпизода: такие случаи составляют третью часть всех записей. Сборник Кирши Данилова совсем не знает этого сюжета, и даже у лучших сказителей, по записям Рыбникова и Гильфердинга, эта былина излагается в скомканном виде с рядом мотивов, перешедших в нее из других былин; нигде она не встречается в развернутом виде с хорошим стихом, выдержанным в правильном былинном ритме. Даже лубочные и народные сказки[1] и «сказания» («гистории») по рукописям XVIII в.[2] дают эту былину в сильно сокращенном виде, сводя ее к встрече с каликой, разговору Ильи с Идолищем (на тему о внешнем виде богатырей и обжорстве) и убиению Идолища. Таким образом, былина об Илье и Идолище рано деградировала, осложнилась заимствованными мотивами и почти превратилась в сказку. Установление первоначального вида такой былины по современным записям — дело очень трудное.

Вс. Миллер, в результате анализа былины об Илье и Идолище, пришел к следующим выводам:

1. Схема былины такова: а) встреча Ильи с каликой и обмен их платьем, б) приход Ильи в Царьград (Киев) к царю Константину (Владимиру), расспросы Идолища об Илье Муромце, его внешнем виде и аппетите и похвальба Идолища, убиение Идолища Ильей и уход его из Царьграда.

2. Характеристика Идолища: его страшный вид, его запрет

---

[1] «Труды этнографич. отд.», т. XI, вып. II, стр. 168—170; Белорусский сборник, т. III, стр. 259—262; ЖМНПр., 1890, № 3, стр. 16—18; Кир., т. I, в приложении.

[2] Тих.-Мил., ч. I, стр. 11—24; сказание из собр. Барсова—«Этнография», 1927, № 1, стр. 117.

просить милостыню, сам он — татарин, окруженный татарской силой.

3. Хронологически в былине первоначально действие происходило у царя Константина в Царьграде, куда ходят калики, причем имена царя Константина и царицы Елены воспринимаются, как эпонимы, связанные с Царьградом.

4. Убиение Идолища Ильей и освобождение Царьграда от басурман и насильника Идола Вс. Миллер трактует как превращение народной фантазией своих desiderata в факт.

Б. М. Соколов [1] в основном придерживается той же схемы, подчеркивая в ходе действия встречу Ильей калики, «сильного Иванища», который рассказывает, как в Царьграде оскорбляется религиозное чувство. Далее подчеркивается просьба милостыни и встреча с Идолом (характерной чертой которого, по мнению Б. М. Соколова, является обжорство) и убиение его клюкой большого веса, на чем большинство былин и заканчиваются. Отмечая сближение былин об Илье и Идолище с былиной об Алеше Поповиче, Б. М. Соколов считает древней формой былины об Илье и Идолище борьбу Алеши, ростовского богатыря, и Идолища; первооснову же этой былины он видит в легенде о поражении Авраамием Ростовским идола Велеса тростию, полученной Авраамием от встреченного им старца — Ивана Богослова (Иванища). В схеме Вс. Миллера отсутствуют многие черты былины об Илье и Идолище; схема Б. М. Соколова совершенно игнорирует связь былины со «Сказанием о хождении киевских богатырей в Царьград», тогда как «Сказание» заключает в себе материал, не поддерживающий схемы Б. М. Соколова; кроме того, Б. М. Соколов не дает объяснений, каким образом образовалась былина об Алеше и Тугарине из более ранней, по его мнению, былины об Алеше и Идолище. Поэтому изучение былины об Илье и Идолище должно быть произведено еще раз на основе вновь привлеченного материала.

Детальное знакомство с собраниями былин показывает постепенное ухудшение самого их языкового материала и изменение их содержания в соответствии с определенными законами. [2]

Из этого следует, что было бы методологически неправильно считать, что содержание того или иного былинного сюжета в XVII и XVIII вв. совпадает с тем его видом, в каком он известен по записям XIX—XX вв. Наоборот, можно предполагать, что каждый былинный сюжет в XVII и XVIII вв. был полнее, стройнее, последовательность событий в нем была логичнее. Соответственно этому состав того же былинного сюжета в XIX и XX вв.

---

[1] «Былины об Идолище Поганом», ЖМНПр., 1916, № 5.

[2] Шамоинаго. Песни времени царя Ивана Грозного, М., 1914, стр. VII—XII.

может считаться несколько изменившимся, потерявшим отдельные подробности, а иногда и целые части. Но эти подробности могут сохраняться в отдельных вариантах, большинство же сказителей их может забыть. Поэтому восстановление основной схемы былины предполагает тщательное изучение всех ее вариантов и использование в качестве подсобного материала также и рукописных «сказаний» и «гисторий» XVII и XVIII вв. Поэтому же неправильно ограничивать схему былин тем комплексом мотивов, которые сохранились в большинстве вариантов записи XIX—XX вв., — хотя бы и у лучших сказителей, — без учета органической связи отдельных мотивов с сюжетом былины.

Вышеприведенная схема сюжета былины об Илье и Идолище, принадлежащая Вс. Миллеру, не полна: в ней отсутствует целый ряд мотивов, встречающихся в отдельных вариантах и поддерживаемых «Сказанием».

Так, изучение эпизода с меной платья по былинным вариантам показывает, что в ряде вариантов упоминается о поездке Ильи Муромца в Царьград (Киев) с двумя-тремя товарищами, причем имена их совпадают с именами, приводимыми в «Сказании». Именно, в варианте Кулдаря[1] описывается, как богатыри едут группой: Потоп (заменяющий Илью Муромца), Добрыня, Сухан и Алеша.

В варианте Губернаторовой[2] навстречу калечищу убогому едут Илья Муравец, Иллешичко Папович и Микитушка Добрынушка, которым калика рассказывает, как царь Данидонишша захватил Новый город. Здесь любопытна редкая форма прозвища Ильи — Муравец.

В варианте Вас. Фил. Иванова из Б. Нисогор на Мезени в ответе калики Илье Муромцу сохранилось воспоминание об участии в этом эпизоде Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Сохранилась в этих вариантах и последовательность событий: сначала калики отказываются дать каличье платье спутникам Ильи, но ему самому платье отдается, а иногда он его отнимает. Здесь же сохранились и слова калики Илье Муромцу, известные из «Сказания»: «Кабы Добрыни Микитычу или Олеше Поповичу (а Добрыня тут же!) — не дал бы без бою, без драки, а тебе старому слову нет».[3] В вариантах не забыто, что встречный калика имеет большую силу, и его иногда заменяют богатырем.[4] Что собою представляет встречный калика, об этом говорят слова Ильи Муромца в варианте Н. Прохорова, обращенные к калике: «Есть у тя силы с дву меня».[5]

[1] Мил., № 74, стихи 49—83.
[2] Мил., Приложения, № 9, стр. 299—300.
[3] Аст., № 47, стр. 332—333.
[4] Кир., IV, № 5.
[5] Рыб., № 118, стих. 63.

Такой же ход действия и почти те же слова встречаются в варианте Щербакова из Каргопольского уезда,[1] в варианте Калинина[2] из Повенца, равно в вариантах Дутикова и Рябинина из Кижей,[3] с той только разницей, что в действии выступает один Илья Муромец, которому калика отдает платье или клюку, в одних случаях после сопротивления, в других без него, а иногда Илья Муромец отнимает у калики его платье. В варианте Ник. Прохорова из Пудоги Илья приказывает калике отдать ему свое каличье одеяние и взамен того отдает калике своего коня.[4] В варианте Г. Л. Крюкова (из Нижней Зимней Золотицы на Зимнем берегу Белого моря) Илья Муромец дважды просит у калики платье, и калика дважды отказывает. Тогда Илья отнимает у него платье и отдает ему своего коня. При этом калика объясняет, почему он не хочет отдать своего каличьего платья Илье: «Мне в твоем платьи не подают милостины спасенья».[5] Про отдачу коня поминают также Захаров и Костин с Водлозера и Юдина с Пинеги.[6]

В варианте Поздеева с Печоры калика два раза отказывается менять платье, а в третий раз соглашается.[7]

В описании платья калики варианты былин отмечают у него гуню (иногда шляпу) сорочинскую, т. е. сарацинскую, басурманскую,[8] цветное платье,[9] иногда дают описание этого роскошного каличьего платья, как в варианте Щербакова, Захарова с Водлозера и Н. Прохорова:

А лапотки были из семи шелков
Промеж проплетены камнями самоцветными[10]

В отдельных вариантах былины ответ калики Илье обнаруживает ближайшую связь с ответом калик по «Сказанию»:

«Сказание» (буслаевский вариант):	Вариант Кривополеновой
С тобою говорит Илья нечево и спору нет	А с тобой с Ильей дак слова нет[8]

---

[1] Тих.-Мил., ч. II, № 13, стихи 39—40.

[2] Гильф., № 4, стихи 65—68.

[3] Там же, № 155, стихи 41—42; Рыб., № 62, стихи 37—38 и № 6.

[4] Гильф., № 48, стихи 89—97; Рыб., № 118, стихи 65—73.

[5] Марк., № 69, стих 12.

[6] Гильф., № 245, стих 21, № 196, стих 40; Григ., I, № 90, стих 20.

[7] Аст., № 78, стихи 23—33.

[8] Гильф., № 220, стих 4, № 232, стихи 8 и 69, № 245, стих 23; Рыб., № 140, стих 9.

[9] Рыб., № 118, стих 65.

[10] Тих.-Мил., ч. II, № 13, стихи 47—54; Рыб., № 118, стихи 9—10; Гильф., № 48, стихи 12—13; № 196, стихи 39—40.

[11] Григ., I, № 112, стих 110. Ср. также слова калики, приведенные выше, в вар. Вас. Фил. Иванова из Б. Нисогор: «а тебе, старому, слова нет»: Аст., № 47, стр. 333.

Таким образом, тщательное рассмотрение вариантов былины об Илье и Идолище, в записях XIX—XX вв., показывает, что в них сохранилось много подробностей из эпизода встречи с каликами в том виде, как он излагался в «Сказании»: встреча происходила между группой богатырей (а не одним Ильей) и каликой, и сопровождалась она столкновением между ними.

Однако в эпизоде с меной платья расхождение между былинами и «Сказанием» имеется в отношении 1) имени каличища, который в былине устойчиво называется Иванищем, 2) отдачи в былине Ильей Муромцем калике своего коня.

После проникновения Ильи Муромца в Царьград варианты былины отмечают запрет просить здесь милостыню во имя Ильи и разрешение просить милостыню во имя Идола. Илья Муромец этот запрет нарушает.

Просьба милостыни во имя Ильи Муромца есть в варианте Крюковой из Нижней Зимней Золотицы, в варианте Рассолова из Печища на Мезени, у Г. Л. Крюкова из той же Нижней Зимней Золотицы.[1]

Запрет просить милостыню во имя Ильи у разных сказителей варьируется по-разному: одни сказители поют про запрет милостыни во имя Христа и о просьбе милостыни переодетым Ильей во имя его,[2] другие — вообще про запрет милостыни и о просьбе милостыни Ильей,[3] третьи—о разрешении просить милостыню во имя Идола, не во имя Христа,[4] или о запрете просить милостыню «для всех богов».[5] Иногда положение осложняется запрещением в данном городе упоминать имя Ильи Муромца, за что виновному грозит казнь.[6] Просьба милостыни без осложняющих подробностей есть и в других вариантах.

Мотив просьбы милостыни имелся в первоначальной редакции «Сказания», о чем свидетельствует сохранение его во всех трех вариантах последнего. В большинстве же вариантов былины про Илью и Идолище мотив просьбы милостыни осложнился ее запретом, и здесь переодетый Илья Муромец (герой) просит милостыню во имя Ильи Муромца. Для хода действия это осложнение — запрет милостыни — и его нарушение ничего не дает: в былине остается неясным, чем вызван этот запрет и почему его нарушение сходит Илье Муромцу с рук.

---

[1] Марк., № 43, стихи 97—112; Григ., III, № 355, стих 220; Марк., № 69, стихи 166—167.

[2] Кир., IV, № 5, стих 57; Григ., III, вар. Петроза из Дорогой Горы, № 323, стих 90; Аст., вар. Иванова из Б. Нисогор, № 47, стр. 333.

[3] Кир., IV, № 4, стихи 33 и 38; Рыб., № 118, стих 82; Гильф., № 48, стих 125 (вар. Н. Прохорова).

[4] Григ., I, № 90, стихи 16—17 (вар. Юдиной).

[5] Григ., III, № 418, стихи 140—142 (вар. Мартынова).

[6] Григ., III, 355, стихи 225—227 (вар. Рассолова).

Насколько органичен для «Сказания» и для былины мотив просьбы милостыни переодетым Ильей? Просьба милостыни объясняется каличьим платьем Ильи, проникнувшего в Царьград; в этом случае просьба милостыни логична; если же Царьград — татарский город, как считают исследователи, и переодевание Ильи каликой заменило другую ситуацию (например, переодевание Ильи в цветное платье вражеских цареградских богатырей), то просьба милостыни неорганична сюжету былины.

После просьбы милостыни в отдельных вариантах былины к Илье бросаются повара или другие лица с горящими головнями:

Хватил-то младшей повар гóловню,
Хотел убить калику перехожую;
Он признял свою клюку да подорожную,
Стегнул его да потихошеньку,
Оттял у ёго с плечь да буйну голову...[1]

В варианте Юдиной[2] этот эпизод изложен очень кратко, В варианте Рассолова поваров, не пускающих Илью, заменяют вообще слуги.[3]

Мотив встречи Ильи Муромца с поваром с головнями попадается в вариантах, записанных в Архангельской области. Соответствия этому эпизоду в «Сказании» нет.

Следующее осложнение в былинах, связанное с приходом Ильи в Царьград, — это его громкий крик и эффект, произведенный этим криком:

От того от каличьего голоса
Небо с землею потрясалися,
Белокаменны палаты пошаталися,
Во палатах столы сколыбалися,
На столах питья-кушанья поплескалися.
За столом князи—бояра все припáдали,
Поганое Одолище приужахнулось.[3]

Эффект, производимый громким криком героя, встречается и в других былинных сюжетах (например, «Илья Муромец и Соловей Разбойник»), и часть подробностей из вышеприведенного описания («князья-бояра припадали, Одолище приужахнулось») восходит к этому сюжету. Но одна подробность — «палаты пошатались, на столах питья-кушанья поплескалися» стойко удерживается в вариантах: у Калитиной с Кенозера, у Виссарионова с Выгозера и у Петрова с Дорогой Горы на Мезени.[5] В других

---

[1] Марк., № 69, стихи 168—172 (вариант Г. Л. Крюкова из Нижней Зимней Золотицы).

[2] Григ., I, № 90, стихи 26—27.

[3] Григ., III, № 355, стихи 218—227.

[4] Кир., IV, № 5, стихи 59—65.

[5] Гильф., № 233, стихи 152—154; № 186, стихи 103—104; Григ., III, № 323, стихи 76—79.

вариантах удерживается или упоминание о громком, зычном или громогласном крике Ильи Муромца (например, в варианте Дутикова из Кижей, Захарова с Водлозера, Пономарева из Верхней Зимней Золотицы, Иванова с Больших Нисогор на Мезени),[1] или описание эффекта от крика — шатания царских теремов, как у Н. Прохорова из Пудоги,[2] или же рассказа о шатании их без указания причин[3].

В отдельных случаях описан особый эффект, происходящий от крика Ильи, как в варианте Тр. Романова из Пудоги:

Маломощны дома рассыпались,
Маковки с церквей повалилися...[4]

В противоположность этому все варианты «Сказания» описывают, как киевские богатыри просят милостыню; «громким голосом» (барсовский вариант), «громко голосом» (буслаевский вариант) и «зычно вельми было слышать» (вариант ИМЛИТ).

Таким образом, эффекта от громкого крика героя ни «Сказание», ни древняя редакция былины, отраженная в «Сказании», еще не знали.

Один вариант удерживает любопытную подробность: с просьбой о милостыне Илья обращается к царице Белолюбихе — жене царя Любова (Константина Боголюбовича).[5]

Наконец, в ряде вариантов упоминается еще один эпизод. Илья Муромец по приходе в Царьград принимается царем в его горнице, иногда в потайном покое, и царь радуется. Потом уже Илья Муромец переходит в другой покой к Идолищу, который берет калику «на доспрос». При этом приказание царю Константину принять калику исходит от Идолища[6].

В варианте былины И. Захарова с Водлозера и Калитиной с Кенозера,[7] Илья Муромец просит царя Константина принять его, тот его принимает, выслушивает, но проводит в палату, где сидит Идолище.

«Сказание» излагает этот эпизод несколько иначе: слыша каличьи возгласы, царь Константин приказывает Тугарину позвать калик к себе в палату (где находится и его богатырь — Идол), чтобы расспросить у калик о киевских вестях. Отделяя царя Константина от Идолища и изображая царя «обнасилованным» последним, былины приписывают Идолищу распоряжение о приеме калики и допросе его, на долю же царя Константина отво-

---

[1] Гильф., № 144, стих 64; № 196, стих 64; Марк., № 92; Аст., № 47.
[2] Рыб., № 118, стихи 79—86.
[3] Кир., IV, № 4, стихи 29—30.
[4] Рыб., № 140, стихи 73—74.
[5] Марк., № 69, стихи 196—199.
[6] Гильф., № 48, стихи 141—155; Кир. IV, № 5, стихи 66—74.
[7] Гильф., № 196, стихи 65—78; № 232, стихи 155—168.

дят сочувственный прием переодетого Ильи, в котором царь Константин видит своего избавителя. Таким образом, «Сказание» дает более древнее изложение хода действия.

Как параллель к вышеотмеченной просьбе Ильи Муромца о милостыне у царицы Белолюбихи, обращает на себя внимание вариант Петрова из Дорогой Горы на Мезени,[1] в котором принимает и расспрашивает переодетого Илью княгиня Апраксея; она сообщает Илье о намерении Идолища взять замуж за себя ее — княгиню. То же излагается и в варианте Агр. Крюковой из Нижней Зимней Золотицы:[2]

Говорит-то ей ведь царь да таковы слова:
— Я уважу, Опраксеюшка, ешшё два денитька
Через два-то через дня как будёшь не княгиной ты,
Не княгиной будёшь жить, да всё царицою.

Другие варианты былины так рисуют отношения Идолища к Апраксее: Идолище сидит с Апраксеей за столом,[3] держит руки у княгини Апраксеи в пазухе[4] или сидит за столом между князём и княгиней и т. д.

В «Сказании», в эпизоде приема и допроса царем Константином и Идолом богатырей, царица Елена Александровна игнорируется. Таким образом, особый интерес княгини к приходу Ильи, его принятие и выспрашивание княгиней, а также сообщение о намерениях Идола взять княгиню замуж за себя есть позднейшее осложнение былины об Илье и Идолище.

Описание страшного вида Идолища (голова — как пивной котел, между глаз — пядь и т. д.) встречается далеко не во всех вариантах былины, вернее — в большинстве вариантов его нет, и именно в вариантах, которые можно (условно) отнести к лучшим. Оно встречается лишь в одном варианте «Сказания» (барсовском), и в «Сказании об Илье Муромце, Соловье-разбойнике и Идолище» по Забелинскому сборнику XVIII в., № 82[5].

Расспросы Идолища о внешнем виде Ильи и похвальба Идолища совпадают в былинах и «Сказании»; похвальба же Идолища своим обжорством и указание на то, сколько ест Илья, — есть только в былине; еще Ор. Миллер отмечал, что в «Сказании» совершенно не упоминается прожорливость Идолища. Этот мотив всегда встречается в былине об Алеше и Тугарине, в характеристике последнего, следовательно, и в былину об Илье и Идолище он попал из предыдущей, и тогда отсутствие в «Сказании» этого мотива объясняется не тем, что оно уже забыло

[1] Григ., III, № 323, стихи 81—103.
[2] Марк., № 43, стихи 65—68.
[3] Григ., III, № 355, стихи 176—177.
[4] Григ., III, № 418, стихи 137—138.
[5] Тих.-Милл., ч. I, стр. 23.

про прожорливость Идолища, а, наоборот, тем, что более древняя редакция песни еще не знала этого осложнения, относящегося к более позднему времени.

Сравнение рассказа о посещении Царьграда Ильей Муромцем, переодетым каликой, по «Сказанию» и по былинам позволяет установить, что позднейшие записи былин XIX—XX вв. отклоняются от «Сказания» и в былину привносятся следующие мотивы: 1) запрет просить милостыню во имя Ильи, 2) бросанье поваром головни в Илью, 3) громкий крик Ильи, от которого проливаются напитки, 4) предварительный прием Ильи царем — до разговора его с Идолом, 5) намерение Идола взять замуж за себя княгиню и отсрочка этого решения, 6) прожорливость Идолища.

По схеме Вс. Миллера былина об Илье и Идолище кончалась убиением Идолища. По «Сказанию» богатыри после победы над татарами возвращаются из Царьграда в Киев. Правильно ли мнение Вс. Миллера о таком конце былины?

В варианте Н. Прохорова из Пудоги после ответа Ильи на вопросы Идолища последний бросил в Илью ножом, но убил им татар. Тогда Илья клюкой убил Идолище, «хватал поганого за ноги» и перебил им татар.[1]

В варианте Щербакова из Каргопольской волости тоже упоминается расправа Ильи с татарами туловищем одного из татар и затем убиение Ильей Идолища.[2]

Трофим Романов из Пудоги описывает, как

...И взял Издолину за резвы ноги Илья Муромец,
И пошел на луга цареградские,
И зачал Издолиною помахивать...[3]

М. Д. Кривополенова из Шатогорки на Пинеге отводит событиям после убиения Идолища Ильей 42 стиха из 211. Здесь Илью заковывают в железо после убиения Идолища, но он

Приломал все залеза немецькие,
Он прырвал опутьни шолковые;
Он веть стал по силы тут похажывать,
Он веть стал веть силу поколачивать,
Он прыбил их всех до единого.[4]

Разница вариантов Кривополеновой и Н. Прохорова заключается в том, что, вместо убиения татар туловищем, в первом дается простое описание расправы с татарами, без указания какого-либо способа их избиения.

[1] Рыб., № 118, стихи 134—161.
[2] Тих.-Мил., ч. III, № 13, стихи 140—156.
[3] Рыб., № 140, стихи 122—124 и следующие, до 131.
[4] Григ., I, № 112, стихи 180—184.

Корсаков из Повенца отводит событиям, следующим за убиением Ильей Муромцем Идолища, 33 стиха из 106, правда, вставляя сюда эпизод, зашедший со стороны и подлежащий исключению,—поездку Ильи к королю литовскому. В его варианте об Илье Муромце говорится:

Он берет собе коня да богатырсково,
Во других-то берет собе палицу стопудовую,
В другу-то руку копье длинное.
Поехал он на рать но силушку великую,
На великую, на татарскую.
Стал-оо по силушки поскакивать,
Он прибил нунь всю силу-то великую.[1]

Расправа с татарами после убиения Идолища известна из ряда других вариантов — от Калинина из Повенца, Виссарионова с Выгозера, И. Захарова с Водлозера и Агр. Крюковой с Нижней Зимней Золотицы.[2] Описание расправы с татарами встречается во многих вариантах, причем оно сделано или без указания на применение Ильей каких-либо особых приемов в расправе, — как у Кривополеновой, Корсакова и Крюковой, — или с описанием способов расправы, перенесенных из других былин (побивание татар клюкой или туловищем), как в прочих вариантах.

Органичность мотива расправы с татарами в былине об Илье и Идолище после этого не вызывает сомнений, но в первоначальной былине расправа описывалась без указания на какие-либо особые приемы этой расправы.

После расправы с татарами (в варианте Н. Прохорова) царь Константин Боголюбович приглашает Илью Муромца остаться у него жить воеводой, затем награждает его золотом-серебром; Илья забирает подарки и

Пошел-то Ильюша назад домой,
Пришел он на уловное местечко.
А тут-то Иванище перетаскано,
Перетаскано Иванище, перетерзано
У того добра коня богатырского...
Надевал на ся платьица цветныи,
Взимал тут он к себе своего добра коня,
Садился тут Илья на добра коня... [3]

Следовательно, Илья вместе с платьем у калики отобрал и своего коня.

---

[1] Гильф., № 22, стихи 76—82.

[2] Гильф., № 4, стихи 131—137, № 186, стихи 175—180, № 196, стихи 118—128; Марк., № 43, стихи 215—219.

[3] Рыб., № 118, стихи 191—195, и Гильф., № 48, стихи 267—269.

В варианте М. Д. Кривополеновой Илья после расправы с татарами приходит

Ко тому калики перехожое.
Ишша тут жа калика перехожая...
И не можот он его конём владать,
А его коня в поводу водит.
Они платьём тут разминялисе...
А Илья поехал домой веть тут,
А калика пошёл, куды надобно.[1]

Вторичная встреча с каликою, обмен с ним платьем и возврат своего богатырского коня встречается еще у Г. Крюкова из Нижней Зимней Золотицы и у Иванова из Б. Нисогор на Мезени.[2] Следовательно, и этот мотив имел место в вариантах былины об Илье и Идолище. С точки же зрения развития действия в былине возвращение своего коня Ильей после убиения Идолища и расправы с татарами представляется ненужным.

Многие варианты отмечают, что после убиения Идолища и расправы с татарами Илья или уходит из Царьграда, чтобы встретиться с каликой и взять своего коня, или уезжает в Киев, или, наконец, уезжает в чисто поле домой;[3] можно считать, что расправой с татарами первоначальная песня об Илье и Идолище не кончалась.

В вариантах былин сохранились следы того, что в прошлом былина описывала награждение Ильи Муромца, имея целью его прославление. В варианте Калинина сообщается: «тут же Илье Муромцу да-е славу поют», в варианте Калитиной Илья Муромец «на славу приходил в славный Царь-от-град». В варианте Крюковой описывается, как Владимир-князь собирает пир в честь Ильи Муромца; вариант Аникиева кончается словами: «наградил его князь почестями великими».[4] Награждение Ильи Муромца отмечалось и в цитированных выше вариантах Н. Прохорова.[5] В варианте Корсакова Илья Муромец.

Приезжает-то ко князю ко Владимиру.
Сделали весельицо почестный пир,
Стали тут жить оны по прежному,
Ничего-то князь нунь не опасается.
Никого ли-то нунь не сумляется.[6]

---

[1] Григ., I, № 112, стихи 199—211.
[2] Марк., № 69, стихи 237—251; Аст. № 47, стр. 333.
[3] Марк., № 69, стихи 250—251; Рыб., № 87; Григ., I, № 112, стих 210; Гильф., № 22, стих 83.
[4] Гильф., № 4, стих 138; № 232, стих 207; Марк., № 43, стихи 223—224; Григ., III, № 349, стихи 185—186.
[5] Рыб., № 118 стихи 182—185.
[6] Гильф., № 22, стихи 83—87.

После этого Илья Муромец уезжает из Киева от Владимира (который заменил здесь царя Константина в Царьграде) и затем

Сделали оны да почестный пир,
На пиру-то вси напивалися,
На пиру-то вси похвалялися.
Говорит-то наш князь стольнё-киевской:
Вы верныи мои да служители!
Не съезжайте-ко вы со Киева,
А живите-тко вы да по старому...[1]

Вариант Корсакова дает любопытный ход действия — расправу Ильи с татарами, приезд в город к князю, где раньше было Идолище, чествование здесь на пиру Ильи, затем отъезд Ильи в другой город, где на пиру князь Владимир предлагает богатырям—*его служителям* не съезжать из Киева. Это — мотивы, известные по «Сказанию», с той только разницей, что предложение князя богатырям не выезжать из Киева в этом варианте дано в конце сюжета, а не в начале. Очевидно, награждение и прославление Ильи Муромца имелось в первичной редакции былины, что поддерживается и «Сказанием».

Наконец, мотив запрета князя богатырям выезжать из Киева, встреченный в варианте Корсакова, попадается и в других вариантах иных былинных сюжетов. Уже Веселовский отметил в подправленном варианте, записанном на Сузунском заводе, подобное обращение князя Владимира:

А я дам ему рать мою сильную...
А кто с ним нейдет, тот останется
Берегчи князя со княгинею.[2]

Вс. Миллер возражал против использования этого варианта; однако едва ли правильно отказываться от предположения, что в живой былинной традиции существовал мотив обращения князя Владимира к богатырям с предложением остаться в Киеве и беречь князя и княгиню.

В варианте былины Кривополеновой[3] про освобождение Киева от Калина есть любопытный эпизод, как на пиру у Владимира на вопрос Ильи Муромца донским казакам, кому ехать на силу неверную, последние отвечают:

Ты останьсе в Киеви во городи
Стерекци-сберкци кнезя Владимера.
Гаварил как тут да Илья Муровиць:
Тут не цесть-хвала молодёцька жа,

[1] Гильф., № 22, стихи 100—106.
[2] Кир., I, № 3, стихи 10, 12—13.
[3] Григ., I, № 111, стихи 184—190 и 197—198.

Ой не выслуга богатырска жа —
Как Илейки в Киеви остатисе:
Будут малы робя́та все смеятисе...»
Он троима тут поезжжаёт веть
Он на ту на силу неверную.

Сохранение Кривополеновой этого мотива в былине про Калина при наличии в ее репертуаре и былины об Илье и Идолище (откуда этот мотив мог перейти в былину о Калине, где он не у места) подтверждает, что былины знали мотив запрета богатырям выезжать из Киева. При этом в варианте Кривополеновой этот запрет поставлен в начале былины — до битвы богатырей с татарами, а не в конце, как у Корсакова (где он, очевидно, заменил обращение Владимира другого содержания). В кривополеновском варианте былины про Калина Илья затем уезжает с Добрыней и Торопом на битву с татарами.

В результате анализа вариантов заключительной части былины об Илье и Идолище нужно отметить, что в них имеются следующие мотивы: 1) отъезд Ильи из Царьграда (в Киев, домой, в чистое поле), 2) награждение князем Ильи и прославление его за убиение Идолища, 3) расправа с татарами, 4) вторичная встреча Ильи с каликой, обратный размен платьем и получение коня.

В заключительной части «Сказания» встречаются лишь первые три мотива. В вариантах былины эти мотивы приурочиваются к одному Илье, в «Сказании» — к группе богатырей. Таким образом, предположение Вс. Миллера о том, что былина об Илье и Идолище оканчивалась убиением Идолища, оказывается ошибочным. Напротив, многие варианты сохранили отзвуки дальнейшего хода действия о возвращении Ильи из Царьграда и его награждении, а это позволяет считать, что третья часть «Сказания» не присочинена книжником, слагателем «Сказания», а изложена на основе былины.

Обращаемся к вступительной части былины.

Во многих вариантах былины об Илье и Идолище рассказ начинается не со встречи Ильи с каликой, а гораздо раньше. Четыре варианта начинают рассказ с описания путешествия калики в Иерусалим.[1] В восьми вариантах к началу былины присоединяется приключение Ильи с голями в Киеве или Царьграде, которое кончается уходом в Царьград из Киева Ильи Муромца, недовольного князем.[2] Наконец, в третьей группе рассказывается о подступе под Киев врага—Идолища с татарским войском.[3]

---

[1] Рыб., № 118 = Гильф., № 48 (от Прохорова); Тих.-Мил., ч. II, № 13 (от Щербакова); Кир., IV, № 5.

[2] Гильф., № 220; Рыб., №№ 175, 232, 245, 140; Онч., № 20; Аст., № 78; Григ., III, № 355.

[3] Кир., IV, № 4; Гильф., №№ 4. 22. 144, Рыб., №№ 62, 186, 196, Григ., I, № 112, и III, № 323, Марк., № 43.

Вариант Калинина описывает поход Идолища с войском:

Убоялся наш Владимир стольне-киевской
Что ль татарина да он было поганого,
Что ль Идолища да он было великого,
Не случилоси да у Владимира
Дома русьских могучих богатырей,—
Уехали богатыри в чисто поле.[1]

Этот вариант содержит два мотива — страх князя перед Идолищем и отъезд богатырей от князя.

В варианте Корсакова рассказывается, как Владимир по приходе Идолища вызывает Илью «повесткой» к себе в Киев на боище.[2]

В варианте Батова-Виссарионова после прихода Идолища Владимир угощает богатыря Василия пупьянсливого, который уходит из Киева и затем встречает Илью Муромца.[3]

В варианте Рябинина по приезде Идолища в Киев-град

Тут Владимир князь ужахнулся,
Приужахнулся, да и закручинился.

Тем не менее Илья берется убить Идолище. Описание сборов и путешествия Ильи в варианте Рябинина показывает, что он пошел из Киева, встретил калику, у которого отнял клюку, и пришел к Идолищу.[4] И здесь налицо страх Владимира и уход Ильи из Киева.

Вариант Крюковой начинается с изгнания князем Ильи Муромца из Киева,[5] ухода Ильи к отцу — матери и подступа Идолища к Киеву.

В кривополеновском варианте расказывается, как в Киев пришла весть о захвате Царьграда Идолищем и как Илья Муромец уезжает из Киева на помощь «обнасилованному» Идолищем царю Константину.[6]

Вариант Н. Прохорова, начинающийся с описания путешествия калики в Иерусалим, рассказывает, как калика узнал от пойманного татарина об «обнасиловании» Царьграда Идолищем и сообщил об этом Илье Муромцу.[7] Таким образом, различно комбинируя материал, привлекая всяческие подробности из различных сюжетов, варианты былины все же дают во вступлении такие общие мотивы: 1) получение вести, что Идолище овладел

[1] Гильф., № 4, стихи 16—21.
[2] Гильф., № 22, стихи 28—31.
[3] Гильф., № 186, стихи 25—42.
[4] Рыб., 6, стихи 15—16.
[5] Марк., № 43, стихи 1—17.
[6] Григ., I, № 112, стихи 16—57.
[7] Рыб., № 118, стихи 23—38.

Царьградом, 2) страх Владимира, 3) недовольство Ильи князем 4) удаление или уход Ильи Муромца из Киева.

Сличение былины со «Сказанием» показывает, что получение вестей из Царьграда, недовольство богатырей князем и удаление их из Киева имеют место и здесь, но 1) содержание полученной вести различно, — в «Сказании» князь узнает о намерении цареградских богатырей итти на Киев, в былинах приходит весть о захвате Царьграда Идолищем и 2) былины сообщают о страхе князя, чего нет в «Сказании», хотя только страхом можно объяснить запрет князя богатырям отлучаться из Киева.

Можно предполагать, что слагатель первоначальной редакции «Сказания» опустил содержавшееся в современной редакции былины описание страха князя Владимира, так как этот мотив не соответствовал его тенденции возвеличения князя. С другой стороны, весть о намерении врагов напасть на Киев, как рассказывалось в первоначальной редакции былины, заменилась в порядке устной ее передачи сообщением об овладении врагами Царьградом, что мы находим в записях былины об Илье и Идолище XIX—XX вв. Хотя в вариантах былины записей XIX—XX вв. в начале и не содержится обращения князя к Илье Муромцу, вызвавшего недовольство и уход последнего в Царьград, тогда как в «Сказании» этот мотив имеется, однако предложение князя Илье беречь его вотчины имеется в варианте Корсакова в конце былины, а также и в других сюжетах (в начале повествования), куда оно могло попасть, очевидно, только из вступления анализируемой былины.

Анализ вариантов показал, что былина об Илье и Идолище прежде включала в себя не только центральное ядро, сохраненное большинством записей XIX—XX вв. и сводящееся к встрече Ильи Муромца с каликой, приходу Ильи в Царьград, разговору его с Идолищем и убиению последнего (как это наметил в своей схеме Вс. Миллер), но равным образом и вступление, с рассказом об уходе из Киева Ильи, недовольного запретом князя отлучаться, а также — в центральной части былины — и описание расправы с татарами. В былине имелось также и заключение, в котором сообщалось об отъезде Ильи из Царьграда, его награждении и прославлении.

Остаются следующие мотивы, не получившие объяснения при анализе вариантов былины и в то же время не встречающиеся (кроме одного) в «Сказании»:

А. В эпизоде встречи с каликами:

1) передача калике коня.

Б. В эпизоде посещения Ильей Муромцем Царьграда:

2) запрет просить милостыню во имя Ильи;

3) бросанье поваром головни в Илью;

4) эффект, произведенный громким криком Ильи;

5) тайный прием царем Константином Ильи Муромца;

6) намерение врага взять за себя замуж княгиню и отсрочка этого решения.

7) страшный вид Идолища: этот мотив встречается в барсовском варианте «Сказания».

В. В заключительной части:

8) вторичная встреча Ильи с каликой и возврат им платья и коня Илье Муромцу.

Все эти мотивы встречаются в повести о Бове-королевиче и появились в былине, вероятно, в результате воздействия этой повести на былину. Ближе всего к былине они читаются в третьей народной редакции повести о Бове типа рукописи Ленинградской Публичной Библиотеки XVII Q 27. Эти мотивы встречаются не только в великорусских текстах повести о Бове, но равным образом в большем их числе в ее прототипе — белорусской рукописи Познанской библиотеки, опубликованной Веселовским, а также в итальянской поэме о «Buovo d'Antona» и французских поэмах (chansons de geste о Bueves d'Hanston).—Таким образом, обратное предположение — о возможности появления этих мотивов в повести о Бове под воздействием былин — исключается.

VI

Совпадение схемы сюжета былины и «Сказания» приводит к выводу, что в основе «Сказания» о хождении киевских богатырей в Царьград лежала былина о борьбе Ильи и Идолища в своем первоначальном виде, т. е. когда она еще не осложнилась мотивами, перешедшими сюда из повести о Бове, и когда еще не были забыты вступительная и заключительная ее части. Из этого вытекает задача выяснить, что нового ввело по сравнению с былиной «Сказание» или, другими словами, как перерабатывал былину книжник, слагатель первоначальной редакции «Сказания», и какова была дальнейшая судьба «Сказания».

Анализ былины показал, что ранее былина рассказывала про поездку и встречу с каликой не одного Ильи Муромца, а нескольких богатырей, и в то же время в центральной части былины — в разговоре Ильи и Идолища — речь идет о поездке только одного Ильи. В «Сказании» на протяжении всего сюжета выступают все семь богатырей.

Однако неестественность хода действия в «Сказании» не вызывает сомнения: разведку — проникновение тайком в чужой город — легче провести одному человеку, чем группе. Поэтому логичнее предположить, что в стан врага в целях разведки проникает один из богатырей — храбрейший, т. е. оставить для центрального эпизода сюжета тот ход действия, который сохранила былина. Но зато начало «Сказания» и расправа с татарами тре-

буют участия всей группы богатырей; в этом отношении можно полагаться на «Сказание», — тем более, что в сохранившихся в живой былинной традиции остатках этих эпизодов упоминается об участии в крайних частях былины нескольких богатырей.

Требует анализа и встреча богатырей с каликами и обмен платьем в «Сказании», и параллельно встреча Ильи с сильным Иванищем и размен с ним платьем (иногда отнятие платья) — в былине. Кто эти встречные в «Сказании» калики или переодетые цареградские богатыри, как гласит текст барсовского варианта? Почему киевские богатыри (или — в былине — один Илья Муромец) переодеваются каликами? Уже конструкция фразы вариантов буслаевского и ИМЛИТ в данном месте («идут встречю 12 человек, а на них платья количьное» — в варианте ИМЛИТ вместо «идут 12 человек цареградцких богатырей, а на них платье калицкое» в барсовском варианте) доказывала наличие в них пропуска после слов «12 человек», и, следовательно, первоначальность текста в этом случае барсовского варианта (вопреки мнению Веселовского, считавшего слова «цареградцких богатырей» в последнем обмолвкой).[1] Дорогая одежда этих «калик» — платье из скарлата и венецкой камки — свидетельствовали, что встречные не были каликами, что подтверждается и их сопротивлением сильному богатырю Алеше Поповичу, чего от старцев-калик ожидать было бы трудно. Если бы они были каликами, они с каличьим платьем охотно бы расстались и променяли бы его на лучшее, богатырское. Это были цареградские богатыри, которые, очевидно, шли на Русь с той же целью, с какой шел Илья Муромец с товарищами в Царьград, — в качестве разведчиков. И далее: если Царьград — вражеский татарский город, то попасть в него киевским богатырям в качестве лазутчиков было бы легче в платье цареградских богатырей, чем в каличьем платье. По былине калика одет в гуню сарацынскую и богатое цветное платье, но в то же время он называется каликой; он уступает Илье Муромцу, но отказывается дать платье другим русским богатырям; варианты былин записи XIX—XX вв. сохранили ряд черт, свидетельствующих о богатстве одежды калики, что не согласуется с его профессией, а равно и следы сопротивления калики даже Илье Муромцу.

Нельзя ли здесь для первоначальной редакции былины предположить иную ситуацию: Илья Муромец с товарищами направлялись в разведку против татарского города (Царьграда), и навстречу им двигалась группа цареградских богатырей, которые, чтобы проникнуть в Киев и вотчины киевского князя, переоделись каликами, в каком виде им было гораздо легче остаться незамеченными именно в православном Киеве. При встрече с киев-

[1] Веселовский. Южнорусские былины, X, СПб., 1884, стр. 352.

скими богатырями они были разоблачены и оказали сопротивление, причем Илье Муромцу для проникновения в татарский город нужно было не их каличье платье, надетое ими сверху, а именно их цветная татарская одежда, в которой легче войти в столицу татарской страны.

Такое предположение объясняет, почему в барсовском варианте «Сказания» под каликами скрываются цареградские богатыри. С другой стороны, в дальнейшем в былинах встречный сохраняет двойственный вид — калика по одежде, но в то же время сильный Иванище, который иногда в вариантах подменяется другим богатырем. Превращение цареградских богатырей в калик — дело рук книжников, слагателя и переписчиков «Сказания» и целого ряда передатчиков былин. Этот процесс протекал и в «Сказании», и в былинах параллельно; в «Сказании» тенденция замены встречных каликами естественно вытекала из почтительного отношения к царю Константину и Царьграду, постоянной цели паломничества [1]. Наконец, если «Сказание» помещает в Царьграде в качестве царя благоверного Константина, являющегося патроном вражеского богатыря Идола Скоропита, неестественность чего учеными уже отмечалась,—то былины этот вражеский город называют тоже Царьградом, именуя царем последнего иногда Константина (Василия) Боголюбовича, а иногда, используя иные басурманские имена,—Константина Атаульевича [2] или Шамшурина Константиновича.[3]

Таким образом, в XX в. былины сохранили глухие указания на вражескую сущность благоверного царя Константина, которых «Сказание» не знает.

Анализ языка «Сказания» привел к выводу, что посылка богатырями в Киев дворянина Залешенина с просьбой о допуске их к князю, описанная во всех вариантах книжным языком, является привнесением слагателя первоначальной редакции «Сказания», поскольку в вариантах былины этот эпизод не встречается. «Сказание» повествует о приезде в Киев к князю всех богатырей и о награждении их всех князем, в то время как отдельные варианты былины сообщают о поездке к князю после расправы с бо-

[1] Размен платьем, отнятие его у врага — необходимая составная часть сюжета былины — является ярким мотивом; подобный же мотив встречался и в «Сказании о Бове» (в белорусском тексте Бова отбирал у богоработника-пилигрима «роздраны шаты», мотивируя это тем, что он не мог «увойти у город Момбрад... в цудных шатах»), что привело к сближению былины и повести о Бове, а затем и к воздействию последней на былину, хотя это сходство ситуации было внешним (Бова спешил переодетым проникнуть в город короля Маркобруна, своего соперника, чтобы избавить Дружневну от выхода замуж за последнего, а Илья Муромец хочет проникнуть во вражеский город в качестве лазутчика).

[2] Григ., I, № 112, вариант Кривополеновой.

[3] Мил., № 4, вариант Кулдаря.

гатырями только одного. Ильи. Нужно предположить, что основная былина сообщала о поездке в Киев после расправы с татарами с вестью о победе только Ильи Муромца, после чего князь награждал всех богатырей и прославлял Илью Муромца, храбрейшего из них, и прочих богатырей, участников подвига. Эта ситуация была затем переработана, во-первых, в эпизод «Сказания», где целью предварительной поездки одного богатыря являлось получение согласия князя на приезд к нему других богатырей и затем кратко сообщалось о приезде прочих, и, во-вторых, в эпизод былины, где к князю вообще возвращается один богатырь Илья Муромец. После этого анализа первоначальная схема былины принимает следующий вид:

I. Князь Владимир Киевский объявляет богатырям с Ильей Муромцем во главе о готовящемся нападении цареградских богатырей (чего он боится), предлагая им не отлучаться из Киева и беречь его вотчины. Недовольные богатыри уезжают из Киева и решаются сами напасть на врагов.

II. Киевские богатыри встречаются с группой цареградских богатырей, переодетых каликами, которые направляются с разведкой в Киев. После столкновения киевские богатыри узнают вести о вражеском городе (Царьграде), отнимают цветное татарское платье встречных, и Илья Муромец, переодевшись в него, проникает в Царьград. Здесь его расспрашивают Идолище и царь (Константин). Дав им некоторые сведения, Илья после столкновения уезжает из города, и после этого под городом происходит битва, в которой Илья Муромец и другие киевские богатыри побеждают царьградских богатырей и татарское войско. Идолище взято в плен. Киевские богатыри приезжают в Царьград в качестве победителей.

III. Киевские богатыри посылают об этом весть князю через Илью Муромца. Князь награждает богатырей и затем прославляет их за то, что они в небольшом числе победили большое число царьградских богатырей и все татарское войско. Илья Муромец уезжает в чистое поле.

В этом виде основная былина предстает перед нами как песня славы киевским богатырям за их победу над татарами, и их прославление вкладывается в уста самому князю. В этом заключалась тонкая ирония по адресу грозного князя, у которого «вотчины во всех ордах» и который предложил беречь его вотчины от нападения врагов, а затем наградил и прославил богатырей за нарушение своего запрета. В этом виде былина является памфлетом на киевского князя, противопоставляя ему его «служителей» — богатырей, совершающих подвиг.

Вопрос о памфлетическом характере былин был выдвинут четверть века назад С. К. Шамбинаго в его книге «Песни-памфлеты XVI века», где он обосновал этот тезис острой полити-

ческой борьбой, кипевшей в XVI в. в Московии.[1] Позднейшие работы по фольклору в разделе о былинах упоминали об отражении в былинах «борьбы социальных групп и политических групп», правда, «внутри высших классов».[2] Между тем уже Веселовский выставил положение, что в основе эпических песен лежат лирико-эпические песни — кантилены, которые «там и здесь попеременно пели о победах и поражениях, выводили на сцену, в освещении хвалы, порицания или страха одни и те же имена витязей, вождей».[3] «Разумеется, в следующих поколениях эти песни не могли вызвать тех жгучих эффектов горя и ликования, как в ту пору, когда они выживались, а их лирические партии могли оттеняться слабее».[4]

Изучение высказываний Маркса и Энгельса и приводимых ими примеров[5] показывает, что песня является могучим политическим орудием, и не только песня-гимн (на манер марсельезы для XVIII—XIX вв. или протестантской «Eine feste Burg ist unser Gott» для XVI в.), но равным образом песня юмористического и памфлетического характера (датская песня о тидмане, песня парижан про Александра I и т. д.). Отсюда можно считать, что лирическим элементом былины могли явиться или прославление героя или памфлет по адресу его противников.

Былина об Илье и Идолище в содержании, изложенном выше, до нас не дошла; еще в первой четверти XVII в. она осложнилась включением в ее первоначальный состав мотивов из повести о Бове-королевиче. Но первоначальная редакция «Сказания о хождении киевских богатырей в Царьград» была основана на былине, еще не осложненной мотивами из повести о Бове-королевиче. Ко времени же второй переработки первоначальной редакции книжником (в результате чего образовался барсовский вариант)—в былину о борьбе Ильи и Идолища был уже внесен ряд мотивов из третьей народной редакции повести о Бове-королевиче.

При восстановлении схемы первоначальной былины выше предположено, что Идолище при расправе с татарами был не убит, а взят в плен: Илья Муромец привозит его к князю Владимиру. Такой ход событий мог измениться в порядке передачи былины: под воздействием других сюжетов, повествовавших

---

[1] Песни-памфлеты XVI в., стр. 22—24 (во вступительном очерке).

[2] Б. Соколов. Русский фольклор, вып. 1, М., 1929; стр. 48—49.

[3] Веселовский. Три главы из исторической поэтики. Собр. соч., т. I, СПб., 1913, стр. 320.

[4] Там же, стр. 320—321.

[5] Маркс и Энгельс. Соч., т. III, стр. 15, т. VII, стр. 378; т. IX, стр. 480 т. XV, стр. 614—618; т. XXII — стр. 322, 110, 111, 123; т. XXIII, стр. 231, т. XXVI, стр. 80; т. XXVII, стр. 467—468.

об убиении татарского царя-врага, появился мотив убиения Идолища. «Сказание» подтверждает для первоначальной былины ход событий, намеченный выше.

Анализ вариантов былины не дает возможности прикрепить к ее первоначальной редакции какое-либо из общих мест — ярких описаний, сохранившихся в последующей жизни былины в наименее измененном виде. Отсюда напрашивается вывод, что первоначальная песня при удачном замысле и хорошо построенной композиции отличалась бледностью выполнения, отсутствием образов и удачных, легко запоминающихся формул, а равно невыразительным языком, — словом, ее поэтическая ценность была невелика. Это объясняет: 1) почему былина об Илье и Идолище рано начала хиреть, забываться и только при заимствовании ряда мотивов из повести о Бове-королевиче могла продолжать жить в несколько измененном виде, 2) почему лучшие сказители совсем ее не знают и 3) почему уже в XVIII в. она превратилась в отдельный эпизод, включавшийся в другую былину, или, если она и оставалась самостоятельной, то теряла вступление и заключение и замещала их эпизодами из других былин. Предположение о бледности языка первоначальной былины, с другой стороны, позволяет понять, почему составленная на ее основе первоначальная редакция «Сказания» — краткий его вид, типа вариантов буслаевского и ИМЛИТ, — не сохранила красочных песенных описаний.

Переделка былины об Илье и Идолище в «Сказание» была произведена книжником, который видел в ней подходящий литературный материал, не удовлетворявший его, однако, ни простотой изложения, ни основными идеями, вложенными в былину. Из других былин он позаимствовал и внес в «Сказание» только имена богатырей.

Переделка былины выразилась в устранении из ее сюжета того, что бросало тень на князя (например, во вступлении — страха князя перед ожидаемым нападением цареградских богатырей), и в изменении отношений князя и богатырей путем усиления почтительности к князю в словах и действиях богатырей, придания их действиям холопского характера; слова князя были изложены языком московских грамот — конструкцией «условно-повелительной» формы. Однако книжник не смог переделать сюжетную схему, почему выражения почтительности к князю в языке контрастируют с ходом действия, где князь прославляет богатырей за нарушение своего запрета.

Почтительное отношение к княжеской власти вызвало и соответственное изменение отношения богатырей к царю татарского города Царьграда — Константину и царице Елене, которое книжником было сделано тоже почтительным, что не вяжется с отношением к врагу.

Вторым элементом, привнесенным книжником, была попытка трактовать победу Ильи Муромца над цареградскими богатырями, как возмездие за похвальбу последних.

Далее слагатель сказания ввел новые персонажи (Тугарин и его мать), что привело к осложнениям в ходе действия; каждому из богатырей, кроме Ильи, он отвел соответствующую роль; заставил проникнуть в Царьград в качестве разведчика и ехать к князю после расправы с татарами не одного Илью Муромца, а всех семерых богатырей. Если в былине прочие богатыри являлись фоном для выдвижения Ильи Муромца, то книжник изменил трактовку событий, отразив это в заглавии: «Сказание о киевских богатырех» (вариант ИМЛИТ). Равным образом он внес в «Сказание» эпизод с осмотром и отнятием лошадей цареградских богатырей киевскими богатырями. Пленение обоих цареградских богатырей — Идола и Тугарина — явилось следствием того, что в «Сказании» они выступали оба одновременно. Изображение Алеши Поповича в непривлекательном виде было тоже делом рук книжника, как равно и рассказ про посылку дворянина Залешенина к князю за разрешением богатырям приехать в Киев, а также и просьба Ильи Муромца об отпуске Тугарина на волю.

О первоначальном виде «Сказания» более близкое представление дают варианты буслаевский и ИМЛИТ, хотя и они тоже ввели небольшие дополнения по сравнению с первоначальной редакцией «Сказания»: в буслаевском варианте — былинное описание пира у князя и похвальба Идолища раздавить Илью на ладони, слова богатырей, сказанные Тугарину при отпуске его на свободу и обращение дворянина Залешенина к князю; в варианте ИМЛИТ — кое-какие изменения в мелочах и изображение битвы с татарами книжной формулой, не известной другим вариантам («дело делати ратное»).

Барсовский вариант является вторичной капитальной переработкой «Сказания», произведенной рукой книжника, знающего повествовательную литературу Московской Руси. Он ввел в «Сказание»: 1) былинные формулы для седлания коня, описания цветного платья калик, описания страшного вида Идолища и т. д.; 2) заимствования из литературных источников в речах цареградских богатырей перед битвой — Тугарина Змеевича («ли ся храбрость наша преложися на тихость») и Идолища («сердце ся у меня ужаснуло, трепещется, и голова вкруг обходит»); 3) доработку характеристики Ильи Муромца путем подчеркивания его религиозности; 4) усиление отрицательной характеристики Алеши Поповича вставкой мотивировки его просьбы («Хочю себе похвалу доспети... и дошла б наша похвала до князя Владимера»); 5) усиление книжного элемента в стиле московских приказов для передачи обращений к богатырям самого князя и

речей богатырей к нему в начале и в конце «Сказания»; 6) внесение ряда мелких добавлений, например, обращение Ильи к другим богатырям после отъезда из Киева, расспросы царя Константина о внешнем виде киевских богатырей, оправдания Алеши в своей вспышке в Царьграде, разговор о лошадях богатырей с царем и богатырей между собой и т. д.

Однако этот последний книжник, перерабатывая первоначальную редакцию «Сказания», не понял ее идеи, вложенной слагателем первоначальной редакции, — попытки осмыслить поражение цареградских богатырей как возмездие за их похвальбу. Поэтому он ввел в «Сказание»: 1) похвальбу богатырей в ответ на обращение князя в начале былины («тебе, государю, славу великую учиним и себя, государь, в честь введем и всему твоему государству похвалу великую учиним и многия орды остртим»), 2) похвальбу Алеши («богатырское сердце нестрепчиво хочет последнюю орду побити, похвалу доспеть»), и 3) похвальбу князя своими богатырями («ой, естя мои князи и богатыря! Цареграцких богатырей было 42, а с ними было татар людей много, не рать ли в поле была? а моих богатырей толко 7 было»). Всех этих эпизодов похвальбы в вариантах буслаевском и ИМЛИТ нет.

Первое указание на время переработки былины в «Сказание» дает наименование цареградских лошадей «шкапами», — польским словом, обозначающим кляч. Нельзя ли предположить, что это слово стало понятным для Московской Руси со времени польской интервенции начала XVII века? Тогда «Сказание» может быть понято как рассказ о славных наступательных действиях русских богатырей недавнего прошлого (каких — будет видно ниже), который предлагается книжником в годы бедствия и смуты в Московском государстве с патриотической целью дать назидательное чтение о подвигах русских.

VII

Если литературная история «Сказания» о хождении киевских богатырей в Царьград, основанная на изучении и анализе вариантов, приводит к правдоподобным научным выводам; если анализ вариантов былины о борьбе Ильи и Идолища с учетом данных, получаемых от изучения «Сказания», позволяет нам построить вполне вероятную схему первоначальной редакции этой былины и тем самым наметить исходные данные для сложения «Сказания», — то приурочение былины, лежащей в его основе, и тем самым самого «Сказания» к тому или иному событию может пока носить только гипотетический характер. Тем не менее эти гипотезы необходимы для уяснения всей обстановки и условий создания изучаемых произведений.

Какое событие нашло отражение в былине об Илье и Идолище, а вместе с тем и в «Сказании» о хождении киевских богатырей в Царьград?

Вс. Миллер установил, что тема «Сказания» — успешное наступление на татар — не могло возникнуть раньше 1552 г., времени взятия Иваном Грозным Казани. Темой и былины и «Сказания» является наступательный поход на татарский город, который находился за пределами сухопутной границы Московской Руси. Этот поход был предпринят небольшой группой русских и увенчался их блестящей победой над многочисленным татарским войском и пленением главного богатыря.

Из анализа песни и «Сказания» выяснилось, что этот поход был предпринят 1) вопреки запрету князем наступательных действий и 2) группой богатырей, которые не привыкли сидеть за стенами городов, а чувствовали себя хорошо на конях в чистом поле.

Между 1552 (годом покорения Казани) и 1642 гг. (пометой на рукописи «Сказания» по барсовскому варианту) известен только один такой наступательный поход небольшой группы за границы Московского государства, увенчавшийся победой и пленением главного богатыря противника. Это — покорение Сибири, осуществленное казаками под предводительством Ермака в 1582 г.

От былины, как художественного произведения, нельзя требовать объективного изложения хода событий: былина, как всякая песня, освещает события в связи с той идеей, которую проводит автор. Отсюда свидетельства исторических документов — летописей, грамот, рассказов современников и т. п. — важны как материал для характеристики возможных отношений к событию и как средство для установления исторического фона, на котором это событие развертывалось.

Почему покорение Сибири Ермаком могло вызвать отрицательное отношение к князю в былине?

Царствование Ивана Грозного, ознаменовавшееся покорением Казани и Астрахани и удачной войной в Ливонии, в 70-х гг. омрачается неудачами: в 1578—1582 гг. идет неудачная для Москвы война с Польшей, королем который был Стефан Баторий. Отвергнув мирные предложения Грозного, Баторий потребовал передачи ему Ливонии, Пскова, Новгорода и Северских земель, овладел рядом русских западных городов. Затем он в 1581 г. безуспешно осаждал Псков; в том же 1581 году шведы тоже напали на Прибалтику. Иван Грозный в 1579 г. стоял в Новгороде и Пскове с большим войском, но отправлял к Баторию послов с мирными предложениями, не предпринимая ничего против поляков. В 1580 г. русские послы Сицкий и Пивов, по приказу Грозного, сопровождали Батория, делая ему новые уступки; за-

тем Грозный отправил послами думных дворян — Пушкина и Писемского, велев им быть смиренными в переговорах и даже терпеть побои; они переносили унижения и были выгнаны из польского ратного стана. Бранное письмо Батория молча было выслушано Грозным, приказавшим кланяться королю. После начала войны со Швецией Иван Грозный для заключения мира с Польшей обратился к посредничеству римского папы. В конце 1581 г. к Стефану Баторию были вновь отправлены послами князь Елецкий и печатник Олсуфьев для обязательного заключения мира. По перемирию, заключенному в начале 1582 г., Польше была отдана Ливония, Полоцк и Велиж.[1] Война создала тягостное настроение, неблагоприятное для Грозного. Вот исторический фон, на котором выделяется покорение Сибири и который мог дать основание для иронического отношения к князю, боявшемуся врагов.

Покорение Сибири изображается в летописях различно. Есиповская летопись представляет это событие в качестве предприятия самих казаков, а правительственные документы более позднего времени приписывают покорение Сибири заботе московского правительства. Так, в наказе, данном князю Туренину и дьяку Голеницеву о встрече посла римского императора Рудольфа II, пишется: «Сибирское царство искони вечная вотчина государей наших... и не в дальних летех... дани давать не почали, и государя нашего отец... посылал на Сибирь воевод своих и волских казаков».[2] Наконец, Строгановская летопись рассматривает покорение Сибири как дело рук купцов Строгановых.

В дальнейшем в основу изложения берется Строгановская летопись, как построенная на основе документальных данных — царских грамот.

Голландский купец Исаак Масса и голландский путешественник Витзен приписывают покорение Сибири Строгановым.[3] Новейший исследователь сибирской истории С. В. Бахрушин считает покорение Сибири предприятием Строгановых, сольвычегодских промышленников, распространивших свою хозяйственную деятельность на Камское Усолье еще в 50-х гг. XVI в. и в поисках соляного промысла разведывавших земли к востоку от Камы. «Захват пути в Сибирь по Чусовой был произведен исключительно благодаря частной предприимчивости «промыслом и подмогою» «честных людей» Строгановых». Москва предоставила им «места пустые» и льготы, разрешая привлекать ко-

[1] Карамзин, Ист. госуд. Рос., изд. Евдокимова, Спб., 1892, т. IX, стр. 177—221.

[2] Вельяминов-Зернов. Исследование о Касимовских царях и царевичах, т. III, отд. XIII, стр. 48; ср. наказ послам Бориса Годунова к Елизавете Английской (Сб. Истор. общ., т. XXXVIII, стр. 296).

[3] Сибирский сборн., 1887, стр. 105—110.

лонистов с освобождением последних от податей, передав в руки Строгановых суд и допустив свободный торг. Таким образом, «правительство, не будучи в состоянии своими силами колонизовать далекую окраину, оказывало поддержку частной предприимчивости».[1] Строгановы с 1574 г. торопятся обеспечить за собой путь в Сибирь и обосноваться в Сибирской стороне.

С. В. Бахрушин отмечает, что продвижение Строгановых на Восток натолкнулось на встречное наступление сибирских татар при хане Кучуме, стремившемся распространить свою власть за Урал. В 1564 г. Григорий Строганов пишет, что «слух его дошел... хвалится деи сибирской салтан и шибаны итти в Пермь войной».[2] В 1573 г. Махмет-Кул, родственник Кучума, громил русских данников-остяков на Чусовой и не дошел до Строгановских городков всего пять верст. Карамзин изображает этот поход как разведку Кучума о мероприятиях Строгановых.[3] В 1580 г. на владения Строгановых нападал мурза Бекбелий Агтаков и в 1581 г. на Кайгород и на Чердынь нападал вогульский пелымский князь, — не без помощи Кучума.[4] Предвидя это, Иван Грозный разрешил Строгановым уже грамотой 1558 г. строить укрепленные острожки, вооруженные артиллерией и огнестрельным оружием, и они строят сначала г. Канкор, потом Каргедан и Чусовские городки.

Интерес к открытию и захвату Сибири вызван был установлением постоянных торговых сношений с Западом (после открытия в 1553 г. англичанами морского пути в Москву через Архангельск) и с Востоком (Персия, Шемаха, Бухара, Хива) и истощением запасов пушного зверя в европейской части Московии.[5]

В ответ на жалобу Строгановых о нападениях на их земли Грозный в грамоте от 30 мая 7082 (1574 г.) писал им: «И как к вам ся наша грамота придет, а которые будут охочие люди похотят итти в Оникеевы слободы... и те б люди в Оникеевы слободы шли и с ними против чусовских вогулич стояли, острогов и деревень и починков от их войны оберегали».[6] Строгановы на основе этого в 1579 г. приглашают на службу 540 казаков с пятью атаманами — Ермаком Тимофеевым и другими.

Экспедиция Ермака, отправленная 1 сентября 7090 г. (1581 г.) для завоевания Сибири, была частным делом Строгановых, которые взяли на себя все расходы по ее снаряжению, а также

---

[1] Бахрушин. Очерки по колонизации Сибири, М., 1928, стр. 92 и 100.
[2] Там же, стр. 95.
[3] Карамзин, ИГР, т. IX, стр. 237.
[4] Бахрушин, там же, стр. 95.
[5] Бахрушин, там же, стр. 147—148.
[6] Арх. мин. ин. дел. Строган. дела, XXIV, № 5: см. Бахрушин, там же, стр. 96—97.

обеспечение ее «всякими заводы и запасы». Московское правительство смотрело на нее как на экспедицию, предпринятую Строгановым с целью обогащения.[1] Однако 1 же сентября на строгановские городки нападает пелымский князь, о чем Чердынский воевода Перепелицын известил Москву. Из Москвы на имя Строгановых была прислана грамота от 16 ноября 1582 г. такого содержания: «Писал к нам ис Перми Василей Пелепелицын, что послали вы из острошков своих волских атаманов и казаков Ермака с товарыщи воевать Вотяки и Вогулич и татар и Пелымские и Сибирские места 91 году сентября в 1 день, а в тот же день собрався Пелымской князь с сибирскими людми и с Вогуличи приходили войною на наши Пермъские места и к городу к Чердыню и к острогу приступали и наших людей побили и многие убытки нашим людям учинили... вы... волских атаманов к себе призвав воров наняли в своя остроги без нашего указу... и им было вины свои покрыти тем, что было нашу Пермъскую землю оберегати... и вы б у себя оставили... человек до ста, а достальных всех выслать в Чердынь однолично тотчас; а не вышлете... и Пермъских мест не учнете оберегати... нам в том опала на вас своя положити болшая....[2]

Причину противоречия царских указов 1574 и 1582 гг., из которых первый разрешил Строгановым призыв казаков на службу, а второй ставил им это в вину, С. М. Соловьев видит в том, что Строгановы поставили свои выгоды выше государственных интересов и предпочли послать казаков для овладения соседним Сибирским царством, вместо того, чтобы сохранять и поддерживать в порядке жизнь в Пермском крае: ведь Ермак был послан в Пермь «вины свои покрыти тем, что нашу Пермъскую землю оберегати», а вместо «береженья» пошел «воевать Сибирского салтана». Общий смысл грамоты — это укор Строгановым за самовольную посылку казаков в Сибирь на удалый набег, вместо выполнения ими их обязанностей — защиты и охраны Пермского края.

Эти события, можно думать, нашли свое изображение во вступительной части «Сказания», а также во вступлении первоначальной редакции былины. Наступательные действия Кучума, сибирского хана, против пермского края имели место, и вести об его похвальбе итти вновь на Пермь войной — в сообщении Строгановых — факт исторический. Царские грамоты 1574 и 1582 гг. предлагали казакам ограничить свою службу тем, что «Пермскую землю оберегали», и ставили им в вину то, что 1 сентября 1581 г. Ермак с товарищами в количестве 840 человек отправился в наступательный поход «воевать вотяки и вогу-

[1] Бахрушин, там же, стр. 99.

[2] Дополн. к актам историч., I, № 218; см. также Сибирские летописи, стр. 15.

лич и татар и пелымские и сибирские места».[1] Былина и «Сказание» несколько отступают от истории, помещая уход богатырей после предложения великого князя оберегать его вотчины, тогда как грамота 16 ноября 1582 г. была послана Строгановым после ухода казаков в Сибирь. Но, с одной стороны, грамоту 16 ноября 1582 г. нужно понимать в связи с грамотой 1574 г., которая давала разрешение приглашать охочих людей, чтобы они «острогов, деревень и починков от их войны оберегали», а с другой стороны, изменение последовательности этих событий для поэтического произведения вполне закономерно. Песня вместо рассказа о посылке грамот дает события в действии: великий князь киевский обращается с речью к богатырям, — такое образное изложение фактов и составляет сущность искусства. Наименование в частности пермских земель вотчиной князя основывается на включении последних в опричнину при делении Иваном Грозным всей Московии на земщину и опричнину.

Все сибирские летописи указывают путь казаков в Сибирь по рекам Чусовой, Серебрянке — затем после волока — от Жаровли по Баранче, Тагилу и Туре — вплоть до Иртыша.[2] Этими же реками шел Ермак, судя по песне «Ермак взял Сибирь» в сборнике Кирши Данилова.[3] Память о речном пути в «Сказании» сохранилась глухо, в сообщении о переходе богатырями реки Смутры. После этого в сибирских летописях рассказывается о поимке казаками близкого к царю Кучуму Таузака: «И доидоша до Тавды реки в мужстве и на усть той реки поимаша татар. Един бе от них, именем Таузак, царева двора и поведа им все по ряду про сибирских царей и князей и мурз и уланов и про царя Кучюма. Они же уведавше от него о всем достоверно и отпустиша его, да скажет Кучюмови салтану пришествие их и мужство и храбрость».[4]

Затем на берегу реки Тобола в урочище Бабасан происходит бой с татарами. После этого в 16 верстах от Иртыша Ермак захватывает улус думчаго царского Карачи; третья битва произошла 26 октября 1582 г. около города Атик-Мурзы на горе Чувашьей у Иртыша; в ней Ермак разбил татарские войска под предводительством Маметкула, последний же был ранен. Затем Ермак вошел в столицу Сибирского царства, брошенную Кучумом.

И былина и «Сказание» согласно повествуют о выведывании вестей во время встречи Ильи Муромца с каликами, под одеждой которых скрылись вражеские богатыри. Былина из собра-

---

[1] Дополн. к актам историч., I, № 218.

[2] О значении этого пути и о других путях в Сибирь см. Бахрушин, ук. соч., стр. 88—103.

[3] Кирша Данилов, стр. 48—51.

[4] Карамзин. ИГР, т. IX, стр. 242: Сиб. летоп., стр. 16.

ния Кирши Данилова «Ермак взял Сибирь» упоминает о какой-то хитрости казаков, сопровождавшейся переодеванием: «еще оне тут управлялися, поделали людей соломенных и нашли на них платье цветное; было у Ермака дружины триста человек, а стало уже со теми болше тысячи».[1]

Вступление казаков в брошенный татарами город могло казаться непонятным и неинтересным с точки зрения прославления богатырей, поэтому в былине и «Сказании» оно осмыслено как проникновение туда хитростью. Во встрече киевских богатырей с каликами, цареградскими богатырями, былина отразила два эпизода — поимку татарина Таузака и расспрос его про Сибирь, а равно столкновение с татарами под улусом Карачи. Непонятное проникновение казаков в столицу Сибири превратилось в один из эпизодов экспедиции, так как пленение Маметкула, главного военачальника сибирских татар, произошло после.

В начале весны один мурза сообщил Ермаку о новом приближении Маметкула. Ночью 60 казаков подкрались к его стану, напали врасплох на татар, убили многих, а Маметкула взяли в плен живым и доставили к Ермаку.[2]

«Сказание» передает о пленении двух главных цареградских богатырей в главной битве, первоначальная же былина пела о взятии в плен одного. По летописям Маметкул был взят в плен в небольшом столкновении благодаря хитрости: нападению казаков ночью на сонных врагов. Былина и «Сказание» переместили события. Вместо последовательности: главная битва — вступление в оставленную столицу — стычка и пленение военачальника с помощью хитрости, былина и «Сказание» передают другую, более логичную с точки зрения законов искусства комбинацию тех же элементов: проникновение в столицу хитростью — стычка — главная битва с пленением вражеских богатырей.

Громадные размеры Идолища, вражеского богатыря, созданы были местными слухами, а Ремезовская летопись сообщает о таком эпизоде: «И ту убиша багатыря две сажени высоты и хотеша жива свести с собою, но не дался: ухватом человек десять загребет и давит, и того застрелиша на чюдо».[3] Сибирское царство находилось на границах досягаемой для людей XVI в. территории, и в их представлении здесь находились земли, где жили люди фантастического вида; неудивительно поэтому присвоение большого роста главному татарскому богатырю.

Старина Кирши Данилова «Ермак взял Сибирь» рассказывает о пленении Ермаком самого Кучума, царя татарского.[4]

---

[1] Кирша Данилов, стр. 49.

[2] Сиб. летоп., стр. 27—28.

[3] Сиб. летоп., стр. 326.

[4] Кирша Данилов, стр. 49.

Таким образом, вся центральная часть и былины и «Сказания» соответствует летописным фактам, только с некоторым изменением их последовательности: было бы странно не найти таких изменений в художественном произведении.

После ряда столкновений с местными племенами вогуличей, остяков и татар Ермак дал знать Строгановым об удаче экспедиции и послал в Москву атамана Ивана Кольцо с грамотой, в которой просил принять Сибирское царство в подданство московского царя, и ясаком сибирским — из соболей, черных лисиц и бобров. «Давно... такого веселия не бывало в унылой Москве» — резюмирует Карамзин эффект, произведенный этим сообщением.[1] Сибирские летописи, однако, сообщают о предварительном уведомлении Ивана Грозного Строгановыми, которые «писаша к Москве благочестивому государю царю и великому князю Ивану Васильевичю всеа Русии о взятии и одолении Сибирския земли и ятии царевича Маметкула. Последи же того и сами не во мнозе времени приехавше к Москве и государя о всем о том известиша все по ряду».[2] Бузуновский список сибирской летописи дает объяснение этому: Ермак вместе с грамотою послал «зарушною своею челобитну, а в ней написал вины свои, что воровал на Волге, чтоб великий государь пожаловал ево, указал оные вины ему отдать и в заслужение принять к себе в водчину Сибирское царство».[3] Аналогией этому событию в «Сказании» является рассказ о посылке богатырями дворянина Залешенина за получением для них разрешения приехать к князю. Хотя в живой былинной традиции нет намека на это, однако нельзя отрицать, что в первоначальной былине не было мотива посылки к князю одного из богатырей.

В старине «Ермак взял Сибирь» по сборнику Кирши Данилова вместо указанного есть другой эпизод, в котором говорится, что Ермак, приехав в Москву, подкупил боярина Никиту Романовича, чтобы он доложил о приезде казаков царю Грозному «на самои праздник христов день», что и было им сделано. И здесь, таким образом, имеется мотив предварительного ходатайства за казаков.

О приеме и награждении казаков Иваном Грозным летопись рассказывает: «И слышав государь милость божию, что бог ему государю покорил Сибирскую землю и царевича Маметкула взята жива и тех казаков пожаловал, кои к нему, государю, приехали с тою вестию великим своим жалованьем денгами и сукнами и камками, а кои в Сибири атаманы и казаки, и тем государь пожаловал велел послать им свое государево полное

---

[1] Карамзин, ИГР, т. IX, стр. 249.
[2] Сиб. летоп., стр. 29.
[3] Сиб. летоп., стр. 299—300.

болшое жалованье... а царевича Маметкула указал государь к Москве послати»...[1]

Если в Москву к Грозному приезжал атаман Иван Кольцо, то песня «Ермак взял Сибирь» по сборнику Кирши Данилова описывает приезд в Москву самого Ермака и прием его Иваном Грозным.[2]

«Сказание» и первоначальная былина рассказывали о награждении Ильи Муромца и других богатырей золотыми цепями, бессчетной казной и шубами соболиными.

Наконец, и «Сказание» и первоначальная былина прославляли богатырей, причем это прославление вкладывалось в уста князя: когда, по «Сказанию», «будет князь Владимер на весело, и учали потешатися», князь хвастал своими богатырями, победившими большие татарские войска. О таком прославлении царем Иваном Грозным казаков и Ермака летописных свидетельств, конечно, не имеется, но такая возможность не исключена, так как она в духе поведения Грозного.

Итак, сюжетная схема «Сказания» и былины поддерживается летописными свидетельствами полностью.

Однако, следуя в сюжете историческим фактам, первоначальная былина, а за ней и «Сказание» дают им новое освещение, объединяют их своей идеей прославления богатырей и ироническим отношением к князю.

VIII

В анализе песни имена требуют обязательного объяснения; однако методологически неправильно было бы строить приурочение былин к историческим событиям только на одних именах. Исследование былинных вариантов дает нам ряд примеров замены сказителями имен былинных героев. Поэтому имя только тогда может считаться органичным в былине, когда оно стоит в тесной связи 1) с характеристикой персонажа, 2) со своим сюжетом. Можно предполагать, что часть имен в порядке устной передачи былины позже забывалась и заменялась другими.

Второе методологическое требование: при объяснении имен необходимо ограничиваться данным сюжетом, так как данное имя в одном сюжете может обозначать одно историческое лицо, в другом, возможно, иное, что доказывается иной характеристикой одноименного персонажа. Например, Алеша Попович в былине об «Алеше и Тугарине» изображен храбрым витязем, расправляющимся, вопреки желанию княгини и при полном безучастии князя Владимира, с насильником Тугарином. Он же в

[1] Сиб. летоп., стр. 30—31.

[2] Кирша Данилов, стр. 50—51.

былине «Добрыня и Алеша» рисуется завистником, лжецом, изменником своему названному брату. Логично предполагать, что в этих двух сюжетах Алешей Поповичем названы два различных лица.

Памфлетический характер некоторых былин, — например, анализируемой былины об Илье и Идолище, когда в ней иронически освещается личность князя, — заставляет предполагать, что в былине и князь, и герой были скрыты под вымышленными именами. В двух сюжетах, связываемых с XVI в., в которых князь выставляется с неблагоприятной стороны (былина о Даниле Ловчанине и былина о царе Василии Окульевиче и Солюмане), имя князя или царя зашифровано. По изысканиям Б. М. Соколова в былине о Даниле Ловчанине под князем Владимиром Киевским скрыт царь Иван Грозный, а, по предположению Вс. Ф. Миллера, в царе Василии Окульеве есть черты вел. князя Василия III — отца Грозного. Не является ли причиной этой зашифровки желание слагателя скрыть настоящие имена в песне-памфлете, что могло позволить распевать эту песню открыто? В таком виде для посвященных она была все же понятна.

«Сказание» о хождении киевских богатырей в Царьград дает ряд таких характерных черт для сравнения князя Владимира «Сказания» и былины с Иваном Грозным, как непостоянство (награждение за нарушение запрета), экспансивность, любовь к потехам после пиров. Плененный Ильей Тугарин в буслаевском варианте говорит князю Владимиру: «нет, государь, тебя *грозней* во всех царствах», а в барсовском варианте он спрашивает: «у тебя, государя, вотчины не во всех ордах?» Богатыри, даже будучи победителями, не решаются ехать к князю без его разрешения, что говорит об их страхе перед князем, который в «Сказании» неоднократно титулуется государем или государем и великим князем.

Отдельные варианты былин тоже сохранили следы расшифровки былинных событий. Так, в варианте Кривополеновой вначале рассказывается, что об «обнасиловании» Царьграда

Перепахнула веска за реку Москву
Во тот же как веть Киевград[1]

Оказывается, что стольный Киев-град стоит на Москве-реке, и на Москве-реке же живет Владимир Киевский. Отсюда видно, что имя города — Киев — такой же эпоним, как и имя князя — Владимир.

Вариант Кривополеновой наводит на мысль, что отдельные варианты могли донести расшифрованные имена памфлетических песен, когда в безопасной обстановке исполнители считали возможным называть героев их собственными именами.

---

[1] Григ., I, № 112, стихи 14—15.

Эти соображения позволяют считать, что имя героя тоже могло быть зашифровано и что имя — Илья Муромец в первоначальной былине, а отсюда и в «Сказании» — является эпонимом героя данного сюжета. Свидетельство Кмиты Чернобыльского об Илье Муравленине и Соловье Будимировиче (1574 г.) говорит о большой известности первого в эти годы,[1] и неудивительно, что для былины-памфлета о покорении Сибири, т. е. через 10 лет после 1574 г., было использовано его имя как имя идеального воина-богатыря и человека. Подобное же эпонимическое использование имени Ильи Муромца Вс. Ф. Миллером предполагается для сюжета о трех поездках Ильи Муромца, а равно для былины о бое Ильи с сыном.[2] Но для XVI в. характерна форма имени Ильи с прозвищем Муровец, Муровленин, Моровлин (что стоит близко к наименованию Муравского шляха — обычной дороги крымских татар на Московскую Русь, дороги, которую перерезала цепь сторожевых застав). Однако «Сказание» во всех вариантах для героев приводит уже новую форму его имени — Илья Муромец, неупотребительную в XVI в.

Объяснения требуют название Царьграда как вражеского города и имена Идола Скоропита (Скоропеевича) — главного татарского богатыря, а также Константина и Елены — царя и царицы в Царьграде. Что является первоначальным в былине, а равно и в «Сказании» — название Царьграда, которое могло притянуть к себе благоверных Константина и Елену, или, наоборот, имена этих последних? В былинах царь называется иногда Константином Алтауловичем[3] и Шамшурином Константиновичем.[4] Из этого ясно, что имя Константин вошло в песню позже, привлеченное наименованием татарского города «Царьградом». Проникновению киевских богатырей в Царьград соответствует овладение казаками столицей татарского царства. Уже Ф. Миллер называет ее Искер,[5] Никоновская летопись называет ее Искор,[6] Небольсин находит город Искар (что значит, по его указанию, «старое городище») на р. Сосьве.[7] А. Е. Крымский, специалист по языкам ближнего востока, любезно нам объяснил, что название города Искер или Искар по-татарски звучит «äскäр» (по-турецки — аскер), что значит войско или ратный стан. При восприятии на слух для русского второе ä обращается в е, первое ä (более закрытое) может перейти в «и» или может отпасть.

---

[1] Вс. Миллер, Очерки, т. I, стр. 397. Веселовский, Южно-русские былины, стр. 63—64.

[2] Вс. Миллер, Очерки, т. III, стр. 142—147.

[3] Григ., I, № 112.

[4] Мил., № 4, вар. Кулдаря.

[5] Описание Сибирского царства, СПб., 1750, § 69, стр. 48.

[6] СПб., 1790, VI, стр. 44.

[7] Покорение Сибири, СПб., 1849, стр. 31.

Тогда для столицы Сибири получается имя Искер или Скар (город, град), которое могло быть осмыслено через Царьград.[1]

Отсюда же А. Е. Крымский объяснил и прозвище Идола Скоропит как русскую переделку персидского слова äскäрбäд или äскäрпäт (или äспäрпäт—при чередовании п и к), что значит военачальник — слово, перешедшее в тюркские языки и бывшее в широком употреблении у народов Средней Азии, которые на три четверти заимствовали свой лексический запас из персидского языка; возможно еще произношение «äскäрпŷт», откуда титул Идолища должен по-русски звучать как аскарпит или скарапит, осмысляемое по-русски через Скоропит или Скоропеевич. Прототип Идолища — царевич Маметкул действительно является главным военачальником Кучума — «аскарпетом».

Название главного вражеского богатыря Идолом коренится в отношениях русских к иноверцам, — об этом говорит и Строгановская сибирская летопись: «Господь бог покори таковое великое и силное и грозное и далное идоложертвенное место и богомерское идолское басурманское царство разорити».[2]

Отчество царя Константина — Алтаулович в варианте Кривополеновой находит объяснение в отчестве прототипа Идолища — Махметкула, который в 1584 г. был отправлен в Москву и затем жил в Московском государстве. Русские его обыкновенно звали Махамед-Кулия, а по отчеству Алтауловичем или Тауловичем.[3] В процессе передачи песни оно было перенесено с Идолища на царя Константина.

Атаман калик в «Сказании» именуется Никитой Карачевцем, в былине — Иванищем;[4] встрече богатырей с каликами соответ-

---

[1] Ср. переделку в XVIII в. Сарского села в Царское село.

[2] Сиб. летоп., стр. 47.

[3] Вельяминов-Зернов. О касимовских царях и царевичах, т. III, стр. 48, отд. XIII; Карамзин. ИГР, т. IX, стр. 237 и прим. 660 со ссылкой на разрядные книги 1590 и 1598 гг. на стр. 144.

[4] Имя калики «Иванище» в былинах объяснено Б. М. Соколовым как отражение имени Ивана Богослова в легенде об Авраамии, епископе Ростовском: последний, по легенде, встречает Ивана Богослова, который передает Авраамию клюку для поражения идола Велеса в Ростове. Однако трудно считать это имя исконным для первоначальной былины, поскольку варианты «Сказания» его не знают. Правильнее предположить, что былина отразила в себе воздействие легенды об Авраамии только на эпизоде встречи Ильи Муромца с каликой, заменив взаимное переодевание получением от калики клюки или шалыги подорожной. Можно предположить, что упадок Москвы в связи с событиями 1606—1613 гг. и расцвет культуры Верхнего Поволжья повлек за собой передвижение былины об Илье и Идолище на север, и в Ростовской области она осложнилась под воздействием легенды об Авраамии; передвижение на север былины подтверждается и тем, что барсовский вариант «Сказания» долго бытовал в Турчасовской волости Каргопольского уезда, в Прионежье, а сборник, в котором находится вариант ИМЛИТ, имеет подписи с указанием на г. Углич как место жительства одного из его владельцев.

ствует поимка Таузака и столкновение около улуса Карачи думчего царского, объединенные былиной и «Сказанием» в одном эпизоде. Очевидно, в прозвище *Никиты* «Карачевец» отразилось имя думчего Кучума — Карачи. «Карача» был каким-то титулом у татар,[1] а «карач» было распространенным именем у русских.[2] В «Сказании» оно было осмыслено в связи с городом Карачевом.[3]

Из богатырей требует особого внимания дворянин Залешенин, который встречается в обломках других былин под именем *Никиты* Залешенина.[4] Из Строгановых резко выделяется Аника (Иоанникий) Строганов, живший с 1488 по 1570 г., о котором, со слов голландского географа Исаака Массы, Витзен, бывший в Москве с голландским посольством в 1666 г., написал: «Аника имел соляные варницы в Сольвычегодске... Ежегодно приезжали к нему... люди нерусские, никому не ведомые, отличные языком, одеждою и верою, называемые то Самоядью, то другими именами... Аника подружился с некоторыми из них, отправил вслед за ними своих людей... а в следующий год и сыновей или родственников... Они доехали до р. Оби, ласкали мирных жителей и возвратились с дорогими мехами. Аника продолжал сей выгодный торг несколько лет, обогатился, накупил людей и земель... сам *поехав в Москву, донес царю о новой открытой им земле: то есть о Сибири и жителях ее*».[5] Фактически Аника Строганов устремляется на Каму в конце 50-х гг. XVI в., и ему была выдана в 1558 г. жалованная грамота (на имя его двух сыновей — Григория и Якова) на незаселенный и мало известный Прикамский край. Работу по колонизации Прикамья провели Григорий и Яков, по смерти которых, в конце 70-х гг., их заменили сыновья Никита Григорьевич и Максим Яковлевич, которые с дядей их Семеном и организовали поход Ермака. Впоследствии Никита и Григорий были несколько раз жалованы землями и оказывали громадную помощь московскому правительству деньгами в больших суммах, за что Василий Шуйский их наименовал именитыми людьми.

В начале XVII в. Строгановы владели уже 10 млн. десятин земли.[6] В сообщении Массы и Витзена об Анике Строганове совмещены двое почти одноименных наиболее выдвинувшихся Строгановых: Аника и *Никита*. Очевидно, в дворянине Залешенине «Сказания» или *Никите* Залешенине по другим вариантам

---

[1] Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка, т. I, СПб., 1893, стр. 1197, выписки из Никоновской летописи.

[2] Тупиков. Словарь древнерусских личных собственных имен, СПб., 1903, стр. 230.

[3] «Книга, глаголемая Большой Чертеж», 1846, стр. 34.

[4] Кир., IV, стр. 47—48.

[5] Карамзин, ИГР, т. IX, стр. 142, прим. 651. Курсив мой. — *А. П.*

[6] Русск. биограф. словарь, том Смеловский-Суворина, СПб., 1909. стр. 509.

былин нужно видеть наиболее энергичного и видного из Строгановых — Никиту Григорьевича.

Включение дворянина Залешенина по «Сказанию» в состав богатырской экспедиции на Царьград не объясняется ли тем, что один из пяти казацких атаманов именовался *Никитой* Паном? Любопытно, что по старине Кирши Данилова «Ермак взял Сибирь»[1] предварительное ходатайство за казаков берет на себя боярин *Никита* Романович.

В названии реки Смугры Вс. Миллер предположил отражение памяти о реке Угре, известной по неудачному походу на Москву татарского хана Ахмета в 1480 г., с перенесением на нее начальных согласных от имени эпической реки Смородины;[2] однако не правильней ли будет в реке Смугре искать отражение рек, по которым плыли Ермак с казаками, а в ее наименовании — имена Угры или Югры — Угорской или Югорской земли, как москвичи именовали зауральский Сибирский край? Земли по нижнему течению Оби новгородцами назывались с XIV в. Югрой, от зырянского прозвища живших по Оби остяков «Егра».[3]

* * *

Подводя итоги изучению «Сказания о хождении киевских богатырей в Царьград» с одновременным анализом былины о борьбе Ильи и Идолища, мы приходим к следующим выводам.

1. Переработка книжником былины в «Сказание» носила механический характер: сохранив сюжетную схему былины, книжник дополнил ее новыми подробностями, сделал участниками событий всех богатырей, а не одного Илью Муромца, изложил речи богатырей к князю книжным языком, внес новую идею о никчемности похвальбы. Однако удалить из сюжета то, что в последнем противоречило новой тенденции, он не сумел, вследствие чего в «Сказании» наблюдается противоречие между отдельными его элементами. Так как былина была бледной и бесцветной, слагатель «Сказания» не был заинтересован в сохранении ее песенного текста, и он легко заменял его привычным ему приказным стилем. Это характеризует слагателя «Сказания» как рядового книжника, без особенного поэтического дарования. Он использует былину, не стараясь видоизменять ее сюжет и сохраняя отрывки из нее без каких-либо изменений, но она для него уже не песня, а материал для авантюрного произведения, который интересен и связью с древнерусской жизнью (это рассказ о хождении в православный Царьград) и описанием воинских приключений богатырей.

---

[1] Кирша Данилов, стр. 50.
[2] Вс. Миллер, Очерки, т. II, стр. 137—138.
[3] Бахрушин, там же, стр. 64.

2. При изучении книжного «Сказания», так же как и былины, необходим подход к ним как к поэтическим произведениям, для которых обязательны органическое единство сюжета и мотивов, единство сюжета и идеи, дающие им известный лирический тон (прославление, ирония, памфлет, осмеяние в сатире и т. д.), единство замысла и воплощения его в стилистическом выражении. Отсюда возможны заключения об органичности или неорганичности тех или иных подробностей в «Сказании» или былине и возведение отдельных мотивов к схеме первоначальной редакции произведения. Последнее может быть восстановлено и не полностью, если в вариантах не сохранилось соответствующих отзвуков. В этом случае помощь могут оказать только книжные записи-переделки XVII—XVIII вв., которые требуют критического отношения к себе.

3. Составление изучаемого «Сказания» нужно отнести к началу XVII в., возможно, — ко времени между 1610 и 1620 гг. Время для сложения «Сказания» определяется: 1) наличием в вариантах «Сказания» польского слова «шкапа», занесенного в Россию, очевидно, во время польской интервенции, 2) новой формой имени героя (Илья Муромец вместо старой формы Илья Муровленин), неизвестной еще в XVI в., и 3) общей патриотической тенденцией «Сказания» к прославлению русских богатырей, завоевавших новые земли, и к возвеличению княжеской власти, что было важно в тяжелых условиях жизни Московского государства после смуты и междуцарствия. Следует думать, что слагателем первоначальной редакции «Сказания» был рядовой книжник, который знал, какие события были отражены в былине, и, может быть, кое-что подновил. Можно предположить, что переработка былины в «Сказание» была произведена в районе верхнего Поволжья.

4. Есть основания полагать, что в былине об Илье и Идолище и в «Сказании» о хождении киевских богатырей в Царьград нашли отражение исторические события, связанные с покорением Ермаком Сибири.

Сказание

Сказание о киевских
богатырех. Како ходи
ли во Царьград.
И како побили
цареградских бо
гатырей.

Во стольном граде Киеве
говорит великий
князь Владимир
слышавший своим
богатырем будь вам
моим богатырем ведомо

что нам дань отпущает
царь Костянтин и царя
града .мц. богатыря а
велит на Киеве готовы
быть и бы никогда никуды
набив не разбудитеся
и ни на которую потехую
ратится моего града Киева
и всем моим отчину. И меня
великаго князя Владиме
ра. Били челом бога
тыри великому князю
Владимеру. Первой бога
тырь Илья Муромец
в богатырь Добрыня
Рязанец.

«Сказание о киевских богатырех» по рукописи Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, лл. 1—1 об.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СКАЗАНИЕ О КИЕВСКИХЪ БОГАТЫРЕХ, КАКО ХОДИЛИ ВО ЦАРЬГРАДЪ И КАКО ОНИ ПОБИЛИ ЦАРЕГРАДСКИХ БОГАТЫРЕЙ

(из сборника XVIII в. Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР № 1—27—105)

В столномъ градѣ Киеве говоритъ великiй князь Владимѣръ киевскiй своим богатыремъ: «Буди вамъ, моим богатыремъ, ведамо, что на мѣня отпущаетъ царь Констянтинъ из Царяграда мв богатыря, а велитъ нам в Киеве готовым быть. И вы нынѣча никуды на битвы не разъеждяитеся и ни на которую потеху; берегите моего града Киева и все мои отчины и меня великаго князя Владимера». И били челомъ богатыри великому князю Владимеру. Первой богатырь Илья Муромецъ, 2 богатыр Добрыня Рязанецъ, 3 Сухан Домѣнтиянъ, 4 дворянинъ Залешенин, 5 Глазыничь, серая свира, златые пугвицы, 6 Алешька Поповичь, 7 дворянин Бѣлая пьяница. А сговорятъ: «Государь князь Владимеръ киевъский, не извыкли мы стрещи града Киева, извыкли мы на конях седети, по чисту полю гуляти. Отпусти, государь, нас вести ради прямые, и мы тебѣ отвѣдаемъ или тебѣ приведемъ языка добраго». И изговоритъ государь велики князь Владимер киевскiи: «Не пригоже вамъ, моим богатырем, в тѣ поры прошатися на полѣ; вы меня хотите покинути в Киевѣ: я жду тех людеи с часу на часъ х Киеву». И богатыри в тѣ поры закъручинилися, ударили челомъ великому князю Владимѣру и послаша к своимъ конѣмъ богатырскимъ. И садятся они на кони своя добрыя богатырские, и поехали они на поле чистое, да говорят едучи мѣжьду собою пословицу: «Лутчи бы намъ тое срамоты приняти смерть нѣдобрая. Се мы слыли богатыри, а се мы стали во граде Киевѣ сторожи. Подемъ прямо ко Царюграду». И как будут киевские богатыри от Царяграда за шестьсотъ верстъ, перееждяютъ они Смуглу рѣку. И к нимъ идут встречю 12 человек, а на них платья количьное. И приехалъ к нимъ Алешька Поповичь, да говоритъ коликамъ: «Братия, колики перехожие, дайте мнѣ платье свое каличьное, а возмите себѣ мое плате богатырское». И говоритъ калика един за себя

и за товарищевъ Алешьке Поповичю: «Алешка Попович, нѣ дадимъ мы тебѣ платя своего с себя», а на коликѣ была гуня голуба скорлату, «а зовут мѣня колику Никитою Ивановичь, а роду я королевскаго». И приехалъ Илья Муромец да говоритъ коликомъ: «За чьто вы с нами бранитеся в чемъ, во то вамъ наше платя светлое, даите вы намъ свое плате количное. И что заговорятъ калики перехожие: «А се нам, Илья Муромец, и речи нѣтъ». И даютъ калики с себя свое платье с себя, а богатыри даютъ свое платье светлое. И что изговорит Добрыня Резанецъ: «почьто вы ходили, Никита, во Царьград?» И говоритъ Никита за себя и за товарищевъ: «Ходи есть мы во Царьградъ прямых вестей отвѣдати, есть ли отпускъ богатырямъ из Царяграда ко славному граду Киеву. Ино мы слышали, говорятъ все речи измѣнные: будут богатыри ко славному граду Киеву вскорѣ. А в Царѣградѣ при царѣ богатыри хвалятся необычно на всехъ рускихъ богатыреи». И говоритъ товарищем своим Илья Муромѣцъ: «Слушаитѣ, товарищи мои, за то слово, что говорятъ калики, старцы прохожие; за то слуги вѣрные складываютъ за государеи своих главы своя; а мы сотворимъ такожде; и оставим мы свои добры кони у Смуглы реки и все свои наряды богатырские». А толко с собою емлютъ по однои палице булатнои, и тѣ себѣ взяли под пазухи под гуни себѣ скурлатные; да говорятъ между собою, идучи, пословицу богатырскую: «Бога для, братия, ко царским речемъ терпите, будите в молчанiи, не въсе глаголите вмѣсте». И говоритъ дворянинъ Залѣшенинъ: «Всѣх у насъ пуще говоритъ о чем ни есть Алѣшка Попович; что он пиян и трезвъ—единаки у него речи, и он охочь за всех бранитися». И пришли богатыри во Царьград, и становятся они перед царевою полатою и учали просить милостыни противъ окна полаты [ца]рские, стоячи. Зычно велми было слышать и самому царю Констянтину голосы каличьные. И говорит царь Констянтинъ Тугарину Змиевичю: «Вели ко мне прислать калики перехожие: слышу я по речамъ, как бы они с Руси пришли; и нам было их спросити о киевских украшениях, буде они что вѣдаютъ, и они нам скажутъ». И пр[и]казалъ царь позвать каликъ перехожих, и стал царь каликъ спрашиват[ь]: «Скажитѣ вы, калики, старцы перехожие, ис котораго вы руского города?» Единъ говоритъ Илья Муромецъ: «Вышли мы, государю, из града Киева от вѣликаго князя Владимера». А против царя Констянтина седит Идолъ богатыр, ростомъ великъ добрѣ необычно, а взоромъ страшенъ. И говоритъ Идолъ богатыр: «Каковъ у вас во граде Киевѣ богатыр Илья Муромѣцъ?» И говорит противу его Илья Муромѣцъ: «Ростомъ он с меня великъ, а лицемъ на меня же походилъ». Царь государь Констянтин усмехнулся. И говоритъ Идолъ богатыр: «Не мешкая, государь царь Констянтинъ, отпусти насъ не межкая борзо ко граду

Киеву; а то от калик ета речь не солгано, что таковъ богатыр во граде Киевѣ, и мы тебѣ приведемъ во Царьградъ великаго князя Владимера и с ево великою княгинею и всехъ ево богатыреи поб'емъ, сколько их есть во граде Киевѣ: учиним мы с ними сечю великую». И не стерпѣ Алешка Попович, а говори такову он ръчь: «Коли ты, Идолъ богатыр, приедешь к славному граду Киеву, и ты тамо тово не станешь говорить и не познаешь от Киева тем путемъ, откуду еси приедешь, либо ты живъ от'едешь, либо и мертвъ». И Идолъ богатыр на Алешьку осержается. И говоритъ дворянинъ Залешенинъ: «Царь государь Констянтинъ, волной человѣкъ твоего, государь, меду напився, смело говоритъ, не тулится». И говорит богатыр Сухан Домѣнтиянович Алешьке Поповичю: «Уими ты, Алекъсей, свое сердце богатырское, малешенко на малои часъ потерпи». И говоритъ Идол богатыр: «Видали ли вы, калики, у своихъ богатыреи во граде Киевѣ их добрые кони богатырские?» И говорит дворянин Залешенин: «Мы в Киевѣ видали по все дни добрые кони богатырские». И говорит Идолъ богатырь царю Констянтину: «Царь государь Констянтин, вольной человек, вели, государь, свои добрые кони царьские вывести из своее царские конюшьни». Что изговоритъ царь Констянтин: «Смотрите вы, калики перехожие, таковы ли у нас добры кони во граде Киевѣ у великаго князя Владимера?» Что изговоритъ Илья Муромѣцъ: «У нас во градѣ Киевѣ у простых людеи луче шкапы етех, что вы нам кажетѣ, а во градѣ Киевѣ на богатырских конеи пристрашно и смотрить». И говоритъ Идолъ богатыр царю Констянтину: «Царь государь Констянтин, вольной он человѣкъ, вѣли, государь, показати добрые наши кони богатырские». И ведутъ добра коня Идолова 12 человекъ на 12 цепях и затем ведутъ добра коня Тугарина Змиевича и потомъ ведутъ многихъ добрых конеи богатырскихъ. И издалеча калики увидели, что добры велми кони богатырские, и говорит Илия Муромец царю Констянтину: «Царь государь Констянтинъ, волные мы люди, смѣть ли намъ от твоеи полаты царские сверху сойти на землю?» И приказалъ государь Костянтин каликамъ сверху на землю и сошьли. И говорят калики между собою речи скрываючи: «То перво намъ, братия товарищи, пора пришьла. Готовите вы палицы булатные, отоимемте, братцы, и без седѣлъ добрые кони богатырские, сядемте на них бѣз наряду богатырсково». И как пришьли калики г добрымъ конямъ, и выняли калики по палице булатнои, и полетели головы татарские. И отняли себе по добру коню, побили головы татарские и сели на кони да поехали из града вон. А остался у них едихъ Алещка Поповичь, а говоритъ царю Констянтину: «В томъ, царь Констянтинъ, у тебя во Цареграде ничего не закутили, а потому мы у тебя не все взяли добрые кони богатырские«. Что изговоритъ государь царь Констянтин:

«Что вы, что вы, калики, у мѣня в Цареградѣ такои бунтъ учинили, а богатырских конеи увели, а татар многихъ побили?». Что изговоритъ Алешка Поповичь: «Государь царь Констянтинъ, что мы хотѣли с твоими богатыри цареградскими переведатися, а что мы у тебя взяли подводы до Смуглы реки; а коли мы доедемъ до Смуглы реки, сядем мы на свои добры кони, и покладемъ на себя наряды богатырские, и будем мы к тебѣ сызнова во Царьградъ поклонитися». И какъ калики приехали на Смуглу рѣку, и садилися на свои кони добрые богатырские, и клали на себя наряды богатырские, и емлютъ они копя вострые; ажьно за ними скачютъ богатыри из Царяграда великою погонѣю. И говоритъ Алешька Поповичь: «Стоите, государи мои товарищи, малую часть даитѣ вы мнѣ с цареградскими богатыри переведатца». Илья уже Муромецъ перед ними въ полуверсте. И с'езждяю[т]ся на поле киевские богатыри с цареградскими богатыри, и почали они промѣжь собя дело дѣлати ратъное и стали битися крепкимъ боемъ. И у киевских богатырей копя приломалися, и взяли они по палице булатнои. И сталъ битися Илья Муромѣцъ со Идоломъ цареградскимъ богатыремъ; и сшибъ Илья Муромѣцъ Идола богатыря, сшибъ с коня на землю; а техъ 40 богатыреи всех побили, а дву богатыреи живыхъ взяли—Идола богатыря да Тугарина Змиевича, и ведут их обѣихъ с собою ко Царюграду. И пришьли они до Царяграда, и становилися они пред царевою полатою. И говоритъ Илья Муромецъ: «Буди тебѣ, царю Констянтину, вѣдомо, потому что мы не здорили ни в чемъ с вами, ни чернымъ волосомъ во Цареградѣ, что мы поехали ис Киева ради похвалы твоих цареградцъкихъ богатыреи к вамь во Царградъ, а поехали мы без государева ведама у великого князя [В]ладимѣра и на похвалу побили твоих 40 богатыреи». Даютъ Идола богатыря царю Констянтину, а Тугарїна Змиевича вѣдутъ с собою ко славному граду Киеву к великому князю Владимѣру. И восплачетца мать Тугарина Змиевича: «Государыни царица Елена благовѣрная, упроси у руских богатыреи моего сына, Тугарина Змиевича; оне вам отдали Идола богатыря и отдали бы и моево сына Тугарина Змиевича». Что зговоритъ благовѣрная царица Елена: «Государи вы, киевские богатыри, таких у нас грозных богатыреи никогда не бывало во Цареградѣ, ї не побивали нашихъ богатыреи. И не убеиte вы для моих слезъ Тугарина Змиевича». И говорятъ руские богатыри: «Государыни царица Елена благоверная, и тебѣ говорим, да не двигнемъ Тугарина Змиевича ни малым чернымъ волосомъ для тебѣ, царицы Елены благовѣрные. Как намъ не възять, государыни, Тугарина Зъмиевича ис Царяграда? с чем намъ приехати ко славному граду Киеву? и что намъ сказати вѣликому князю Владимеру?» И били челомъ богатыри царю Констянтину и благоверной царице Елене, и поехали они вон из Царяграда.

[Ед]уть они по полю по чисто[м]у и вѣдутъ промѣжь собя [гро]знаго богатыря Тугари[на] Змиевича. И какъ едут [б]огатыри близко ко славному граду Киеву, и выбирали у себя богатыри богатыря дворянина Залешенина ехати ко славному граду Киеву к великому князю Владимеру: «А се мы богатыри, жильцы государевы. Служили мы много лѣтъ у вѣликаго князя Владимѣра: велит ли нам, холопям своимъ, свои царъские очи видети? Согрубили мы, государь, велики князь Владимеръ, без твоего мы слова ходили во Царьград и с недругами твоми управились». И правили рѣчи вѣликому князю Владимѣру: «Были мы в гостях во Цареграде у царя Константина и у благоверные царицы Елены, и убили мы у нихъ 40 богатыреи, а дву живых взяли: одново мы отдали царю Констянтину во Цареграде, а другаго, государь, к тебе ведемъ». И приехалъ дворянин Залешенин в Киевъ к великому князю Владимеру от товарищевъ. И темъ их государь пожаловалъ, велелъ к себе скоро приехати. Приехали богатыри ко славному граду Киеву к великому князю Владимеру, и привѣли они языка добраго и удалаго [г]рознаго богатыря Тугари[н]а Змиевича. И великiи к[н]язь Владимер за то их [в]сехъ богатыреи пожаловалъ, даетъ им за ту службу шубы соболиные под отласами и по пухову колпаку. А говоритъ богатырям: «Рад я вас и впредь жаловать за вашу великую службу богатырскую». И спрашиваетъ велики князь Владимеръ Тугарина Змиевича о всех прямых вестяхъ. Что изговоритъ Тугарин Змиевичь: «Что ты, государь, великiи князъ Владимеръ, о всехъ вестяхъ мѣня спрашиваешь? все вести, государь, к тебе привезли твои богатыри из Царяграда и вьсехъ государ... ихъ тебѣ вести отведаютъ». И в тѣ поры билъ челомъ Илья Муромѣцъ князю Владимѣру: «Государь, велики князь Владимер, умилосердися, молвили есть мы слово благовѣрнои царице [Е]лене, i та царица просит у тебя, у великаго князя Владимера, Тугарина Змиевича отпусти.

Сборник XVIII в. Института мировой литературы им. А. М. Горького Акад. Наук СССР № 1—27—105 (без начала и конца) в восьмушку, на 119 лл. разными почерками, включает в себя следующие произведения:

1. Стихи и вирши на рождество христово и другие темы, в том числе сказание об Иакове — л. 1.
2. Повесть о смертном часе всякого человека — л. 14.
3. Панегирические вирши царю Петру с сыном Алексеем «Радостно воскликнем в царску радость вникнем» — л. 19.
4. «Уже тя лишаюся слаткое чадо» — л. 21.
5. В той же день слово Иоанна Златоуста — л. 23 об.
6. Сказание о царях (Втоломоне, Иокиме, Иезекии и Давиде).
7. Сказ о петухе и лисице — л. 44.
8. Сказ о суде леща с Ершом Щетинниковым — л. 58 об.
9. «Христианский князь, камо нам возможно испытати, которая вера лучше» — л. 74.

10. Повесть об Азовском осадном сидении — л. 80.
11. Повесть о царе Соломоне и Китоврасе — л. 96.
12. Сказание о киевских богатырех — лл. 105 об — 119 об.

Последняя страница стерта, закоптела и трудно разборчива. Вначале в нескольких листах вырван уголок снизу слева. На последних страницах некоторые части их слегка попорчены. Очевидно, и в начале и в конце сборника нехватает по две страницы. На чистых частях страниц по окончании отдельных произведений много записей и проб пера, но они или тщательно вымараны, или выцвели. Однако можно разобрать следующие надписи: «сия книга... Горбунова...»; «...Иван сын Истомин»; «сия книга града Углеча посацкого человека»...; «сия книга углечского посацкого Егора... Заводкова» (полустерто); «пономарь Андрей Петров руку приложил»; «сия книга углицкого посацкого». Таким образом, этот сборник бытовал в городе Угличе, в верхнем Поволжье.

* * *

Включение в состав сборника виршей, обращенных к Петру с сыном Алексеем, позволяет датировать сборник первыми годами XVIII века.





М. О. СКРИПИЛЬ

ПОВЕСТЬ О СОЛОМОНИИ

I



Большинство действующих лиц «Повести о Соломонии бесноватой» известны нам по историческим документам. В актах Устюжской епархии конца XVIII в. в великоустюжской писцовой книге 1676—1683 гг. мы находим упоминания об Арсении, архимандрите великоустюжского Архангельского монастыря, соборном протопопе Владимире, о попах Никите и Симеоне и о протодиаконе Димитрии. Имена, «чины» и время жизни этой верхушки духовенства Устюжской епархии полностью совпадают с теми сведениями об этих лицах, которые мы встречаем и в различных местах «Повести о Соломонии».

Имя Арсения, архимандрита великоустюжского Архангельского монастыря, упоминается в актах Устюжской епархии с 1661 г. по 1678 г.,[1] имя протопопа Владимира Никитина там же, с 1644 г. по 1680 г.,[2] попа Никиты Тимофеева, по повести —

[1] «Акты Холмогорской и Устюжской епархии», ч. I, СПб., 1890, стр. 332, 334, 376, 385, 417, 491, 500, 506, 508; ч. II, СПб., 1894, стр. 978, 979, 996.

[2] «Акты Холмогорской и Устюжской епархии», ч. 1, стр. 231, 232, 233, 292, 300, 324, 374, 377, 383, 387, 405, 406, 417, 447, 449, 526; ч. II, стр. 978.

духовника Соломонии, — там же, с 1663 г. по 1680 г.[1] и в писцовых книгах города Великого Устюга в эти же годы.[2] Встречаются имена и попа Симеона Корнилиева в обоих этих источниках с 1670 г. по 1681 г.,[3] и протодиакона Димитрия Данилова с 1658 г. по 1682.[4]

Изображаемые в «Повести о Соломонии» события, имеющие отношение к этим лицам, датируются десятилетием с 1661 г. по 1671 г. Таким образом, хронологическая канва повести совершенно точно совпадает с реальной действительностью. Нет сомнения, что автор повести хорошо знает жизнь верхушки духовенства Устюжской епархии и с исторической точностью говорит об этой верхушке. Поэтому у нас появляется уверенность, что такими же реальными лицами были сама героиня повести, Соломония, ее мать, отец — священник Ерогоцкой волости — и муж — крестьянин Матфей.

В самом деле, очевидно, об отце Соломонии говорится в «Книгах Устюга Великого пошлинам, взятых в архиерейскую казну» в 1681—1682 гг. Здесь мы читаем: «Того же числа[5] взято с ерогоцкого попа Дмитрея перехожих 8 алт[ын] 2 д[еньги], что он перешел от церкви Алексея митрополита ко Спасу на города».[6] И глосса в одном из списков повести, говорящая о том, что Димитрий, отец Соломонии, принял пострижение в Троицком Гледенском монастыре под именем Дионисия, тоже должна восприниматься нами как указание на биографическую деталь действительно существовавшего во второй половине XVII в. лица.

Все эти наблюдения заставляют нас признать, что «Повесть о Соломонии», подобно ряду других древнерусских повестей, является повестью о живых лицах, повестью об определенной группе духовенства Устюжской епархии последней трети XVII в.

---

[1] Ibid., ч. 1, стр. 377, 387; 404—406, 408, 409, 415, 416, 424, 447, 449, 1134.

[2] «Устюг Великий. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий...», М., 1883, стр. 89, 159.

[3] «Акты...», ч. 1, стр. 424, 437, 447, 449, 532, 548, 1134, «Устюг Великий»,.. М., 1883, стр. 89, 159.

[4] «Акты...», ч. I, стр. 320—322, 377, 383, 387, 405, 413, 414, 418, 424, 436, 444, 447, 449, 551—567; ч. II, стр. 989. «Устюг Великий...», стр. 86, 159.

[5] В сентябре 1682 г.; число в документе не проставлено.

[6] «Акты...», ч. II, стр. 1080.

В этих же актах под 1685 г. мы находим упоминание о «Ерогоцкой волости покровском попе Димитрии Иванове». Трудно предположить, что отец Соломонии к концу своей жизни возвратился в свой прежний приход; к тому же это противоречит прямому, упоминаемому нами ниже указанию одного из списков повести о пострижении его в Гледенский монастырь. Вероятнее всего, что в Покровской церкви в 1686 г. мы находим уже другого Димитрия. См. «Акты...», ч. I, стр. 827.

* * *

Рассматривая «Повесть о Соломонии» как повесть о живых лицах, мы легко можем определить время ее написания. Ее автор, неизвестный нам поп Яков, следующим образом описывает обстоятельства создания повести: «Аз грешный слышах у нея, Соломонии, из самых уст ея, — говорит он о жизни Соломонии, — при свидетельстве отца ея духовного, соборныя и апостольския церкви пресвятые богородицы священноиерея Никиты и отца ея родного иерея Димитрия; написах сие в память будущим родом».[1] Как будто, если только мы правильно понимаем автора, повесть написана еще при жизни трех указанных здесь действующих лиц. Но мы знаем, что одно из этих лиц, поп Никита Тимофеев, умер в 1680 г.: в «Писцовой книге Устюга Великого 1676—1683 гг.» упоминается о его смерти в этом году. «Во дворе соборной церкви, — читаем мы здесь, — попа Никиты Тимофеева поподья Матренка Родионовна, у нее сын Демка, а он поп Никита во 188 г. умре...».[2] Следовательно, повесть не могла быть написана позже 1680 г. Время, раньше которого она не могла быть написана, определяется по указаниям самой повести: исцеление Соломонии датируется в ней 1671 годом.

Итак, «Повесть о Соломонии», очевидно, была написана между 1671 и 1680 гг. в Великом Устюге неизвестным нам священником Яковом.

II

По своему сюжету, композиции и художественным образам «Повесть о Соломонии» может быть поставлена прежде всего в самую тесную связь с получившим широкое распространение во второй половине XVII в. жанром «богородичных легенд» и «посмертных чудес». В большинстве своих списков она и называется «чюдом Прокопия и Иоанна, устюжских чюдотворцев». Детальный анализ ее литературных особенностей вполне оправдывает это название. Повесть построена по хорошо известной нам сюжетной схеме «богородичных легенд» и «посмертных чудес»: попав во власть диавола, Соломония во сне видит своих заступников — Феодору, деву Марию, Прокопия и Иоанна устюжских, дает двум последним обет безбрачной жизни и получает исцеление *у их гроба*. Все особенности этой повести — власть дьявола над душой человека, сон с видениями, обет и,

---

[1] Повесть цитируется в настоящем очерке по одному из ее старейших списков — рукоп. Забелина, № 463/551.

[2] «Устюг Великий...», стр. 87.

исцеление у гроба — являются особенностями указанного нами жанра. Автор только усложнил типичную сюжетную схему «богородничных легенд» и «посмертных чудес»: у него отдельные звенья этой схемы повторяются по несколько раз. Так, не одно видение видит Соломония во сне,—как это чаще всего бывает в произведениях указанного нами жанра, — а четыре, и исцеление ее происходит не сразу, а в несколько приемов. Этим автор достигает значительно большей обстоятельности и большего реализма в описании событий по сравнению с «богородичными легендами» и «посмертными чудесами».

Усложнение старой сюжетной схемы автор «Повести о Соломонии» провел еще дальше. Доведя свой рассказ о Соломонии до момента ее исцеления, автор прерывает свое повествование, и дальнейшие события излагаются не от его имени, а от имени героини повести, Соломонии. Налицо — кольцевое построение повести. Чем объясняется это нововведение в развертывании старой сюжетной схемы, — трудно сказать. Возможно, что оно объясняется самими обстоятельствами создания повести: можно предположить, что изложение обстоятельств выздоровления Соломонии было сперва записано с ее слов, как чудо Прокопия и Иоанна устюжских; позже этот официальный документ попал в руки попа Якова. Последний на основании бесед с Соломонией, с ее отцом и духовником дал пространное изложение событий до момента выздоровления Соломонии, а в основу окончания своего повествования положил более раннюю официальную запись. Как бы то ни было, но старая сюжетная схема от этого значительно изменилась, хотя литературное родство повести с «богородичной легендой» и «посмертными чудесами» этим окончательно не затемнилось.

Сходство сказывается не только в сюжетной схеме, но и в ряде близких художественных образов, картин и стилистических деталей. Так, особенно типичны для жанра «богородичных легенд» и «посмертных чудес» картины видений Соломонии. Мотив видений на русской почве получил особенно широкое распространение в агиографической литературе XVI—XVII вв. Отсюда он, вероятнее всего, и стал известен автору повести, хотя в середине XVII в. мотив этот проникает и в другие жанры, — например, и в исторические сказания. Восточно-византийское происхождение этого мотива доказывается наличием его в целом ряде патериковых легенд.[1]

Весьма также типична для жанра «богородичных легенд» и «посмертных чудес» картина исцеления Соломонии. Соломо-

[1] См. М. О. Скрипиль. Повесть о Савве Грудцыне. «Труды Отдела древнерусской литературы», изд. Акад. Наук СССР, III, 1936, стр. 130—132.

нию насильно вводят в церковь; усиливаются ее болезненные припадки, в забытьи она видит колеблющийся гроб святого — все это хорошо известные нам аксессуары древнерусской агиографии.[1]

Нечего уже говорить о том, что в демонологии «Повести о Соломонии» мы находим очень много черт демонологии древнерусской церковной письменности. В демонологических представлениях автора повести сохранился даже образ беса-духа: бес невидим или же он — «вихор велий», «пламя огненно и сине». Это древнейшее представление о бесе: бес — дух, не имеющий костей и плоти, — демонический образ Евангелия.[2] Но на древнерусской почве значительно более жизненными оказались те представления о бесах, — в духе демонологии восточно-византийских патериков, — которые приняли грубо материальные черты. И в повести бес рисуется в чувственных чертах: «И внезапу виде она, Соломония, демона, пришедша к ней зверским образом, мохнат, имяше у себе и кохти...» И не только образ беса повести напоминает беса патериков, но и картина царства бесовского (хотя повесть под влиянием поздних фольклорных представлений о злых духах расселяет бесов по болотам и лесам) еще сохраняет в себе все черты царства сатаны легенд патериков — легенды «о Месите чародее», «о чаде иерея идолска» и др.[3]

Среди демонологических мотивов «Повести о Соломонии» есть мотивы, своим происхождением обязанные влиянию церковного требника. Вне всякого сомнения, весьма образно рассказываемое в повести заклинание бесов в алтаре находит свою параллель в наставлениях требника в известном «Чине над бесноватым».[4] Это обстоятельство объясняется или профессией автора повести или тем, что посредником между «Чином» и повестью оказались народные верования, сложившиеся под влиянием «Чина» и аналогичной ему литературы.

На близость повести к подобного рода «прикладной» церковной литературе указывает еще одно место ее — это описание внешности Прокопия и Иоанна устюжских. Описание это сделано в стиле древнерусских иконописных подлинников. Стилистическое родство легко здесь обнаруживается при простом сравнении данного места повести с соответствующим описанием иконописного подлинника:

---

[1] И. Яхонтов. Жития севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник. Казань, 1881, стр. 272.

[2] Ф. А. Рязановский. Демонология в древнерусской литературе. М., 1915, стр. 45.

[3] См. «Великие Минеи Четьи», изд. Археогр. ком., Декабрь, 2 и 31 дни.

[4] См., например, «Требник» П. Могилы, изд. в 1646 г., III, стр. 384.

Повесть о Соломонии

«Бяше ж святый Прокопий видением рус, власы велицы, браду же имея просту и русу, не зело малу, одеяние же его кратко, сапози на ногах, кочерги в руках...»

Иконописный подлинник

«Прокопий» подобием средовек, власы на главе русы и терхавы, брада аки Козмина, риза на нем дикобагряная, с праваго плеча спущена, в руке три кочерги, на ногах сапоги раздранные и персты видны, колени голы, обычай имеяше ходити по граду во единой ветхой рубищной и раздранной одежде, полунаг сущи...»[1]

И в повести и в иконописном подлиннике мы обнаруживаем одни и те же приемы изобразительной характеристики — характеристики внешнего облика.

Таким образом, литературное родство «Повести о Соломонии» с памятниками древнерусской церковной письменности совершенно бесспорно. Повесть живет традициями этой литературы как в отношении своей формы, так и в отношении миропонимания автора. Но в то же время она глубоко оригинальна. Она написана в стиле «посмертных чудес», однако ее автора нельзя обвинить в литературных заимствованиях. Ее демонология обнаруживает массу сходных черт с демонологией древнерусской церковной письменности. Но чудовищные образы демонов древнерусской письменности в ней своеобразно «очеловечены»: они приближены к человеку и по своей организации и по мотивам своих поступков.

За счет каких же литературных особенностей развивается оригинальность «Повести о Соломонии», этого, казалось бы, типичного осколка литературы «посмертных чудес»?

Прежде всего за счет весьма реалистического, почти натуралистического ее стиля, который выдержан на всем ее протяжении: его мы находим даже в изображении фантастических страданий Соломонии и ее чудесного исцеления. Какого бы предмета и при каких бы обстоятельствах автор ни коснулся, он видит его как реальную вещь. Все описываемые в повести фантастические события изображаются так, что их можно воспринять как объектирование патологических переживаний Соломонии. Реалистическая манера письма нигде не изменяет автору. Бытовой реализм, издавна проникавший в литературу «посмертных чудес» и «богородичных легенд», в «Повести о Соломонии» нашел свое дальнейшее развитие. И вот — сочетание фантастического сюжета и всепроникающей реалистической манеры письма — это первое, что обеспечило ей исключительную оригинальность.

Не в меньшей мере эта оригинальность обусловлена сильной

---

[1] «Иконописный подлинник сводной редакции XVIII в.». Под ред. Г. Филимонова. М., 1876, стр. 385.

деформацией в повести традиционных литературных образов под влиянием фольклора. Plena manu черпал поп Яков материал для художественных образов повести из современного ему фольклора.

Самая завязка повести, несмотря на то, что она, — как мы увидим ниже, — имеет историческую основу, создана под влиянием народных представлений о значении крещения. Бесы мучат Соломонию потому, что обряд крещения совершен над нею только наполовину, а в фольклоре души некрещеных детей являются достоянием бесов. И есть даже верование, по которому бесы — это не кто иные, как некрещеные, проклятые богом люди.

«У зачатки свету,— рассказывается в одной белорусской легенде,— як ища Сус Христос на муку ня шоу, ходють нихрящоныя за господым богым, ни дають яму спакою. Госпоть гаворить: — Атказнитесь вы от мине, акаянные, будьтя прокляты ат мине ат ныне да веку.

Яны застались: каторыи у ваде, каторый у леси, каторый у поли, каторый у двэре, каторый у гумне. Даўжно быть, у ник и есть и дети».[1]

Бесы «Повести о Соломонии» живут жизнью, подобной человеческой. Они делятся на сообщества, или группы, вполне обособленные одна от другой, — на водяных и лесных бесов. Каждая из этих групп владеет своей особой территорией и находится с другой в определенных отношениях. Они имеют жен, детей, прислугу и повивальных бабок. В жены и прислугу себе они похищают девушек. Весь этот комплекс демонологических представлений автором повести сплетен из фольклорного материала.

Мы уже видели, что в белорусской легенде о происхождении бесов бесы разделяются на такие же категории, как и в «Повести о Соломонии»: бесы лесные, бесы водяные и др. Это же подразделение мы находим и в ряде других легенд. Так, например, весьма образно рассказывается об этом в легенде о происхождении людей и чертей, записанной П. Чубинским в Карелии.[2]

Демоническая сила в представлении населения северо-восточной части нашей страны, судя по этнографическим материалам второй половины XIX в. и начала XX в., живет жизнью, подобной человеческой. Г. Цейтлин в своей статье «Знахарства и поверья в Поморье» передает поверья помор о лешем и водянике, основанные на тех же представлениях, какие мы обнаруживаем и в основе демонологии «Повести о Соломонии»:

«Леший женат и изменяет своей жене. Смеются иногда над лешевицей, которой муж изменяет, и над лешим, у которого жена «необрядна», и он

---

[1] В. Н. Добровольский. Смоленский этнографический сборник, ч. I, СПб., 1891, стр. 87—88.

[2] П. Чубинский. Статистическо-этнографический очерк Корелы. См. Труды Архангельского статистического комитета 1865 г., кн. 2-я, Архангельск, 1866, стр. 131—132.

должен бегать за чужими «жонками». У лешего есть также и дети, называемые «лешевниками», и даже собачка».

«Воденик живет в воде. Сам он черный, лохматый, волосы на нем курчавые и длинные, имеется хвост. Есть у него жена «воденица», а детей нет. Он забирает к себе тонущих детей, любит девиц щипать за ноги во время купания...»[1]

Н. Онучков записал в Чердынском уезде Пермской губ. сказку «Большая Лумпа», в которой говорится о лешем, что он «ходит с собакой, женат, имеет детей».[2] О том, что, по народным представлениям, у бесов есть семьи, свидетельствуют и поверья, записанные П. С. Ефименко в Архангельской губ.[3] П. С. Ефименко в следующих словах суммирует народные представления жителей Архангельской губ. о бесах: «Они имеют способность производить детей, почему народ верит, что у всех нечистых духов есть жены, которые называются чертихами, лешухами, диаволицами; а дети — чертенками, лешенками, диаволенками и бесенками».[4] М. Пришвин записал в Выговском крае рассказ о похищении чортом девочек. Чорт «привел их в свой дом, к своим ребятам, человек восемь семейства. Ребята черные, худые, некрасивые».[5] «Всем присуще верование, — говорит В. Н. Добровольский о народных верованиях Смоленской губ., — что у лесовых есть дети, а некоторые видели их: лежат они, голенькие, в люльках, привешенных к ветвям ели или сосны».[6] Подобное же поверье находим мы и в латышских сказках.[7] В сказке «Чортов работник», записанной А. А. Шахматовым в дер. Илемской Сельге, говорится о чорте, который имеет старуху-жену, скот, фатерку.[8] В сказке «Чортовы коровы», записанной Онучковым в Олонецкой губ., говорится о коровах, принадлежащих чорту[9]. Все это — черты антропоморфизации беса, так широко использованной автором «Повести о Соломонии».

Отразившееся в повести поверье, что бесы живут обособленными группами, имеет широкое распространение в фольклоре. Так, например, оно прекрасно передается в сказке «В ра-

---

[1] Г. Цейтлин. Знахарства и поверья о Поморье. См. «Известия Архангельск общ. изучения русского Севера», 1912, № 4, стр. 158.

[2] Н. Е. Ончуков. Северные сказки (Архангельская и Олонецкая губ.), СПб., 1909, стр. 496—497.

[3] П. С. Ефименко. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии, ч. I, См. «Труды этнограф. отд. Общ. любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете», кн. V, вып. I, стр. 163—188.

[4] Ibid, стр. 188.

[5] Н. Е. Ончуков, op. cit, стр. 465.

[6] В. Н. Добровольский. Нечистая сила в народных верованиях (по данным Смоленской губ.). См. «Живая старина», 1908, вып. I, стр. 8.

[7] См., например, «Латышские сказки», изд. «Academia», 1933, стр. 197.

[8] Н. Е. Ончуков, op. cit., стр. 294—297.

[9] Ibid., стр. 499—500.

ботниках у лесного», записанной Ончуковым в Чердынском уезде Пермской губ. В этой сказке говорится о войне лесных и водяных бесов: «Глядят, из озера летят каменья по кулю: щурят их черти в лесных; лесные выдергивают громатные елки из земли и хлещут ими по озеру. Воевали, воевали, черти одолевать стали».[1]

Похищение Соломонии бесами — это типичный фольклорный мотив, имевший огромное распространение на северо-западной окраине нашей страны.

В. Н. Добровольский, передавая народные верования Смоленской губ., говорит о наличии ряда сказаний о том, что бесы «уводят детей, оскорбивших мать и проклятых ею в полдень. Лесовые уносят по преимуществу мальчиков, лесовихи — девочек. Женщин лешие уводят больше строптивых и плохо живущих с мужьями».[2] В сказке «Лешовы родины», записанной Ончуковым в Архангельской губ., мы находим следующее место: «У лешого жонка с Руси была, обжилась, робенка принесла».[3] Среди поверий о леших, записанных Ончуковым там же, мы встречаем следующий рассказ: «Из Кўи ǒ морё, на Зимном берегу, лешой унес будто бы девушку в Зимну Золотицу, за тридцать верст. Ехал какой-то их Золотицы на оленях, она ревит, он ей взял и привез домой. Старухи замечают, скажот кто: «Уведи тя лешой! И уведет».[4] В латышских сказках это поверье встречается очень часто.[5]

Поверье о похищении бесами девушек является отражением более древнего поверья о смешении демонов с людьми, о суккубах и инкубах. Н. Ф. Сумцов передает многочисленные поздние юго-западные поверия о суккубах и инкубах, глубоко проникшие в фольклор Украины.[6] Кастрен во время своего путешествия по Карелии записал интересное предание о происхождении от лешего и женщины исполинского народа под названием Naikkolaiset или Naikon Kansa.[7] Буслаев указывает на распространение подобных же верований на Западе. Он упоминает о двух любопытных книгах. Автор одной—известный базельский профессор, анатом и ботаник, Casparus Bauhimus. Книгу свою он издал в 1614 г., предназначая ее «для богословов, юристов, медиков и философов». Она наполнена рассказами «о любовных связях фавнов, разных мифических существ и бесов с обыкновенными

---

[1] Н. Е. Ончуков, op. cit., стр. 496.
[2] В. Н. Добровольский, указ. статья, стр. 5.
[3] Н. Е. Ончуков, op. cit., стр. 576.
[4] Ibid., стр. 506.
[5] См. «Латышские сказки», изд. «Academia», стр. 175, 400.
[6] Н. Ф. Сумцов. Культурные переживания, Киев, 1890, стр. 276—281.
[7] «Этнографический сборник», изд. Русским географическим обществом, т. IV, стр. 261.

смертными».[1] Автор другой книги — юрисконсульт верховного трибунала инквизиции в Риме, монах Синистрари. Книга предназначена «для руководства при решении спорных вопросов по делам об одержимых бесом и о состоящих с ним в интимных отношениях».[2] Ровинский указывает на наличие аналогичных же поверий в средние века у испанцев, шотландцев и немцев, еще раньше—у последователей сект манихейского склада (павликиан, богумилов, катаров, альбигойцев) и, наконец, в глубокой древности — у евреев.[3]

Очевидно, подобные же поверья были распространены в XVII в. и на северной окраине Московского государства, свидетельством чего является, с одной стороны, «Повесть о Соломонии», с другой — разнообразный фольклорный материал, ставший известным нам по поздним записям XIX и XX вв.

В «Повести о Соломонии» несколько раз настойчиво упоминается о том, что Соломония у бесов не ест и не пьет и что это спасает ее от окончательной гибели.

Это поверье мы также часто встречаем в старинном фольклоре. «По мнению крестьян села Данилович Ельнинского уезда, — говорит В. Н. Добровольский, — освобождаются дети, уведенные лешим, от дьявольского пленения, если не вкусят дьявольской пищи».[4] Весьма образно передается это же поверье в сказке «В няньках у лешого», записанной Ончуковым в Ненoксе, на Летнем берегу Белого моря. В этой сказке жена лешего, которая «была русска, тоже уведена, уташшона», так же спасает старуху, попавшую к лешему, как в «Повести о Соломонии» девка Ярославка спасает Соломонию.[5]

Повивальная бабка бесов предлагает Соломонии выпить сосуд крови. О гибельном воздействии бесовской крови мы также находим свидетельство в фольклоре. Так, В. Н. Добровольский записал в Смоленской губ. рассказ, в котором говорится о Лесовике, показывающем заблудившемуся дровосеку два колодца: «в одном были все змеи, а в другом вместо воды кровь».[6] О гибельном значении бесовской крови еще красноречивее говорится в рассказе «Забытый на Новой Земле», записанном Ончуковым в Архангельской губ. Здесь рассказывается о том, как один промышленник, случайно оставшийся на Новой Земле на

[1] Ф. Буслаев. Мои досуги, М., 1886, ч. II, стр. 26.

[2] Ibid., стр. 6.

[3] Д. Ровинский. Русские народные картинки, кн. IV. СПб., 1881, стр. 522—523 и 541—543; см. также Е. Новиков. Гус и Лютер. «Чтения в Общ. истории и древностей росс. при Московском университете», 1858, кн. 4, стр. 77—78.

[4] Указ. статья, стр. 7.

[5] Н. Е. Ончуков, op. cit., стр. 504—505; см. также сказку «Лешой увел», стр. 578—579.

[6] Указ. статья, стр. 8.

зиму, сошелся с девушкой — нечистой силой. У них родился ребенок. Когда промышленник тайно от своей жены уехал и она увидела его уже далеко в море на судне, она разорвала «младеня на пополам, одну половину бросила на судно..., на планцырь попала только одна капля крови, планцырь пошел в воду, и судно стало крениться набок...».[1]

Однажды, когда бесы особенно тяжело мучили Соломонию, «три дни и три нощи не внидоша в дом вси домашни страха ради смертнаго от каменнаго метания. И в четвертый ден едва внидоша, и не видеша никого же». Поверие о «каменном метании» из дома, занятого бесами, весьма распространено в фольклоре. П. С. Ефименко передает поверье, записанное им в Архангельской губ., что чорт засыпает жилище человека песком.[2] Н. Ф. Сумцов собрал ряд южнорусских и западноевропейских рассказов, иллюстрирующих это же поверие.[3]

Наконец, к известной картине «Повести о Соломонии», изображающей гибель бесов от молнии и грома, мы можем привести параллели из заговоров на беса, близких к повести.

Повесть о Соломонии

«И понесоша ее (Соломонию) ко отцу, и принесоша на некое блато. Бяше ж их окаянных многое множество, и начаша ее, Соломонию, в блате топити. И в то время бысть туча велия с молнию и з громом страшным и тресканием зелным, и нача их молниею палити и убивати, и уби множество: и бяше их блато и озеро исполнено, аки смолою подернено».

Заговор

«Во имя отца и сына и св. духа, аминь. Стану я, раб божий, имя рек, благословясь, приду из западу в восток. Поднимаетца царь грозная туча, и под грозною тучею мечетца царь гром, царица молния. Как от царя грома и от царицы молнии бежат враги и диаволы лесные, водяные и дворовые и всекая нечистая тварь в свои поместия — под пень и под колоду, во озера и во омуты, и так бы бежали и от живущих во оных хоромах, от меня, раба божия, имярек, бежали всякие враги и диаволы, лесные, водяные и дворовые, всякая нечистая тварь в свои поместья — под пень и под колоду, во озера и во омуть безотпятно и безотворотно, век по веку, отныне и до веку, аминь».[4]

Представление о том, что гром и молния поражают демонов, проникло в фольклор, без сомнения, под влиянием древнерусской письменности, так как в этой последней мы находим его в самых разнообразных памятниках. Так, например, в апокри-

---

[1] Н. Е. Ончуков, op. cit., стр. 527.

[2] П. С. Ефименко, op. cit., стр. 188.

[3] Н. Ф. Сумцов, op. cit., стр. 188.

[4] П. С. Ефименко. Материалы по этнографии русского населения в Архангельской губернии, ч. 2-я, М., 1878, стр. 159. См. подобный же заговор ibid., стр. 160.

фической «Беседе трех святителей» мы встречаем его в уже сложившейся форме: «Вопрос: что есть гром и молния? Толк: ангел господень, летая, биет крилома и гонит дьавола. Молния суть свиты ангельския. И егда идет дождь, тогда дьавол стонет. И егда молния ходит, отрекаются, то со гневом ангел господень зрит на дьавола».[1] В подобной же форме это представление выражено в беседе Панагиота с фрязином Азимитом: «Девять ангелов, обравшись на небеси, радуются о славе божественной и трепещут своими крыльями; и от ударения крыльями облака идут по аеру, гремят и дождят; а от силы ангельской исходит огонь и молния с великим громом на проклятаго змия».[2] Из памятников подобного рода это представление кратчайшим путем, через своеобразные не канонические молитвы, попадает в фольклор. Это были молитвы — заклинания, направленные против диавола и предназначенные для чтения во время сильной грозы. Понятие об этих молитвах можно составить по образцам их, известным новогородскому летописцу начала XV в.[3] Отсюда один шаг к фольклору, к заговорам.

«Повесть о Соломонии» в этой своей части, очевидно, оказалась под влиянием ранних фольклорных пересказов этого мотива. Итак, самое близкое родство художественных картин и образов «Повести о Соломонии» с фольклором совершенно бесспорно. Чем же объясняется эта тяга повести к фольклору? Мы уже видели, что по своим художественным особенностям «Повесть о Соломонии» находится в самой тесной связи с «посмертными чудесами» и «богородичной легендой». Этот жанр, как особый раздел агиографии, под пером авторов северной окраины Московского государства XVII в. приобрел несколько своеобразную окраску по сравнению с литературой этого же вида, создаваемой в самой Москве и южнее ее. Спицифические черты, характерные для жизни и быта населения Севера, в частности для Поморья, находят в XVII в. широкий доступ в агиографию этого края. Даже тогда, когда жития и чудеса при нем пишутся по определенному штампу, — это свой штамп, северный. Быть может, причиной этого является особый, более демократический состав авторов—уроженцев Севера, не всегда получавших культурную оправу в Москве.

Как бы то ни было, местный областной колорит сильно чувствуется в житийной литературе северной окраины Московского государства XVII в. В этой же литературе мы обнаружи-

---

[1] Щапов. Исторические очерки народного миросозерцания и суеверия. ЖМНПр, 1863, № 1, отд. IV, стр. 8.

[2] Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусства, СПб., 1861., т. I, стр. 501, См. также Григорий Двоеслов «Диалоги» (по Казанскому изд.), стр. 192.

[3] Щапов, op. cit., стр. 17.

ваем и прямое влияние фольклора. Так, например, в чуде Никодима Кожеозерского «о некоем отроце пастыре», характерно рисуются верования жителей лесного северного края в лешего.[1] В «Сказании об иконе богоматери на Туровецком погосте»[2] мы находим следующее «чудо», интересное не только своей явной зависимостью от фольклора, но и сходством с «Повестью о Соломонии»:

«Чудо 15.

Во 189-м году, июня в 29 день, Комарицкого стану, Канской волости жена Ксения Михайлова дочь, а Бориса Михайлова Галебиных жена пришла на Туровец и поведала всем: о Петрове говение коней гоняла за полой, и здернуло в воду, и были два отрока и кликали. И после того приходили нечистые духи во образе двух мужей и просили сына. И явися во сне богородица и велела итти на Туровец, и бысть здрава, и духи не видимы были».[3]

Понятно, что автор «Повести о Соломонии», воспитанный на литературе Поморья и прекрасно знавший местные поверья, легко мог внести в свое произведение фольклорный материал. О влиянии именно местного фольклора весьма убедительно говорит территориальное распространение мотивов, характерных и для «Повести о Соломонии» и для фольклора: все эти мотивы, как указывалось выше, в каждом конкретном случае мы обнаруживаем на территории, не далеко отстоящей от Великого Устюга.

III

Анализируя идейный смысл повести и одновременно с этим следя по живой действительности второй половины XVII в. за идейной жизнью описываемой в повести социальной группы, мы можем между «Повестью о Соломонии» и современной ей русской действительностью провести несколько любопытных параллелей.

60-е гг. XVII в. в религиозно-общественной жизни Московского государства были весьма бурными годами. В эти годы окончательно оформлялся и захватывал широкие демократические массы раскол. Большинство низшего духовенства принимало участие в этом движении, становясь в оппозицию к реформам Никона, а мелкая буржуазия — ремесленники и торговцы, крестьянство и стрельцы — вместе с отрицательным отношением к церковным новшествам, вводимым Никоном, становились в оп-

---

[1] И. Яхонтов. Жития севернорусских подвижников поморского края как исторический источник, Казань, 1881, стр. 327—328.

[2] Туровец находился в б. Устюжинском у. Вологодской губ.

[3] Памятн. др. письм., 1879, вып. III, стр. 102—108 и 105—106.

позицию и к укреплению дворянского самодержавного государства в целом. Находило это движение отклик и в части старинного родовитого боярства. Начавшиеся в эти годы преследования раскольников вызвали, с одной стороны, отлив последних на окраины Московского государства (что только способствовало росту и распространению раскола) и, с другой стороны, интенсивное создание различного рода систем расколучений и выработку общественного и экономического быта раскольничьих общин.

Обеспокоенная идейным и количественным ростом раскольничества, официальная церковь, при поддержке государства, усиливает свои репрессии против него. Но верхушка духовенства понимает, что одними репрессиями победа не обеспечивается. Отсюда стремление к очищению обрядовой стороны церкви от различного рода искажений с точки зрения церковного канона и поднятию морального уровня духовенства, ярко сказывающееся в практике высшего духовенства. Это рассматривалось как мера, предупреждающая раскол среди прихожан и самого духовенства. Епархиальное начальство стремилось усилить свое наблюдение за периферией. Над богослужением и бытом местного духовенства устанавливался строгий контроль. Церковный сыск по этим делам — обычное явление в Московском государстве второй половины XVII в.

Вот эту напряженность в религиозно-общественной жизни Московского государства второй половины XVII в. и отразил в своем произведении, в меру своих сил и таланта, автор «Повести о Соломонии». Основной идейный смысл «Повести о Соломонии» — в ригористической обрядовой тенденции. Нарушение обряда, небрежность в его выполнении ведет к несчастью того, над кем этот обряд совершен. Все злоключения Соломонии автор объясняет, исходя из такого взгляда на значение обряда. Вот какие слова вкладывает он в уста Феодоры, являющейся в сновидении Соломонии: «А се тебе ведомо буди, что ты, Соломоние, тяжко страдала от демонов потому, что тебе пьяной поп крестил и половины святого крещения не исполнил».

Автор «Повести о Соломонии» в образной форме говорит о том, что в эти годы являлось предметом заботливости верхушки духовенства Великоустюжской епархии. Вот что, например, доносит соборный великоустюжский протопоп Владимир (одно из действующих лиц повести, как мы видели) ростовскому митрополиту: «А на Устюге, государь, на посаде, по всему посаду, опроче монастырей, попы и дияконы делают не по твоему святительскому указу, бесчинно, обедни звонят в полчаса дни и ранее, и часы говорят после заутрени, а не пред литоргиею, и поют и говорят в церквах божиих по сво-

ему изволу, как им годно». Челобитная Владимира оканчивается просьбой: «тех градских попов и дьяконов от такова бесчинства унять и наказать».[1] Этот же протопоп Владимир и протодиакон Дмитрий (тоже действующее лицо «Повести о Соломонии») ведут борьбу против пьянства среди духовенства. Они борются, между прочим, с соборным попом Никитой (по повести — духовником Соломонии).[2]

Если совершенно очевидно, что автор «Повести о Соломонии» борется за чистоту церковного обряда и поднятие морального уровня духовенства, то точно так же бесспорно и то, что он не мог пройти мимо главных, с точки зрения официальной церкви, нарушителей всего строя церковной жизни, т. е. мимо раскольников. Уже один из первых исследователей «Повести о Соломонии» Буслаев, обратил на это свое внимание. «Самое происхождение Соломонии из духовного звания, — говорит он, — и участие устюжских книжников в ее нечистой судьбе заставляет думать, что к поэтическому преданию приложена была задняя мысль... Не затрагивается ли уже здесь вопрос о различии крестосложения раскольничьего от никоновского»?[3] В самом деле, автор «Повести о Соломонии» на протяжении нескольких листов трижды останавливается на вопросе о крестосложении, все время настойчиво убеждая Соломонию через бывшие ей видения в необходимости правильного крестосложения. «А крестися ты рукою крестообразно и истово, как и прежде всего», говорит Соломонии Феодора. Почти в тех же выражениях обращаются к Соломонии Прокопий и Иоанн устюжские: «И крестися истово и разумно крестообразно, яко же и прежде». И, наконец, подобные же слова произносит и богородица: «И крестися ты, Соломоние, разумно и внятно крестным знамением, яко и преже сего».

Бесспорно, этот вопрос для автора «Повести о Соломонии» далеко не безразличен. Правда, он сформулирован настолько неясно, что на первых порах трудно решить, какую точку зрения в данном случае отстаивает автор. Но, учитывая близость автора повести к официальным кругам великоустюжского духовенства, можно утверждать, что в обстановке религиозно-общественной борьбы второй половины XVII в. его замечания были направлены против учения раскольников о двуперстном крестосложении.

Что борьба против раскольников в 60—70-е гг. XVII в. могла иметь особенно большое значение для Великого Устюга, — это бесспорно: для этого тогда были свои особые причины. Вели-

[1] «Акты Холмогорской и Устюжской епархии», ч. I, стр. 300—301.
[2] Ibid., стр. 404—409.
[3] Буслаев. Мои досуги, ч. II, стр. 11—12.

кий Устюг со всеми своими уездами в вопросах религии тяготел к идейно-религиозному центру Поморья — Соловецкому монастырю. Это тяготение определяется историческою ролью Соловецкого монастыря в колонизации Поморья. В 60—70-е гг. Соловецкий монастырь делается основной опорой раскола в идеологическом и в материальном отношениях. Уже от 1658 г. мы имеем «Соборный приговор соловецких иноков о непринятии новопечатных книг»; от 1653 г. — «Соборный приговор, составленный в Соловецком монастыре по случаю некоторых нововведений в церковной службе»; от 1666 г. — «Челобитную царю Алексею Михайловичу о сохранении прежних церковных чинов».[1] Пять челобитных одну за другой посылают соловецкие монахи в Москву в 1666, 1667 и 1668 гг. о своей вере.[2] Все эти документы являются ответом на реформы Никона и в совокупности дают стройную и цельную систему расколоучения. Агентура Соловецкого монастыря, — не только рядовые иноки, но и такие видные деятели раскола, как бывший протопоп московского Казанского собора Иоанн,[3] — распространяет идейное влияние монастыря в широких демократических массах Поморья.[4] Все это оканчивается вооруженным столкновением с московскими войсками. От безупречной авторитетности в вопросах религиозно-моральных к государственному преступлению — такой путь прошел Соловецкий монастырь в сознании населения северных окраин Московского государства в 60—70-х гг. XVII в. Было над чем задуматься. Официальной церкви открывалось безграничное поле действий.

Но открытые преследования раскольников составляли только часть ее борьбы с оппозиционно настроенными и к церкви и к государству элементами. Более глубокая борьба велась, если можно так сказать, на внутреннем фронте — в среде духовенства, преданного православной церкви, — с теми явлениями, которые могли привести к расколу: с небрежностью в обрядах, низким нравственным уровнем духовенства и т. п. И вот на этой особой позиции стоял автор «Повести о Соломонии». Ему нельзя отказать в глубине постановки вопроса о расколе. Основную причину страданий Соломонии и возможности ее нравственной гибели, т. е. полного отпадения от церкви, он видит не в вероучении раскольников, — хотя и против него он предостерегает свою героиню, — а в небрежности в церковном обряде рядового священника, непосредственно не связанного с расколь-

---

[1] См. Н. Субботин. Материалы для истории раскола, ч. III, стр. 13—14, 39—43, 44—47.

[2] Ibid., стр. 152—160, 160—164, 164—171, 208—211, 213—276.

[3] Субботин. Материалы..., ч. I, стр. 141, 284.

[4] Ср. Е. В. Барсов. Новые материалы для истории старообрядства XVII—XVIII вв., М., 1890, стр. VII.

никами, но нарушением церковного канона объективно приводящего свою паству к тем же последствиям, к каким ведет и раскол. Огромное значение для официальной церкви такой именно постановки вопроса об элементах раскола само собою очевидно. Эта позиция была оружием, с помощью которого официальная церковь в ряде случаев могла расправиться с элементами раскола при самом их возникновении.

Автор «Повести о Соломонии» не говорит открыто о раскольниках. Соломония в его изображении все время страдает от бесов, причем ее страдания рисуются так, что они могут быть истолкованы как объектирование ее болезненного психического состояния, как (на языке древней Руси) «мечтания». И в изображении этих «мечтаний» автор повести достигает исключительного мастерства. Почти все картины необычных фантастических злоключений Соломонии построены так, что единственным действующим лицом в них является сама Соломония. Поэтому читатель может воспринять их и как «мечтания». Те же проявления болезненного состояния Соломонии, какие наблюдают окружающие, не заключают в себе ничего невозможного, ничего фантастического. Автор повести, таким образом, остается весьма последовательным реалистом даже в изображении фантастических мучений Соломонии и ее чудесного исцеления. И вот на фоне этого вполне реалистического письма мы вдруг наталкиваемся на совершенно неожиданную картину — на изображение пререканий бесов с приехавшим на Ергу великоустюжским духовенством. «В то ж время, — говорится в повести, — бысть освещение церкви пресвятая богородицы ту на погосте. И приежжали с Устюга соборные церкви пресвятыя богородицы священник Никита, да протодиакон Димитрий, и инии мнозии людие града Устюга, и то все слышавше они вражие showнодейство, как они ея зваху и прошаху у отца ея. И каков человек в каких речах оспорит их или почнет их бранить, и они, окаяннии враги, всяко тех людей браняще и обличающе всякими греховными винами, кто что сотворил, каков грех, и обнажающе совесть всякаго человека. И по мале времяни они окаяннии отступивше». Это дается совсем не в плане «мечтаний», а как реальное событие, которое наблюдают и в котором участвуют живые исторические лица. Понять все это можно только в том случае, если мы учтем, что в средневековом сознании понятие *бес* очень часто выступало как понятие *враг* и *еретик*. О связи этих понятий в средневековом сознании в истории литературы уже давно поставлен вопрос. Д. Шестаков приводит ряд примеров такого отождествления.[1]

---

[1] Д. Шестаков. Исследования в области греческих народных сказаний о святых, Варшава, 1910, стр. 218—219, 220—226.

Мы в своей работе «Повесть о Савве Грудцыне» также указали на весьма красочный пример такого отождествления бесов с врагами торговой буржуазии второй половины XVII в. — иностранными восточными купцами.[1] Розыскные дела о расколе пестрят такими отождествлениями как никониан, так и раскольников с бесами.[2] В свою очередь, и в фольклоре прочно утвердился образ еретика — нечистой силы. Так, его мы встречаем в сказках: «Жених-еретик», «Муж-еретик и разбойник», «Данило-царевич и Настасья-царевна» и др.[3] М. Б. Едемский, передавая кокшеньгские предания, замечает: «С понятием еретик в представлении местного населения связываются и понятие о безбожнике (само собой), и о колдуне, и оборотне, и особого рода нечистой силе в образе человека».[4]

Мы уже видели, как тесно сплетаются в художественных образах повести отголоски старых религиозных представлений и народнопоэтическое восприятие действительности, складывавшееся уже в более позднее время. Поэтому, думаем мы, не будет слишком рискованным предположить, что и в этой картине «Повести о Соломонии» мы встречаемся с таким случаем, когда в образе бесов автор рисует еретиков-раскольников.

* * *

Итак, «Повесть о Соломонии» написана между 1671 и 1680 годами.

Это повесть о живых лицах, теснейшим образом связанная с жизнью и бытом духовенства Великоустюжского края и главным образом — с жизнью и бытом деревенского малокультурного слоя этого духовенства. В ней нашла свое отражение та сложная ситуация в русской религиозно-общественной жизни второй половины XVII в., которая сопровождала образование раскола и особого напряжения достигала на северной окраине Московского государства.

В художественном отношении повесть интересна сочетанием элементов традиционного агиографического стиля с фольклорными образами и картинами. Широкое использование фольклор-

---

[1] М. О. Скрипиль. «Повесть о Савве Грудцыне». См. Труды Отдела древнерусской литературы, изд. Акад. Наук СССР, III, 1936, стр. 150.

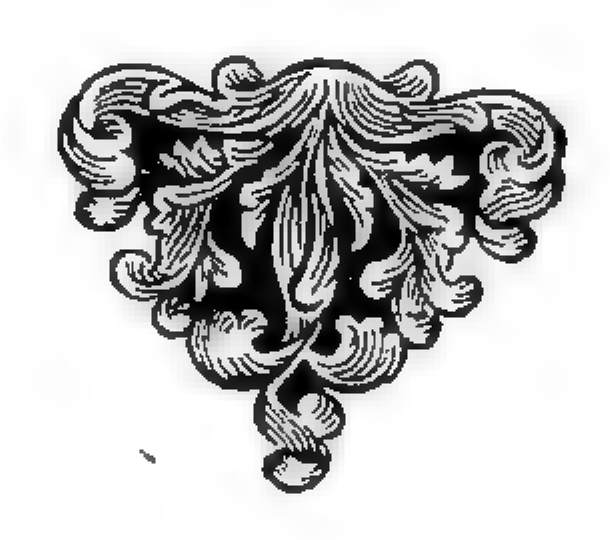
[2] См., например, «Дело о еретиках» в Трудах Архангельского статистического комитета за 1865 г., кн. 1-я, Отд. историч., стр. 74, 76, 81.

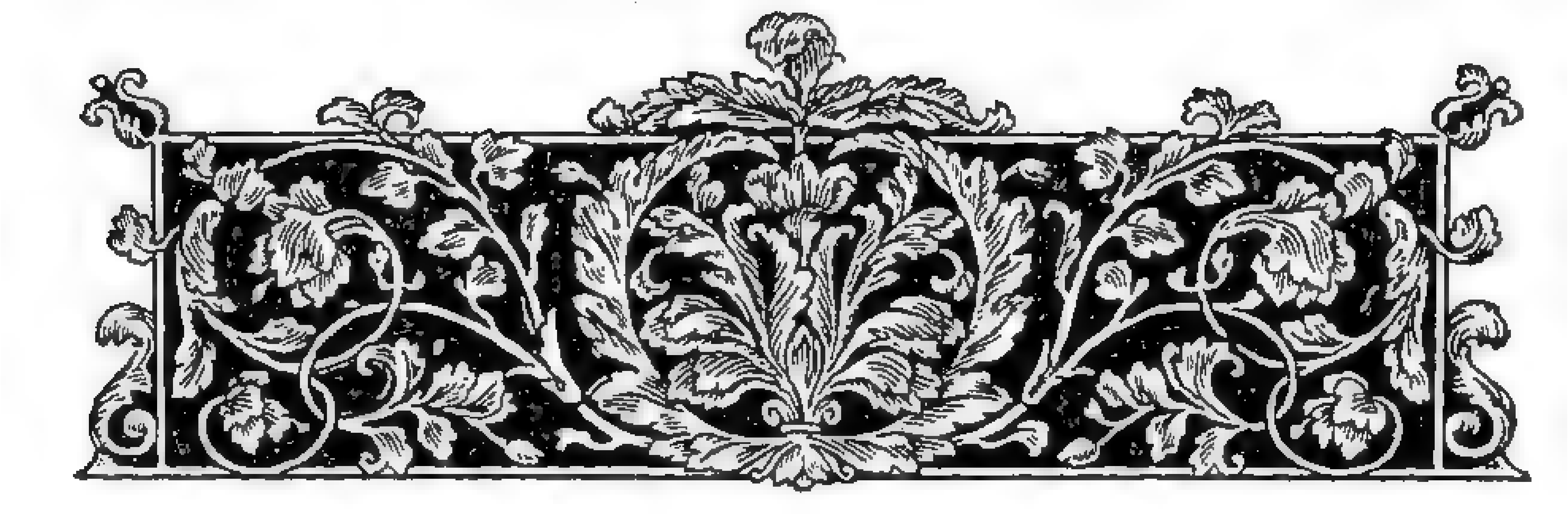
[3] Н. Е. Ончуков. Северные сказки, стр. 102, 122, 142, см. также Д. Н. Садовников. Сказки и предания Самарского края, СПб., 1884, стр. 240.

[4] М. Б. Едемский. Из кокшеньгских преданий. «Живая старина», 1908, вып. II, стр. 211.

ного материала ставит ее на одно из первых мест в ряде повествовательных произведений второй половины XVII в., стремившихся к преодолению старой литературной традиции на национальной почве, — вне литературных влияний Запада.

Реалистическая манера письма, сказавшаяся и в выборе злободневной темы, и в общей композиции повести, и в построении художественных образов и картин, и в изобилии бытовых деталей, — характерная черта ее стиля.

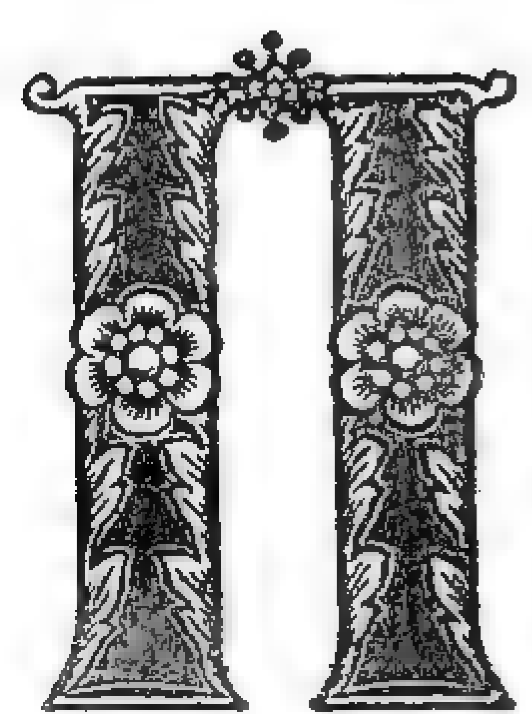




А. В. КОКОРЕВ

РУССКИЕ СТИХОТВОРНЫЕ ФАЦЕЦИИ XVIII в.

I



етровское время открыло в Россию широкую дорогу западноевропейской науке и светской художественной литературе. Большое распространение с начала XVIII в. получила юмористическая литература, и это не случайно. Подобно тому как в Западной Европе эпоха Возрождения дала толчок бурному развитию юмористики,[1] делавшей предметом шутки, анекдота то, что в суровые века средневековья считалось неприкосновенным, так и в России Петровская эпоха создала базу для широкого распространения юмористической литературы.

Правда, в царствование Петра I литература юмористического и назидательно-развлекательного характера в печатном виде появилась сравнительно в небольшом количестве — пять

---

[1] Е. М. Маслова правильно указывает на то, что XVI и XVII вв. в Западной Европе были временем массового увлечения историческим и бытовым анекдотом, фацециею, сентенциею и баснею. (Життя і літературна спадщина Лодовика Гвіччіярдіні, у Києві, 1929, стр. 85).

раз (с 1711 по 1723 г.) издавались «Апофегматы», два раза басни Эзопа (1700 и 1717 г.), но исследования Тихонравова, Пыпина и др. показали, что в Петровскую эпоху имела большое развитие рукописная традиция и что уже в первые десятилетия XVIII в. оригинальные и особенно переводные художественные произведения появляются в значительном количестве.

Начиная примерно с 30—40-х гг. XVIII в., с выступлением на арену жизни нового поколения, выросшего в Петровское время, с появлением более широкого и более демократического круга читателей, интерес к юмористике, зародившийся у нас еще в последней четверти XVII в., и именно к юмористике такой, какой увлекались на западе в XVI—XVII вв. (исторический и бытовой анекдот, фацеции, фабльо и т. п.), бурно растет.

В первой половине XVIII в. юмористическая литература распространялась у нас в печатных иностранных изданиях или же в рукописном виде, в переводах. Начиная с 60-х гг., в течение всей второй половины XVIII в., юмористическая литература усиленно печатается. Появляется целый ряд печатных изданий:

1. Товарищ Разумной и Замысловатой, или Собрание хороших слов, разумных замыслов, скорых ответов, учтивых насмешек и приятных приключений знатных мужей древнего и нынешних веков. Переведенной с французского и умноженной из разных латинских к сей же материи принадлежащих писателей как для пользы, так и для увеселения общества, Петром Семеновым, 2 части в Санктпетербурге, 1764.

2. Российская Универсальная Грамматика, или Всеобщее Писмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения русскому языку с седмью присовокуплениями разных учебных и полезно-забавных вещей. Издано в граде Святого Петра, 1769 года.

3. Смеющийся Демокрит, или Поле честных увеселений с поруганием меланхолии, переведено с латинского языка. Печатано при Императорском Московском Университете, 1769 года.

4. Книга письмовник, а в ней наука российского языка с седмью присовокуплениями разных учебных и полезно-забавных вещесловий. Новое издание пересмотренное, поправленное и умноженное. Цена не одетой пятнадцать гривен. Во граде Святого Петра, 1772.

5. Спутник и собеседник веселых людей, или Собрание приятных и благопристойных шуток, острых и замысловатых речей и забавных повестей, выписано из лучших сочинителей; а на Русской язык переведено московским мещанином Хрстфрм Дбрсрдвм, ч. ч. I—3, М., 1772, 1774, 1776.

6. Письмовник, содержащий в себе науку Российского языка со многим присовокуплением разного учебного и полезно-забавного вещесловия, соч. Николая Курганова. СПб., 1777.

7. Разскащик забавных и увеселительных повестей. В Санктпетербурге, 1777 года.

8. Библиотека немецких романов, переведена с немецкаго Васильем Левшиным, 3 части; Москва, 1780.

9. Похождения нового увеселительного шута и великого в делах любовных плута, Совест-Драла, большого носа, пер. с польского и других языков. 2 части, СПб.[1]

---

[1] Год первого издания не указан. См. Сопиков, № 8611 С., Смирдин, № 9246.

10. Похождения нового увеселительного шута и великого в делах любовных плута, Совест-Драла, большого носа, ч. I, содержащая в себе 20 похождений. Переведена с польского и дополнена с других языков, и часть II—1781.— Похождение ожившего нового увеселительного шута и великого в любовных делах плута, Совест-Драла, большого носа. Часть третия. Печатано в Москве, 1771 года.

11. Спутник и собеседник веселых людей. 2-е изд., 3 ч., 1783.

12. Товарищ разумный и замысловатый... изд. 2-е в 2 частях, М., 1787.

13. Похождение Ивана Гостинаго сына и другие повести и сказки, соч. Ивана Новикова; 2 ч., СПб., 1785—1786.

14. Товарищ разумный и замысловатый... изд. 2-е в 2 частях. М., 1787.

15. Товарищ разумный и замысловатый... издание 3-е. М., 1787.

16. Письмовник... Курганова. Изд. 3-е. М., 1788.

17. Спутник и собеседник веселых людей... часть III. В Москве, 1788.

18. Веселый и шутливый Меландр, повествующий короткие, но понятные анекдоты, восхитительные повести и истории с довольной чувствительностью, человека к честности и добродетели поощряющие. Пер. с латинского Андрей Урусов. 2 ч. М., 1789.

19. Письмовник... Курганова, 4-е изд., вновь выправленное, приумноженное и разделенное в 2 части. СПб., 1790.

20. Забавный разскащик, повествующий разные истории, сказки и веселые повести; соч. Евграфа Хомякова, М., 1791.

21. Девушкины прогулки и молодкины увертки, или лабиринт женских коварств. СПб., 1791.

22. Всем сестрам по серьгам, соч. Придворного философа, пер. А. Т. СПб. 1791.

23. Письмовник... Курганова, изд. 5-е, 1793.

24. Похождение задом наперед, или навыворот, перевел с немецкого Николай Осипов. СПб., 1795.

25. Новый спутник и собеседник веселых людей, или собрание приятных и благопристойных шуток, острых и замысловатых речей и забавных повестей, выбранных из лучших сочинителей, а на Российский язык переведенных Яковом Благодаровым. Ч. I—III. М., 1796.

26. Письмовник... Н. Курганова. изд. 6-е. СПб., 1796.

27. Любовники и супруги, или мущины и женщины, издал Глеб Громов. СПб., 1798.

28. Чувствительные анекдоты, посвященные душам благородно-мыслящим. Перевод с немецкого. Иждивением И. Новикова. М., 1799.

Уже из этого, далеко не полного, перечня печатных изданий юмористической литературы видно, какое широкое распространение она получила в XVIII в. Еще яснее это станет в том случае, если мы примем во внимание, что многие из указанных нами сборников переиздавались по несколько раз (см. выше).

Кто же являлся потребителем столь большого количества книг юмористического содержания? Читатель юмористической литературы не был постоянной величиной, наоборот, он все время менялся: в начале XVIII в. читателями были люди, знавшие латинский и польский языки, — книжники, выходцы из юго-западной Украины, студенты Славяно-греко-латинской академии и др. (в библиотеке митрополита Стефана Яворского оказался «Democritus ridens» на латинском языке). В 30, 40, 50-х гг.

юмористической анекдотической литературой одинаково увлекались и тогдашние ученые, и учащиеся в различных школах, офицеры, канцеляристы и подканцеляристы, посадские грамотники. С развитием «большой» литературы образованное общество постепенно отходит от юмористической, анекдотической литературы, и она становится любимым чтением мелких чиновников, мещан, посадских людей, крестьян. Вот главные потребители юмористической литературы.

Подтверждается это многочисленными записями бывших владельцев книг юмористического содержания, изданных во второй половине XVIII в. О том же говорит и такой, например, факт, что один из наиболее популярных сборников анекдотов «Спутник и собеседник веселых людей» (выдержал три издания) переведен московским мещанином Добросердовым. Н. И. Новиков, объясняя в своем предисловии к третьему изданию «Живописца» успех его тем, что «сие сочинение попало на вкус мещан», добавляет: «у нас те только книги третьими, четвертыми и пятыми изданиями печатаются, которые сим простосердечным людям... нравятся».[1]

Печатные издания юмористической литературы XVIII в. по своему составу были очень разнообразны: и исторический и бытовой анекдот, и фацеции, и басни наполняли эти сборники; написаны эти произведения были прозой.

С первых десятилетий XVIII в. под общим названием «жарт» широкое распространение получает юмористическая литература в стихотворной обработке. И по своему содержанию, и по стилю, и по кругу читателей «жарты» значительно отличаются от печатной прозаической юмористической литературы XVIII в. Это — бытового характера рассказы, написанные своеобразным языком, насыщенным народными словами и оборотами речи.

Антидворянские тенденции части «жарт», «вульгарность» их стиля и стихотворной формы — все это было причиной того, что они после своего появления сразу же пошли в народные массы, стали любимым чтением демократических слоев населения.

В. П. Адрианова-Перетц выделяет в рукописных юмористических сборниках XVIII века группу «жарт», представляющих собою переделку басен Эзопа.[2]

Предметом настоящей статьи служат рукописные стихотвоные «жарты», являющиеся обработкой фацеций.

---

[1] «Живописец» Н. И. Новикова 1772—1773, изд. седьмое П. А. Ефремова, СПб., 1864, стр. XI—XII.

[2] В. П. Адрианова-Перетц. Басни Эзопа в русской юмористической литературе XVIII века. Изв. по русск. яз. и словесн. Академии Наук СССР, т. II, 1929, стр. 377—400.

История фацеций тесно связана с литературой эпохи Возрождения. Писателем, утвердившим этот жанр литературы, был итальянец Поджо Браччолини (1380—1450), написавший свою знаменитую книгу «Facetiae».

Остроумные зарисовки быта различных слоев средневекового общества, тонкая насмешка над представителями средневековья—рыцарями, духовенством, женщинами, проповедь радости жизни, чувственности, широкое использование в качестве сюжетов народных анекдотов, шуток, наконец, очень доступная форма — коротенький рассказ — все это создало фацециям Поджо необычайный успех. Они получили огромное распространение среди различных слоев населения не только в Италии, но и за пределами ее — во Франции, Германии и в других странах.

Во Франции фацеции, переплетаясь с фаблио, дают почву для создания таких произведений, как «Сто новых новелл» (Cent nouvelles nouvelles, 1450—1461 г.) или как «Искусство врачевания («Le vrai médecine», 1540 г.), «Новые забавы и веселые разговоры» («Nouvelles recreations et joeux devis», 1558 г.) писателя Деперье.

В Германии пишут фацеции Тюнгер (1486 г.), Брант (1500 г.), большой популярностью пользовались «Libri facetiarum» (1506—1512 гг.) Генриха Бебеля, «Schimpf und Ernst» Иоганна Пауля (напечатан в 1552 г.).

В Германии авторы фацеций широко использовали французские фаблио, немецкие шванки. В начале XVI в. появляется знаменитая книга о Тиле Эйленшпигеле, «Ein Kurtzweitiglesen von Eulen Spiegeln», 1519 г., представляющая собою сложное переплетение итальянских, французских и немецких книжных источников, французского фаблио, немецких шванков. Рассказы о Тиле Эйленшпигеле — не что иное, как сборник фацеций.

В XVII в. фацеции получили огромное распространение в Польше.

На русской почве историю фацеций нужно начинать с переводного памятника XVII в. «Фацеции, или жарты польские». Оригиналом этого сборника А. Н. Пыпин считает книгу, описанную Мацеевским: «Facecye polskie żartowne a trefne povesci biesiadne, tak z rozmaitych authorow, iako też y z powiesci ludzkiey zebrane...».[1]

До нас дошло несколько списков русского перевода польского сборника фацеций — Толстовский, Забелинский, Общества любителей древней письменности, Тихонравова. В Толстовском списке указано, с какого языка сделан перевод «Фацеций» —

---

[1] А. Н. Пыпин. Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских, СПб., 1857, стр. 265.

«Повести смехотворны, есть же и злых обыклостей, переведены с польского языка» — и означена дата перевода — 7188 г., т. е. 1680 г. н. э.[1]

Тексты «Фацеций» в списках имеют разные заголовки. Толстовский список озаглавлен: «Фрашки, сиречь издевки; факеции или жарты польски, издевки смехотворны московски», а в списке Общества любителей древней письменности — другой заголовок: «Фацецы, или жарты польскии, повести, беседки утешки московскии». Однако по содержанию своему тексты списков «Фацеций» сходны.

Содержание сборника «Фацеции» составляют отчасти исторические анекдоты про славных мужей древности (Об Августе кесаре, поэте Вергилии, царе Ироде, Демосфене и т. п.), отчасти бытовые анекдоты нового времени итальянского и немецкого происхождения.[2]

«Фацеции, или жарты польские» в последней четверти XVII в., повидимому, вскоре после перевода их с польского языка, получили известное распространение среди книжных людей, но в дальнейшем, в XVIII в., интерес к ним, по нашему мнению, упал.

Е. М. Маслова высказывает другое мнение: она полагает, что «Фацеции» нашими предками «читались и перечитывались».[3] В подтверждение своей мысли она указывает на то, что рукописи «Фацеций» дошли до нас «пошарпанi», причем ссылается на сборник Тверского музея, № 147.

Едва ли Е. М. Маслова права. «Фацеции» сохранились преимущественно в списках XVII в. Списки же XVIII в. дошли до нас в свежем виде.[4] Что касается сборника Тверского музея № 147, то он, действительно, сильно потрепан, но стихотворные фацеции, помещенные в нем, и по содержанию своему, и по времени возникновения отличны от «Фацеций» XVII в. (см. ниже).

Тяжелый слог, огромное количество иностранных, главным образом, польских слов — все это препятствовало широкому распространению «Фацеций», и потому в XVIII в. они были вытеснены, по нашему мнению, с одной стороны, печатными изданиями юмористической литературы (см. выше), а с другой — стихотворными фацециями, распространявшимися во множестве в рукописных сборниках, а также рукописными прозаическими фацециями в редакциях XVIII в.

---

[1] В списке Общ. люб. древн. письменности указана другая дата — 1678 г. См. Памятники древней письменности, СПб, 1878—1879, стр. 94.

[2] См. Памятники древней письменности, СПб., 1878—1879, стр. 94—152. А. Н. Пыпин, Очерк..., стр. 266—276.

[3] Е. М. Маслова, ук. соч., стр. 91.

[4] См., напр., рукопись № 13 из собр. Тихонравова.

II

Стихотворные фацеции XVIII в. почти не подвергались научному исследованию. Единственной известной нам научной работой в области стихотворных фацеций является реферат Н. Н. Кононова, прочитанный им в заседании Славянской комиссии Московского Археологического общества 27 октября 1904 г. (краткое изложение содержания реферата дано в протоколах Славянской комиссии).[1]

Несмотря на то, что Н. Н. Кононов не располагал целым рядом рукописных материалов, имеющихся в нашем распоряжении, нужно сказать, что основные положения, высказанные им, правильны, и потому следует признать, что своим рефератом он положил начало научному исследованию стихотворных фацеций.

Нам известны семь рукописных сборников стихотворных фацеций — Погодинский № 1777, Лукашевича № 1344, Ундольского № 904, Тверского музея № 147/3622, Государственного Исторического музея № 2857, Тихонравова № 562 и один из моего собрания. Кроме того, отдельные, вошедшие в указанные сборники, стихотворные фацеции встречаются и в других рукописных сборниках юмористической литературы. Все названные выше сборники относятся к XVIII в. Самый старший из них, — повидимому, сборник из собрания Лукашевича, № 1343.[2] В «Отчете по Московскому Публичному музею» об этом сборнике говорится: «Рукопись скорописная, половины 18 века, в 8-ку, в начале повести об Арзасе — надпись одинакового с рукописью почерка: «списана 1747 года».[3] Мой сборник и по почерку и по филиграням (буквы А. Г., валюта и буква с) должен быть отнесен к 60-м гг. XVIII.[4] Сборник Государственного Исторического музея № 2857 написан одним почерком на бумаге Ярославской фабрики Затрапезного 30—40 и 50-х гг. и потому должен быть отнесен к 50—60 гг. XVIII в.

О сборнике Тверского музея № 147/3522 М. Н. Сперанский замечает: «Рукопись в 4 д., на 22 л., письма половины XVII в.»,[5] Погодинский сборник № 1777 тоже относится к

---

[1] Древности. Труды Славянской комиссии императорского Московского Археологического общества, вып. IV. Протокол 79 заседания, М., 1907, стр. 40—42.

[2] В сборнике № 1343, кроме стихотворных фацеций, имеется «Повесть о Петре — Златые ключи», «История об Арзасе и Розмире» и др.

[3] Отчет по Московскому Публичному музею, М., 1873, стр. 31.

[4] См. Н. П. Лихачев. Палеографическое значение бумажных водяных знаков, СПб., 1899, ч. I, стр. 415—416.

[5] М. Н. Сперанский. Описание рукописей Тверского музея, М., 1891, стр. 205.

середине XVIII в., сборник Ундольского № 904 и Тихонравова № 562 — к 50—60 гг.

К сожалению, сборники Лукашевича, Ундольского и Тверского музея дефектны: первый начинается с середины второго номера, во втором недостает №№ 1, 2, 14, 23, 25, 26 и 27, в третьем сохранилось только 14 рассказов — с 20-го по 33-й номер. В полном виде сохранились четыре сборника стихотворных фацеций — Погодинский, Тихонравова,[1] Государственного Исторического музея и принадлежащий мне.

В заглавии сборников — Погодинского и Государственного Исторического Музея говорится о цели автора — дать увеселительное чтение:

Увеселительные жарты,
Хотя не для исторического чтения,
Сочинены некоторым человеком для увеселения
Самые забавные жарты,
Охотно читать, как играть в карты.[2]

В заглавии сборника из моего собрания намечены группы фацеций по тематическому признаку:

Жарты забавны,
На виршу изданы,
Охотно читать,
Как в веселую игру играть.
В начале описуется о дворянах,
В тех жа виршах и о крестьянах,
О женах избранных,
Потом и о непостоянных,
О шуте забавном
И о его вымысле избранном
И о протчем же.

Групп этих, как мы видим, четыре: 1) «о дворянах и о крестьянах», 2) «о женах избранных и о непостоянных», 3) «о шуте забавном и о его вымысле избранном», 4) «о протчем».

В первую группу входят фацеции: «О дворянине и мужике», «О прохожем человеке», «О крестьянине и жене», «О дворянине и мужике», «О господине и слуге», «О мужике».

В первых трех рассказах изображается столкновение дворян с крестьянами. Дворяне стремятся обидеть крестьянина, но это им не удается.

---

[1] Сборник Тихонравова № 562 состоит из нескольких переплетенных вместе тетрадей. В начале рукописи (лл. 1—39 об.) находятся исследуемые нами стихотворные фацеции (№№ 1—34), записи 50—60 гг., затем (лл. 40—53) помещены разнообразные вирши (№№ 35—47) более поздней записи, и, наконец, начиная с л. 53 по 137, идут прозаические фацеции (№№ 48—166) записи конца XVIII века.

[2] В сборнике Государственного Исторического музея первая строчка — «Увеселительные жарты» — опущена.

В фацеции «О дворянине и мужике» рассказывается следующее. Однажды «дворянин с крестьянином в компании сидели и между собой разговор имели». Дворянин предлагает вопрос, в какое время года мужики веселятся, «пьют, гуляют и прохлаждаютца». Мужик простодушно отвечает, что веселятся крестьяне зимою, по окончании всех работ. Дворянин сравнивает крестьян со свиньей, которая «когда наелася, то и веселится». Тогда мужик, в свою очередь, спрашивает, когда дворяне веселятся. Весною «всячески забавами себя забавляем», отвечает дворянин. Крестьянин ядовито замечает, что и его кобыла резвится весною: «Очень весело по полю гуляет и поет часто: ги, ги, го, го». В концовке-притче автор с удовлетворением отмечает:

Тако дворянин над мужиком смеялся,
А сам от него в стыде остался.

Значительно резче выступление крестьянина против дворянина в другом рассказе того же названия. Крестьянин «вез на лошади дров продавать», впереди шел дворянин. Мужик кричит, чтобы он посторонился. Дворянин делает вид, что не слыхал, «мужик же в спину его оглоблей попал». Дворянин зовет крестьянина в суд. Судья, выслушав жалобу дворянина, предлагает вопросы мужику, но тот молчит: «только на судью взирает, никаких речей ему не объявляет». Судья заявляет, что немого он судить не будет. Дворянин в запальчивости говорит: «Сей мужик истинно не нем, вить сим часом ехал долго и кричал мне во все горло — посторонись, господин!» Судья рассмеялся и «велел дворянина прогнать в толчки, дать ему в спину хорошие тычки».

В рассказе «О прохожем человеке» дворян одурачивает какой-то прохожий бедняк.

Ко второй группе относятся фацеции: «О лукавой жене», «О глупой жене», «О некрасноличной девице», «О другой девице», «О старом муже», «О непостоянной жене», «О купцовой жене и о прикащике».

В этих фацециях еще чувствуется в сильной степени влияние сказаний «о злых женах». Женщины обвиняются в неверности своим мужьям, в хитрости, лукавстве и т. д.

В первой фацеции идет речь о том, что «жена некая замужем 20 недель была и в то время ребенка родила». Муж в недоумении; он указывает жене на то, что женщины ребенка носят 40 недель. Лукавая жена говорит мужу, что он в школе не бывал и потому не умеет правильно считать. «Послушай, — убеждает она мужа, — 20 недель я за тобою, да 20 недель как ты живешь со мною, итого будет 40 недель». Добродушный

муж согласился с доводами жены. Этот анекдот использован в «Шутовской комедии».[1]

С особенной резкостью говорится о хитростях непостоянных жен, обманывающих своих мужей, в трех фацециях — «О старом муже», «О непостоянной жене» и «О купцовой жене и о прикащике».

Старый муж, имевший молодую жену, никуда ее не пускал, спальню на ночь замыкал, а ключи прятал под кровать. Жена воспользовалась тем, что муж крепко заснул, «ключи сыскала, немедленно отперши, к любителю побежала». Муж проснулся, догадался, что жена ушла «к любителю», стал ждать, «откуда может жена прибежать».

Приходит жена, стучит в ворота, но муж не пускает и ругает ее. Жена оправдывается тем, что она была у своей матери, внезапно тяжко заболевшей: «Так ее схватила, когда б не пришла, к смерти ускорила». Муж, однако, не верит. Тогда жена пускается на хитрость. Она грозит, что покончит самоубийством, если он не пустит ее в дом: «Когда так поступаешь со мною, от тебя убита явлюся». Жена схватила большой камень и бросила его в глубокий колодец, находившийся у ворот. Муж испугался, бросился к колодцу, ищет способа спасти жену, а она, улучив удобный момент, проскользнула в ворота, крепко заперла их, села под окном и начала «немилостиво» бранить мужа за то, что он по ночам шатается неизвестно где. Муж побежден, он униженно просит прощения: «Любезная и верная моя супруга, помилуй ты своего друга, воля твоя, радость моя, со мною, совсем виноват пред тобою». Данная фацеция является переделкой новеллы из «Декамерона» Бокаччо (VII, 4).

В фацеции «О непостоянной жене» рассказывается: «Жена некая с мужем жила, только жестоко непостоянна была». Муж, узнав «о таковых ее непостоянных поступках», с любовью и кротостью увещевал ее исправиться. Жена клялась, обещала быть верной. «Незлобный муж» поверил, но жена снова предается распутству. Застав однажды ее с любовником, муж рассвирепел и стал ее жестоко бить. «Нарочно жена громко кричала, яко бы в тяжкую болезнь попала». Муж сжалился, перестал бить, взял ее под руки и уложил в кровать. Но жена не исправилась и продолжала изменять мужу, так как «обыкла ту пакость творить, не может до смерти забыть». Муж, узнав о новых изменах своей жены, очень рассердился, привязал ее веревкою к столбу и так бил, что со «стороны кому зреть ужасно». После этого он побежал прочь, а жена осталась привязанной к столбу. Один из любовников, увидев ее у

---

[1] См. В. Н. Перетц. Памятники русской драмы эпохи Петра Великого, СПб., 1903, стр. 534.

столба, идет к подруге своей возлюбленной и просит ее о помощи. Подруга подходит к столбу, выражает сочувствие своей подруге и сообщает, что ее дожидается любовник. Жена просит подругу: «Пожалуй, вместо меня привяжися», муж не узнает, «а я с моим другом ныне узрюся, пришед опять к столбу привяжуся». Подруга согласилась. Между тем возвращается муж, обращается к ней с вопросом, а та, наклонив голову, молчит. Муж пришел в ярость, схватил нож и отрезал нос, а «что не ево жена не видел». После свидания с другом своим жена возвратилась. Увидав подругу у столба без носа, в крови, она пришла в ужас. Подруга отвязала себя и бросилась бежать домой. Между тем приходит муж, разговаривает с женой, думая, что она без носа. Жена, к его удивлению, оказалась с носом и на основании этого доказывает свою правоту: «Зри, вить стою теперь пред тобою, что отрезал нос, он со мною, только сия есть вещь ужасная, то ваша нападка напрасная». Муж признал себя виновным, «слезно приносил на то прощение». Подруга прибежала в свой дом, и так как муж ее спал, она осторожно легла около него, затем внезапно вскочила и закричала. Муж проснулся и в тревоге спрашивает, что случилось. «Бритва с полки упала, — говорит жена, — да по моему носу попала» и весь нос «прочь отхватила». И этот простодушный муж верит своей лживой жене.

Сюжет этой фацеции положен в основание новеллы из «Декамерона» (VII, 8); встречается он и в других сборниках средневековой литературы.[1]

К третьей группе относятся фацеции, «О увеселительном шуте», «О том же шуте», «О том же шуте и купце», «О шуте в женской компании», «О шуте и о соседе», «О шуте и о жене его», «О шутовой болезни зубной», «О своей болезни головной», «О искушении им же лекаря», «О курьезном шуте», «О хвастуне», «О лгуне», «О другом лгуне». Фацеций о шуте в исследуемых нами сборниках неодинаковое количество: в списке Лукашевича—9, в Погодинском—10, в сборнике Государственного Исторического музея — 10, в списках А. В. Кокорева и Тверского музея по 13, в списке Тихонравова — 12 (см. сводную таблицу).

В четвертую группу мы включаем фацеции «О воре» (две фацеции), «О мошеннике», «О нищем», «О другом нищем», «О невеже», «О бесстыдном», «О двух товарищах».

Фацеции этой группы имеют разнообразное содержание: в них говорится о похождениях воров, о лукавстве нищих, о невежестве и бесстыдстве. Составитель сборника из моего собрания озаглавливает эту группу фацеций «О протчем». Однако

[1] См. А. Н. Пыпин, Очерк..., стр. 276. Ю. Поливка, Изв. отд. русск. яз. и словесности Акад. Наук, 1907, кн. 3-я, стр. 374.

все же можно наметить основную тему для фацеций четвертой группы: этой темой служит плутовство.

Остановимся на вопросе об авторе стихотворных фацеций и на их источниках.

Все семь списков стихотворных фацеций и по своему составу и по стилевым признакам в основном сходны; восходя к одним и тем же источникам, они принадлежат и одному основному автору. В Погодинском сборнике № 1777, в предисловии, — неопределенное указание на автора «жарт» — «сочинены некоторым человеком», а в сборнике Ундольского № 904 об авторе «жарт» говорится определеннее, именно указывается на его служебное положение: «Конец сим жартам забавным от артелерискаго подканцеляриста на виршу изданным».

В первой четверти XVIII в. с немецкого был переведен на русский обширный сборник юмористических рассказов, наиболее полно сохранившийся в рукописи № 1777 из Погодинского собрания. Этот сборник состоит как бы из двух самостоятельных частей. В первой находится 226 прозаических мелких рассказов, часть которых относится к фацециям, во второй — помещены стихотворные фацеции. Обе эти части имеют особые заглавия: «Примеры и жарты» — заглавие первой части, «Увеселительные жарты» — второй.

О первой части, состоящей из 226 прозаических рассказов, Пыпин говорит: «Здесь помещены два разных сборника — сперва приведено несколько анекдотов из смехотворных повестей, а далее, с 27 главы, начинается другой сборник, переведенный уже в XVIII столетии, оба вместе заключают 226 мелких рассказов».[1] Н. Н. Кононов в своем реферате высказал предположение, что первая часть представлена в Погодинской рукописи № 1777 не полностью, что в ней недостает 26 рассказов, замененных составителем сборника смехотворными повестями. Кроме того, Кононов указал на рукопись Государственного Исторического музея № 1623, в которой, по его мнению, сохранились рассказы, выпавшие из Погодинского сборника № 1777.[2]

Предположение Н. Н. Кононова я поддерживаю и попытаюсь дать ему обоснование.

В рукописном сборнике Государственного Исторического музея № 1623 имеется шестнадцать юмористических рассказов в прозаической форме: «О пастухе», «О любовнике», «О престарелом муже», «О трех друзьях», «О князе», «О близоруком и горбатом», «О горбатом и хромом», «О пересмешнике и лжеце», «О нищем», «О мошеннике», «Обман от сына», «Ответ на-

[1] А. Н. Пыпин. Очерк... стр. 291—292.

[2] Древности. Труды Славянской комиссии Московского Археологического общества, вып IV. Протоколы, стр. 41.

смешливый от слуги господину своему», «Умной и лукавой мужичей ответ», «О францышкане и кальвинском пасторе», «О двух францышканах», «О беседующем».

Все эти рассказы по своему содержанию, по объему и по языку вполне подходят к рассказам Погодинского сборника № 1777. Переводчик «Примеров», вошедших во второй сборник первой части (гл. 27—226), дал краткие повествования — бытовые анекдоты, довольно стройно изложенные, написанные языком Петровской эпохи. Каждый из этих анекдотов заканчивается притчей нравоучительного содержания. Следы немецкого оригинала, использованного переводчиком, явственны. В качестве действующих лиц в ряде рассказов выступают пастор (гл. 47), пасторша (гл. 198), поляк и немец (гл. 205), испанец, поляк и немец (гл. 97), причем неизменно немец изображается в положительном виде, а поляк в отрицательном, упоминаются немецкие имена действующих лиц — Ганс, Клаус; некоторые немецкие слова остались без перевода, например, «Цыммермаш» (гл. 52) и др.

Рассказы сборника Государственного Исторического музея № 1623 — тоже небольшие по объему бытовые анекдоты, изложенные простым русским языком со славянизмами и варваризмами, характерными для языка Петровской эпохи. Рассказы эти (как и в Погодинском сборнике № 1777) заканчиваются притчами и по складу речи и по характеру нравоучительных сентенций определенно напоминают притчи Погодинского сборника:

Надобно и с правдой уступать,
Чтоб от бещесного себе не замарать.
(Погодинский сборн. № 1777)

Когда дело несправедливо,
Лутче ево повесть молчаливо.
(Сборн. Государственного Исторического музея № 1623)

Приведем еще одно соображение в пользу того, что в сборнике Государственного Исторического музея № 1623 мы имеем часть прозаических фацеций, недостающих в Погодинском сборнике № 1777. Мне удалось обнаружить в Забелинском сборнике № 575 сорок шесть юмористических рассказов в прозаической форме, часть которых («О лжеце и пересмешнике», «О нищем», «О неистовой жене», «О мужике», «О французском дворянине», «О незлобном муже») в стихотворной обработке вошла в исследуемые нами сборники фацеций, причем четыре из шести названных выше прозаических фацеций («О неистовой жене», «О мужике», «О французском дворянине», «О незлобном муже») буквально совпадают и по заглавиям и по содержанию с соответствующими прозаическими фацециями Погодинского сборника № 1777, а два («О пересмешнике и лжеце», «О ни-

щем») буквально совпадают с соответствующими рассказами из сборника Государственного Исторического музея № 1623. Забелинский сборник № 575 представляет собою, повидимому, «избранные» рассказы из полного собрания прозаических фацеций, большая часть которых сохранилась в Погодинском сборнике № 1777, а меньшая — в сборнике Государственного Исторического музея № 1623. Характерно, что в Забелинском сборнике № 575 указанные выше фацеции (четыре) помещены в той же самой последовательности, в какой они находятся в Погодинском сборнике.

Погодинский сборник № 1777.	Забелинский сборник № 575.
Глава 37—«О жене»	№ 24—«О неистовой жене»
„ 38—«О незлобном муже»	№ 25—«О незлобном муже»
„ 46—«О мужике»	№ 32—«О мужике»
„ 50—«О французском дворянине».	№ 35—«О французском дворянине»

Не менее характерно также, что два рассказа («О пересмешнике и лжеце» и «О нищем») Забелинского сборника № 575, буквально совпадающие с соответствующими рассказами из сборника Государственного Исторического музея № 1623, восполняющего недостающие начальные рассказы Погодинского сборника № 1777, в Забелинском сборнике помещены тоже в начале и в той же последовательности, в какой они даны в сборнике Государственного Исторического музея № 1623.

Сборник Государственного Исторического музея № 1623	Забелинский сборник № 575
№ 8—«О пересмешнике и лжеце»	№ 8—«О лжеце и пересмешнике»
№ 9—«О нищем»	№ 9—«О нищем»

Вот этот, не дошедший до нас в полном виде, сборник, состоявший из 226 рассказов, и послужил основным источником при создании исследуемых нами стихотворных фацеций. Пятнадцать прозаических фацеций из Погодинского сборника № 1777 («О жене», «О незлобном муже», «О мужике», «О французском дворянине», «О мошеннике», «О воре», «О солдате», «О спесивой девице», «О двух товарищах», «О вдовом мужике», «О жене», «Един быстыдный человек некогда в компанию пришел», «Малоумная жена взяла старую часть мяса», «О бестыдном», «О поляке») и четыре из сохранившихся в рукописном сборнике Государственного Исторического музея № 1623 («О пересмешнике и лжеце», «О нищем» «О мошеннике», «Умной и лукавой мужичей ответ») переработаны в стихотворную форму.

Прозаические рассказы сборника Тихонравова № 562 совпадают с прозаическими фацециями Погодинского списка, нового они нам ничего не дают.

Вторым источником, из которого автор стихотворных фацеций черпал материал, был один из списков «Фацеций, или жарт польских», переведенных еще в последней четверти XVII в. (см. выше). Из этого сборника взяты четыре рассказа: «О двух девицах и балвере»,[1] «О нидерландском плуте, корову украдшем»,[2] «О гражданине упивающемся и о жене у его»,[3] «Двух мужей две жены из разуму вывели и оманули».[4]

Третьим источником для переработки прозаических фацеций в стихотворную форму был не дошедший до нас (или не обнаруженный еще мною) рассказ о похождениях шута. Что такой прозаический рассказ существовал, я заключаю на основании Забелинского сборника № 500 и сборника Вахрамеева № 556. В Забелинском сборнике № 500 находим в стихотворной форме четыре фацеции исследуемых нами сборников («Об увеселительном шуте», «О том же шуте», «О том же шуте и купце», «О шуте в женской компании»), объединенных в один рассказ под общим заглавием «История о бывшем у некоего короля увеселительном шуте», а в Вахрамеевском сборнике № 556 — под заглавием «Фаболы о шуте плуте». Этот материал позволяет, по моему мнению, утверждать существование прозаического рассказа о шуте, которым воспользовался автор стихотворных фацеций. Источники стихотворной фацеции «О купцовой жене и прикащике» мною пока не обнаружены.

Перекладывая прозаические рассказы в стихотворную форму, автор фацеций вместе с тем старался переделать их на русский лад. Это видно хотя бы из того, что он стремился использовать такие именно рассказы, какие могли бы подойти к русскому быту: взяты рассказы о дворянах, о крестьянах, о женах, о нищих и не взято ни одного рассказа о пасторах, о юристах, о римских судьях и т. п.

При самой переработке прозаических рассказов в стихотворную форму автор фацеций в тех же, несомненно, целях — приблизить их к русскому быту — систематически выбрасывает названия иностранных городов, стран, иностранные имена действующих лиц. В Погодинском сборнике № 1777, например, помещен прозаический рассказ под заглавием «О французском дворянине». Наш автор дает ему другое заглавие — «О дворянине и слуге». Из прозаического рассказа «О солдате», начинающегося с обозначения места действия («Един солдат отставной шел из Франции»), автором стихотворных фацеций исключено указание на Францию как место действия. Из рассказа «О поляке» — при переложении его в стихотворную форму — выброше-

[1] Памятники древней письменности, 1878—1879, стр. 115—116.
[2] Там же, стр. 118—120.
[3] Там же, стр. 139—142.
[4] Там же, стр. 142—149.

ны указания на то, что действие происходит в Париже, причем изменено и самое заглавие.

Автор стихотворных фацеций настроен антидворянски. Во всех фацециях исследуемых нами сборников, в которых в качестве действующих лиц выводятся дворяне, они неизменно изображаются в отрицательном виде — гордыми, зазнавшимися и в то же время тупыми, глупыми. Перекладывая в стихотворную форму рассказ «О солдате», автор заменяет изображенных здесь в крайне отрицательном свете купцов — дворянами.

В принадлежащем мне сборнике фацеций, в рассказе «О бесстыдном», в качестве бесстыдного выведен дворянин. Возможно, что вариант моего списка принадлежит основному автору.

В прозаическом рассказе сборника № 1623 Государственного Исторического музея «Умной и лукавой мужичей ответ» говорится о «грубияне», который придрался к мужику. Наш автор на место грубияна ставит дворянина.

Автор стихотворных фацеций все притчи, которыми заканчиваются «Примеры», выбрасывает и заменяет их своими притчами — концовками. Некоторые из этих притч тоже характерны своим антидворянским духом. Прозаический рассказ «О мужике»,[1] где дворянин изображен в глупом положении — мужик очень ехидно над ним посмеялся, — заканчивается притчей-сентенцией общего, безобидного для дворянина характера:

На высокий разум не надобно сподеватца,
Но во всех словах остерегатца,
Хоть с простаком говорить,
Но токмо надобно наперет рассудить.

В стихотворном переложении притча эта заменена такой концовкой автора:

И тако дворянин над мужиком смеялся,
А сам от него в стыде остался.

В рассказе «О незлобном муже», помещенном в «Примерах»,[1] изображается дворянин, который хотел поиздеваться над мужиком, над его недогадливостью; заканчивается этот рассказ притчей, направленной против крестьянина:

Тяжело умному с дураком тягаться,
Лучше ненадобно и слов терять.

В стихотворном переложении, вместо указанной притчи, во всех списках дается концовка иного характера:

Дворянин мужика хотел глупым назвать,
Который мог на то резон сказать.

---

[1] Погодинский сборник № 1777, гл. 46.

Автор стихотворных фацеций большею частью довольно близко держался текста прозаических рассказов, сохраняя сюжет не только в основном, но и в деталях. Даем для примера стихотворную фацецию «О воре» и ее источник—рассказ того же названия из Погодинского сборника № 1777.

Погодинский сборник № 1777
«О воре»

Вор нощию пришел в дом искать и обрел на кухне ветчину повешану и полез к ней. И когда ее отвезал и упал с нею в кухню, то оной вор вскорости вымарал сажею лицо свое и платье. Хозяин дому услышал стук, со свечою идет к кухне и встретился с ним: вопросил вора, зачем он тут пришел. Вор ответствует: прислал меня старый наш чорт, велел тебе оную ветчину подарить и тебя поздравити. Хозяин зело испужался, думал, что истинно. Перекрестя себе, с великим страхом пошел прочь в покои свои и сказал, что мне не надобно,— у меня много своей, поди подари, кому хочешь. И тако вор тот пошел с ветчиною, куда ему надобно. Чего желает, то исполняет, а того не знает, что душу свою погубляет.

Сборник Лукашевича № 1348
«О воре»

Вор некий по улицам гулял,
Чтоб ему украсть желал,
И увидел в одном доме ветчину висящую,
Вздумал зделать злость надлежащую,
Понеже та ветчина на кухне висела,
Для того чтоб дымом закоптела,
Он же тихо вылез, окорок отвезал
И от робости своей в кухню упал,
Причем, видя погибель, жестоко испужался,
Воровски учинить так догадался,
Тем возымел ко избавлению надежду
Лице свое взмарал сажею и одежду
Слыша хозяин великой стук,
Прибежал на ту кухню вдруг,
Осмотря вора, пресилно испужался
Что он безмерно так замарался,
Однакож спросил, какое ему есть дело
Притти на кухню так смело.
Вор отвещал: затем здесь я стал,
Старой человек наш к тебе прислал,
Нарочно вас ныне поблагодарить
И сим окороком ветчины подарить.
Слыша, хозяин тому подивился,
А паче от чертовой присылки устрашился.
Сказал вору: пожалуй ты не обленися,
Також напротив от меня ему поклонися:
Благодарен на ветчине, в коей довольно,
Как ни кушать, так волна.
И тако вор от гибели отговорился,
А окорок ветчины украсть почтился.

Так поступил автор фацеций с одиннадцатью рассказами из тринадцати Погодинского сборника № 1777 и с четырьмя из сохранившихся в сборнике Государственного Исторического музея № 1623. Два рассказа, а именно: «О двух товарищах» и «О поляке» подверглись значительной переделке.

Для сравнения приведу рассказ «О двух товарищах» из Погодинского сборника № 1777 параллельно со стихотворной обработкой того же сюжета.

Погодинский сборник № 1777

О двух товарищах

Два товарища всегда ели вместе. Некогда поставили им мясо с петрушкой. Един из них лакомее. И ежели другой усмотрел на блюде ко одной стороне куски мяса положены деликатнее, тогда он взял блюдо и повернул к себе и рек: Так обращаются небесные элементы или сти[хии].

И тако часто он творил, всегда лутчее к себе обращал, что другому ево товарищу дело стало противно быть. И тако некогда по обычаю своему стал блюдо, аки элементы оборачивать. Товарищ ево ухватил блюдо обоими руками и сколко ево силы, ударил о голову лакомца, что блюдо все расшиб, и кушанье з блюда по лицу ево потекло, а сам рек: так гремит и льет гром и поливает дождем.

Надобно меру знать,
Смиренного обижать,
Такого, как в сердце войдет,
Ничто ево не уймет.

Сборник А. В. Кокорева[1]

О двух товарищах

Два товарыща некоторыя были
И между собою дружно жили,
Толко один из них лакомка был,
Всегда лутчее кушанье любил.
Когда сядут кушать вместе,
То у лакомки те и вести,
Что хорошого кушанья не покинуть,
Как можно пред себя подвинуть.
В одно время кушать сели,
Никакого сумнения не имели.
Лакомка на товарыща взглянул
И кушанья блюдо пред себя повернул
И сказал: так сие блюдо вертитца
Как легкое колесо катитца.
Видя товарыщ лукавые его догатки
Устроил и над ним свои ухватки,
Сказал: великую ты науку знаешь,
Что наилутче кушанья хлебаешь.
Добро, вот и я в свои книги погляжу
Какова есть моя наука покажу.
Лакомка отвещал: напрасно тебе мнитца,
Сие блюдо в пример колесу вертитца.
Товарыщ взял блюдо без всякого норову,
Хватил ево и с кушаньем в голову,
Всего салом кругом обмарал,
А голову доволно проломал
И сказал: видят ли твои гласки,
Так у нас ездят громко в коляски,
Не погневайся, что в голове засвербелось,
И не сердись, так как колесо вертелось.
Ты, брат, хлебай вместе щи,
Другова кушанья один не ищи.
Тако лакомке стало и стыдно,
А товарыщу не обидно.

Переделывая данный рассказ, автор, видимо, стремился опростить его. Рассказ этот построен на шуточном сравнении поворота тарелки с мясом с вращением «небесных элементов» или «стихий». Автор, очевидно, счел это сравнение трудным,

[1] В сборнике Лукашевича этой фацеции нет.

непонятным и поэтому заменил вращение «небесных элементов» вращением колеса.

Другой рассказ — «О поляке» — наш автор значительно переделал, стремясь выбросить все специфически иностранное, именно французское.

Рассказы, взятые из «Фацеций, или жарт польских» (см. выше) при стихотворном переложении тоже подверглись изменениям: они значительно сокращены.

Стихотворные фацеции написаны довольно живо, простым языком. Вот начало одного рассказа:

Дворянин некий дорогою шел впереди,
А крестьянин брел позади,
Который вез на лошади дров продавать,
Чем бы себя з женою пропитать.[1]

Или:

Крестьянин некий месяц как женился,
Которому ребенок родился.
Очень таков радостен был,
Как в краткое время утеху получил.[2]

Автор фацеций стремится придать своим стихотворениям национальную русскую окраску широким привлечением народных слов и оборотов речи. Такими словами, как «вить», «ажно», «даве», «хлебай», «испужался», «окроме», «тута», «авось», «пужай», «очинно», «поверстались» и др., такими оборотами речи, как «по гостям охотник гулять», «в наших де местах», «мне уже пришло не в примету», «что хош», «вить не обманешь», «ну ста ин прощай» и т. п. — пересыпаны все стихотворные фацеции.

В то же время необходимо отметить в стихотворных фацециях наличие большого количества иностранных слов, характерных для языка Петровской эпохи. «Резон», «бестия», «политичен», «камора», «курьезность», «шкаф», «смерть публичная», «маршал», «маршалок», «фрейлина», «презент», «респект», «момент», «каналия» — вот наиболее часто встречающиеся в стихотворных фацециях варваризмы.[3]

---

[1] Погодинский сборник № 1777, рассказ № 6; сборник Лукашевича № 1343, рассказ № 12; сборник Ундольского № 904, рассказ № 6; сборник Тихонравова № 562, рассказ № 12; сборник А. В. Кокорева, рассказ № 3; сборник Государственного Исторического музея № 2857, рассказ № 6.

[2] Сборник Лукашевича № 1343, рассказ № 5; Погодинский сборник № 1777, рассказ № 14; сборник А. В. Кокорева, рассказ № 4; сборник Государственного Исторического музея № 2857, рассказ № 6, сборник Тихонравова № 562, рассказ № 5.

[3] Ср. В. Н. Перетц. Очерки по истории поэтического стиля в России, гл. V—VIII. Оттиск из ЖМНП, 1907; Н. А. Смирнов. Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху, СПб., 1910.

Смешение русской народной речи с словами церковно-славянскими и иностранными, смешение народных оборотов речи с книжно-церковно-славянскими и светско-деловыми — все это придает языку фацеций черты столь характерные для «русского обходительного языка»[1] Петровской эпохи: витиеватость, шероховатость и в то же время своеобразную цветистость речи.

По своей лексике и фразеологии стихотворные фацеции очень близки к целому ряду художественных произведений Петровской эпохи.

Изучаемые нами фацеции написаны досиллабическим стихом. Досиллабические вирши зародились в древнерусской письменности, повидимому, под влиянием кратких изречений, в большом количестве наполнявших рукописные сборники («Пчела»), с одной стороны, и под воздействием народной «складной», т. е. рифмованной, речи (пословицы, поговорки, скоморошьи прибаутки) — с другой.

Толчком к широкому применению в русской письменности (с начала XVII в.) досиллабического стиха послужило влияние украинской литературы.

В XVII в. досиллабическими виршами одинаково пользовались и авторы кантов, псальм, исторических сказаний («Сказание» Авраамия Палицына, «Иное сказание»), и авторы произведений сатирического и шутливого характера («Калязинская челобитная», «Чаша моря Соловецкого» и др.). С утверждением в русской литературе силлабического стиха (со второй половины XVII в.) и в особенности силлабо-тонического (с 30—40-х гг. XVIII в.) досиллабические вирши стали уделом писателей, предназначавших свою продукцию для демократических слоев населения.

Широкая доступность досиллабического стихотворческого мастерства вследствие несложности его, а также близость досиллабического стиха по своему построению к народному стиху (отсутствие цезуры, переноса) послужили причиной того, что досиллабические вирши прочно утвердились в литературных произведениях для народных масс и имели большое распространение как в рукописном, так и в печатном виде — в лубочных изданиях — в течение всего XVIII и первой половины XIX вв.

За более чем двухсотлетнее существование в досиллабическом стихе произошла значительная эволюция. В начале XVII в. досиллабические вирши еще очень примитивны: это были неравносложные, большей частью длинные строчки, связанные бедной, однообразной, главным образом глагольной, рифмой, вкрапливаемые в прозаический текст. В дальнейшем досиллаби-

---

[1] П. Пекарский. Наука и литература в России при Петре Великом, СПб., 1862, т. II, стр. 368.

ческие вирши приобретают самостоятельное значение, причем в них заметно некоторое движение: ритм их становится живее, рифма разнообразнее, смелее. Особенно это относится к виршам сатирического и шутливого характера, оплодотворявшимся тесной связью с народной речью.

Стихотворные фацеции, как мы установили (см. выше), представляют собой переработку прозаических рассказов.

Уже в конце XVII в. развивается практика переработки прозы в стихотворную форму. Симеон Полоцкий в данном отношении сделал очень много; его рифмованная псалтырь, а также «Вертоград многоцветный», в значительной степени являющийся переложением прозаических повествовательных произведений (и в том числе фацеций), дали толчок к переработке прозы в стихотворную форму.

Переводчик «Фацеций, или жарт польских» в отдельных местах дает рифмованные строчки (см. например «О неведущем языка воложска»,[1] «О двух друзьях»,[2] «О некоем злодее, повелевшем очки купити»,[3] «О уздравлении падагры у плебана»[4] и др.

В. Н. Перетц говорит о широко развившейся в Петровскую эпоху страсти книжников-писателей переходить к рифмованной речи при всяком удобном случае, даже в повествовании.[5]

Автор фацеций был опытный стихотворец. Ему приходилось при разбивке рассказов на стихотворные строчки, при подборе рифм делать вставки слов, целых фраз, многое опускать. Со всем этим он легко справляется. В этих вставках, как и в перекомпановке материала, заметен свой шаблон, своя стихотворческая манера. Автор фацеций избегает длинных строчек, пользуется преимущественно строчкой от 8 до 13 слогов; в построении рифм стремится к разнообразию: применяет женскую и мужскую рифму, дает ряд довольно оригинальных смелых рифм («вместе» — «вести», «прочь» — «дочь», «вдруг» — «жук», «хош» — «тож», «кровать» — «признать», «место» — «неизвестно» и т. п.).

Стихи фацеций по своей структуре сильно напоминают вирши в интермедии «Сказание о гаере Гарликине Россиском».

Переработку прозаических рассказов в стихотворную форму неизвестным автором правильнее всего отнести к 20—30-м гг. XVIII в.

Сличение текстов исследуемых сборников приводит нас к

---

[1] Памятники древней письменности, 1878—1879, стр. 110—111.
[2] Там же, стр. 111—112.
[3] Там же, стр. 117.
[4] Там же, стр. 120—123.
[5] В. Н. Перетц. Очерки по истории поэтического стиля в России, гл. V—VIII. Оттиск из ЖМНП, 1907, стр. 13.

убеждению в том, что в работе над стихотворными фацециями, помимо основного автора, принимали некоторое участие переписчики и составители сборников.

Среди переписчиков и составителей сборников фацеций находились люди, которые вслед за автором продолжали работать над фацециями. Работа эта шла главным образом по линии стиля: отдельные славянские слова заменялись русскими, особенно тяжелые обороты речи заменялись более легкими, вставлялись иногда новые фразы и т. д.[1]

Переписчики стихотворных фацеций влияли в некоторой степени и на состав сборников — добавляли новые стихотворные фацеции, некоторые выбрасывали и т. д. Так, например, самый ранний дошедший до нас сборник стихотворных фацеций Лукашевича состоял из 31 стихотворного рассказа, в списке Погодинском их было 32, в списке Тверского музея и в списке Тихонравова — по 33, в моем списке 34, а в списке Ундольского — 35.

Таким образом, мы видим, что состав сборников фацеций с течением времени изменялся, и количество рассказов в них росло.

Особенно характерен в данном отношении список из моего собрания: и в нем, как и в других списках, замечаются некоторые изменения в области стиля, но переписчик или составитель этого сборника проявил большую инициативу: одни заглавия к рассказам он опускает (№№ 3, 4, 5, 6, 7), другие (№№ 8, 10) изменяет; больше того, два рассказа «О воре», имеющиеся в других списках, составитель моего сборника решил объединить (см. № 31 в принадлежащем мне сборнике), причем сделал это неудачно: на линии смычки двух рассказов получилась путаница.

Кроме того, составитель принадлежащего мне сборника принял меры к более плановому расположению самих стихотворных фацеций: он распределил их по темам (о дворянах, о крестьянах и т. д.). Он же, повидимому, является и автором стихотворного предисловия, уже цитированного мною:

Жарты избранны,
На виршу изданы...

III

До конца XVIII в. печатных сборников стихотворных фацеций не было — только в 1790 г. вышел такой сборник под заглавием «Старичок-Весельчак, рассказывающий давние московские были». «Старичок-Весельчак» пользовался большой популяр-

[1] Я не учитываю исправление описок.

ностью и выдержал несколько изданий. Сопиков указывает издания 1790, 1801, 1804 гг. Смирдин отмечает издания 1789, 1790 гг. В «Старичке-Весельчаке» (цитирую по изданиям 1790 и 1815 гг.) напечатаны следующие стихотворения: «О нищем», «О глупом мужике», «О дворецком и мужике», «О глупой жене», «О дворецком большого барина и о мужике», «О бесстыдном», «О лукавой жене», «О крестьянине и жене», «О непостоянной девице», «О господине и слуге», «О старом муже», «О воре», «О неверной жене», «О куре и лисице», «Разговор трезвого с пьяницей», «О лукавой жене и прикащике», «О шуте», «О шуте и о купце», «О пире именитого гражданина», «О разнощике и жене его», «О зубной болезни».

Стихотворения, помещенные в «Старичке-Весельчаке», по нашим исследованиям, взяты из рукописных сборников стихотворных фацеций. Однако издатель «Старичка-Весельчака», воспользовавшись стихотворными фацециями, отредактировал их по-своему. Так, в тех стихотворениях (№№ 3, 5, 6), в которых дворянин изображается в отрицательном освещении — глупым или бесстыдным, — он как действующее лицо исключается или заменяется дворецким. Производятся и другие изменения, главным образом стилистические: текст некоторых стихотворений сокращается, выбрасываются отдельные фразы, делаются вставки, славянские слова заменяются русскими («града» — «города», «сицевым» — «таковым»; «уязвлена»—«воспалена», «пришед» — «когда пришла» и т. д.), простонародные слова и выражения заменяются книжными («навeтки» — «словечки», «бабьи увертки — «женские увертки», «даве» — «прежде»). Для примера даю параллельно текст стихотворного рассказа «О крестьянине и жене» из «Старичка-Весельчака» и из рукописного сборника фацеций Лукашевича № 1343, подчеркивая разночтения.

Сборник Лукашевича № 1343	«Старичок-Весельчак»
№ 5 О крестьянине и жене.	О крестьянине и жене.
Крестьянин *некоторой как месяц* женился,	Крестьянин *один с месяц как* женился,
Которому ребенок родился.	Которому ребенок родился,
Очень таков радостен был,	*О чем весьма* радостен был,
Как в краткое время утеху получил.	*Что* в *такое* краткое время утеху получил.
Поехал в город двенадцать колыбелей покупать,	Поехал в город двенадцать колыбелей покупать,
В чем было детей своих качать,	В чем было *бы* детей своих качать,
Мнил: *конечно, жена всякой месяц* будет родить,	Мнил: *если жена что месяц* будет родить,
То не всегда за *колыбелями* ходить.	Так не всегда за *колыбелью* ходить.
И купя наклал целой воз, ехать поспешает,	*Накупя,* наклал воз и ехать поспешает
Нарочно скорей лошадь погоняет.	

Встречу ему дворянин — люлькам подивился,
Что так много спросить почтился.
Крестьянин сказал: не на всякий месяц разъезжать
Моим детям колыбели покупать.
Моя жена месяц за мною была,
А ныне ребенка мне родила.
Дворянин: напрасно, дурак, трудишь себя,
Знать у нея ребенок был до тебя.
Когда так у жен творитца,
Чтоб в месяц мог ребенок родитца?
Мужик: не рассудительно, сударь, *о сем* вещает,
Хотя ты и дворянин, *а о сем* не знает,
Разсуди-тка: *когда ты корову* покупал,
А когда с теленком *и так вить не знал*
И ежель она у тебя отелитца
(пропуск)
Дворянин более ему не говорил,
Понеже он ему рассудил.
И тако дворянин мужика хотел глупым назвать,
Которой на то мог резон сказать.

И сильно лошадь погоняет.
Дворянин *некий, видя сие,*
Спросил его, добро это чье.
Он же отвечал, не всякий месяц разъезжать,
Моим детям колыбели покупать.
Моя жена месяц за мною была,
А теперь мне ребенка родила.
Дворянин: напрасно, дурак, трудишь себя,
Знать у нея ребенок был до тебя.
Когда так у жен творится,
Что месяц, то ребенок родится?
Мужик: нерассудительно о том вещает,
Хотя дворянин, *а в том ничего* не знает,
Разсуди-тка *ты, когда корову покупал*
И, когда с теленком, *о том знал.*
И, ежели она у тебя отелится,
Скажешь, не мой теленок, мне не годится
Небось объявишь, что твой.
Ну, так и сей ребенок мой.
Дворянин ему более не говорил,
Потому его правее рассудил.
И хотя мужика глупым назвал,
Но мужик лучше смету знал.

IV

Фацеции вообще, а стихотворные в частности, оказали большое влияние на письменную литературу и фольклор.

Стихотворные фацеции служат одним из основных источников целого раздела лубочных изданий. Лубочная литература являлась, несомненно, крупным фактом в жизни широких народных масс, подтверждающим глубокую тягу народа к чтению. Эта потребность в течение долгого времени удовлетворялась в значительной степени лубочными изданиями: тут давались сведения и ответы на вопросы философского порядка, исторического, литературного. Народные картинки — «это целая литература, ожидающая особой обработки», говорит Забелин.[1]

Стихотворные фацеции и удовлетворяли в некоторой степени народные запросы литературного порядка. Лубочные тексты сочинялись авторами из народа или из слоев, близких к народу. Тексты к народным картинкам до настоящего времени не изучены. Между тем с уверенностью можно сказать, что в них вошел огромный материал — и оригинальные русские литературные

[1] Библиографические записки, 1894, № 2, стр. 80—81.

произведения предшествующего времени, и переводные, и фольклорные.

Работая над стихотворными фацециями и над вопросом о связи их с народными картинками, я натолкнулся на такой факт: одно из стихотворений Симеона Полоцкого — «Нос, откушенный отцу» [1] — послужило, повидимому, источником для надписи к народной картинке. В стихотворении С. Полоцкого рассказывается об отце, которому сын-преступник при прощании перед казнью откусил нос, а в народной картинке «Зачем мать сына худо учила» говорится о матери, которой сын при прощаньи перед казнью откусил ухо. Имеется несколько русских народных картинок, текст которых заимствован из рукописных сборников стихотворных фацеций. Картинки эти следующие: «Глупая жена и кошка», «Лукавая жена», «Повесть забавная о купцовой жене и прикащике», «Разговор дворянина с крестьянином», «О старом муже и молодой жене», «О шуте, о купце и о прикащике», «Бесстыдный в трактир зашел», «Хитрый лакомка», «Сказка о воре и бурой корове».

Ровинский считал, что тексты некоторых из перечисленных народных картинок заимствованы их издателями из «Старичка-Весельчака». Он решительно заявляет, что из числа рассказов, помещенных в «Старичке-Весельчаке», перепечатаны дословно в наши картинки: «Глупая жена и кошка», «Лукавая жена», «О купцовой жене и прикащике», «О куре и лисице», «Разговор крестьянина с дворянином», «Разговор пьющего с непьющим», «Старый муж молодую жену имел». [2]

Но Ровинский ошибался. Его ввело в заблуждение сходство стихотворных рассказов «Старичка-Весельчака» с текстом народных картинок: одинаковые сюжеты, рифмованная проза и др.

Лубочные тексты народных картинок, указанных Ровинским, значительно разнятся от текстов «Старичка-Весельчака». И авторы народных картинок и издатель «Старичка-Весельчака» воспользовались рукописными текстами стихотворных фацеций, но по-разному, так как, очевидно, и цели были у них разные. У издателя «Старичка-Весельчака» видно стремление «олитературить», «облагородить» стихотворные фацеции, а отсюда вытекает и соответствующее его отношение к тексту фацеций (см. выше).

Авторы народных картинок, наоборот, стремились держаться ближе к рукописному тексту фацеций, допуская в нем, однако,

---

[1] «Вертоград многоцветный» С. Полоцкого, рукопись Государственного Исторического музея, л. 329 об.

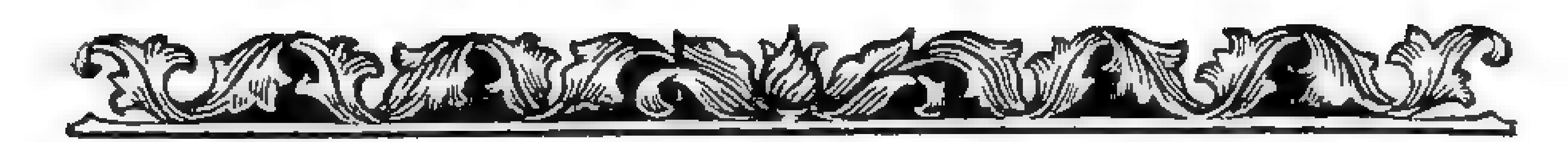
[2] Д. Ровинский. Русские народные картинки, СПб., 1881, кн. V, стр. 527.

некоторые изменения в целях еще большего приближения фацеций к пониманию демократических слоев населения, а именно: сокращение длинных сложных фраз, замену отдельных слов и выражений (вместо «сказал»—«спрошал», вместо «становился»—«хоронился», вместо «опять в нощи в дом притти почтилась»—«И ко двору мужа своего возвратилась» и др.)

Стихотворные фацеции имеют большое значение при изучении русской литературы XVIII в. и фольклора.

При своем сатирическом характере, отмеченном еще А. Н. Пыпиным, они были в то же время в течение долгого времени развлекательным чтением для широких народных масс.





ФАЦЕЦИИ ПО СПИСКУ ЛУКАШЕВИЧА[1]

3. О ПРОХОЖЕМ ЧЕЛОВЕКЕ[2]

Один курьезный человек дорогою шел
И для своей пищи в трактир зашел,
Где сидели два неубогие дворяны.
Присмотрел, что гораздо убраны,
И он, хотя и в худой одежде,
Остался в такой надежде,
Сумнения ни о чем не имел
И за стол с ними сел,
Которым показалось обидно,
К тому ж и сидеть с таким стыдно.
Умыслили над ним смехи учинять
И хорошего кушанья ему не давать.
Когда ж кушанье хорошее хлебали,
А ложки все по себе разобрали.
И один сказал: каналия тот ничево не разумеет,
Кто без ложки есть не умеет.
Курьезный, взяв хлебную корку
И выдолбил как ложку,
Воткнул вилку, стал хлебать,
Дворяне начали на него взирать.
Причем объявил им: шельма тот бывает,
Которой ложкой хлебает.
Принесли им малые птички,
Стрелянные в лесу из дички.
Они ж по себе разобрали,
А тому курьезному и косток не наклали.
Видит он таковые смехи,
Думает учинить и им помехи.

---

[1] *Варианты к текстам фацеций по списку Лукашевича подведены по списку А. В. Кокорева.*

[2] *В списке Лукашевича фацеция № 1 не сохранилась, от фацеции № 2 сохранился лишь конец.*

Скоро поставили жареного кулкуна не в худе,
Да принесли великой пирог на блюде,
Еще ж хорошая оловянная чаша,
Убрана в ней молошная каша,
Которое кушанье никому не давал,
Пред себя ближе курьезной придвигал.
И объявил товарищам: ну, я не спорил чести вашей,
Насилу дождался колкуна с кашей,
Паче ж всех, мой дружок,
Пришел в гости ко мне пирожок.
Дворяна: знаем давно те вести,
Всем надобно кушать вместе.
Курьезный сказал: постой, теперь воля не ваша,
Ко мне в гости пришла с кампаниею каша,
Хотя б кому также[1] уступлю,
Кулкуна с костми, а кашу с пенками облуплю.
Вы прежде птички кушали и лапши,
А я дождался, то мне и екши.
Дворяна: прямой каналья, свинья, нечеуха,
Набивай свое свиное брюхо.
Покушавши оных, все стали веселитца,
На лутчую кровать курьезной ложитца.
Дворяна увидели, стали с постели ево будить,
Хотят ево за то уж и бить
И кричат: встань, свинья, разнесла тебя каша,
Вить сия постель наша.
Курьезный встал, на них взирает,
А сам будто пластыри обирает,
Говорит: помилуйте, дайте пластыри собрать,
В то время сам могу встать,
Они ж думали, вещь не иная,
Знать, у него болезнь худая.
Сказали: что мы к нему прилезли,
Конечно, он во французской болезни.
Лутче от него отстать,
Хотя и надлежало тут спать,
Отошед в ином месте стали;
Рады, что уж от него отстали.
Курьезный же скоро с постели встал,
Тех спящих всех ....,
И яко бы в том не ево дело,
Опять лег спать смело.
Хозяин поутру пробудился,
Что воняет в доме дивился,

[1] Кому хотя б так не уступлю.

Посмотрел: что те заспалиса,
Видать, никак они....
Говорил: прямые свиньи, доброму человеку смеялись,
А сами в каком стыде остались.
Стал толкать их ночью
И говорит: нет дела никому,
Не... дураки в честному дому.
И с великим бесчестием прогнал,
А умышления о том не знал.
Не надлежит напрасно обижать,
Самому надо совесть знать.

4. О ЛУКАВОЙ ЖЕНЕ

Жена некая замужем 20 недель была
И в то время ребенка родила.
Муж ее оттого пришел в сомнение,
Рассуждал: быть сему во удивление.
Говорил ей: любезная моя и верная супруга,
Я почитаю тебя за верного друга,
Объяви мне по верной своей надежде,
Отчего родила ребенка времени прежде
Я слыхал от многих людей,
Что ребят носят 40 недель.
Жена: ах, что тебе во удивление,
Как так приходишь в сомнение.
Конечно, ты в школе не бывал,
Уж того выкласть не познал.
Рассуди-тка ныне уж о себе,
Не стыдно ль так будет тебе.
Я, баба, арифметике не училась,
А теперь вам объявить почтилась.
Послушай: 20 недель я за тобою
Да 20 недель как ты живешь со мною,
Итого будет 40 недель.
Ну, о чем же ты сумнение имел?
Сказал: правда, я в сумнении был,
Про другие двадцать недель и позабыл.
Тем лукавая жена права явилась,
От мужа своего явно отговорилась.

5. О КРЕСТЬЯНИНЕ И ЖЕНЕ

Крестьянин некоторой как месяц женился,
Которому ребенок родился.
Очень таков радостен был,

Как в краткое время утеху получил.
Поехал в город 12 колыбелей покупать,
В чем было детей своих качать.
Мнил: конечно, жена всякой месяц будет родить,
То не всегда за колыбелью ходить.
И купя наклал целый воз, ехать поспешает,
Нарочно скорей лошадь погоняет.
Встречу ему дворянин, люлькам подивился,
Что так много, спросить почтился.
Крестьянин сказал: не на всякой месяц разъезжать,
Моим детям колыбели покупать.
Моя жена месяц за мною была,
А ныне ребенка мне родила.
Дворянин: напрасно, дурак трудишь себя,
Знать, у нея ребенок был до тебя,
Когда так у жен творитца,
Чтоб в месяц мог ребенок родитца.
Мужик: нерассудительно, сударь, о сем вещает,
Хотя ты и дворянин, а о сем не знает.
Рассуди-тка: и когда ты корову покупал,
А когда с теленком, о том вить не знал,
И ежель она у тебя отелитца,
. . . .
Как скажешь, не твой теленок — мой.[1]
Дворянин более ему не говорил,
Понеже он ему рассудил.
И тако дворянин мужика хотел глупым назвать,
Которой на то мог резон сказать.

6. О ВОРЕ

Вор некий по улицах гулял,
Чтоб ему украсть желал,
И увидел в одном доме ветчину висящую,
Вздумал сделать злость надлежащую,
Понеже та ветчина на кухне висела,
Для того, чтоб дымом закоптела.
Он же тихо взлез, окорок отвязал
И от робости своей в кухню упал,
Причем, видя погибель, жестоко испужалса

---

[1] *В списке Лукашевича — пропуск. В списке из собрания Тихонравова строки эти читаются так:*

И ежель она у тебя отелитца,
Как скажешь не твой теленок и тебе не годитца,
Небось объявишь ево вить свой.
Ну, так и сей ребенок мой.

Воровски учинить так догадалса,
Тем возымел ко избавлению надежду:
Лицо свое вымарал сажею и одежду.
Слыша хозяин великой стук,
Прибежал на ту кухню вдруг.
Осмотря вора, пресильно испужалса
Что он безмерно так замаралса,
Однакож спросил, какое ему есть дело
Притти на кухню так смело.
Вор отвещал: затем здесь я стал,
Старой человек наш к тебе прислал,
Нарочно вас ныне поблагодарить
И сим окороком ветчины подарить.
Слыша хозяин тому подивился,
А паче от чертовой присылки устрашился.
Сказал вору: пожалуй, ты не обленися,
Также напротив от меня ему поклонися.
Благодарен на ветчине, в коей доволно,
Как покушать, так волна.
И тако вор от гибели отговорился,
А окорок ветчины украсть почтился.

7. О МОШЕННИКЕ

Лукавой мошенник так воровал,
Что обрезования ушей своих не миновал.
Когда привели ево тем штрафовать,
Чего многие люди стали взирать,
Где судьи собраны были,
Которые такой штраф положили,
Пришед к нему, кат стал волосы поднимать
Как бы уши отрезать достать.
Осмотрел, что ушей у него нет,
Не знает, как дать и ответ.
Вопросил вора: или ты без ушей родился,
Как я обыскать их не почтился.
Вор отвещал: мне все равно уши и бес тебя отрезаны [1]
. . . .
И где у сих шелмов ушей напасется,

[1] *В списке Лукашевича пропуск. Восстанавливаем несколько строчек по списку Государственного Исторического музея № 2857:*

Отвещал вор: мне все равно,
Уши и без тебя обрезаны давно
И, указав рукою на тех судящих,
Во многом народе предстоящих,
Кто де у сих шельмов ушей напасется.

Никто от таковых не обережется
По моему общему совету,[1]
Ушей давно у меня нету.
Хотя в беде пребывает,
А злость творить не забывает.

8. О НИЩЕМ

Нищий лукавый по улицам ходил,
Во многих местах милостину просил
И претворял себя, яко бы глух и нем,
Не объявлял речей своих ни с кем.
Познал некий человек ево умышление,
Положил и тем свое мнение.
Пред многими объявил: я де того не упущу,
И зрите, над тем нищим что обыщу.
И взял в одну руку пеняз, а в другую монету,
Сим требовал от нищего ответу.
Говорил: ну, бедный нищий, аще ясно объявишь,
Сие в руках держащае себе получишь.
Кроме того, хощу тя наградить,
Аще ли можешь мне объявить.
Видя то, лукавый нищи тем же часом
Закричал пред всеми великим гласом:
Господин мой, давно уж вем,
Никогда не бывал нем.
Взяв от рук данное, побежал,
В немалой радости оттого пребывал.
Видя зрящие люди тем дивовались,
Как того нищего искусить догадались.
И тако пред всеми постыдился,
А себе сытости добился.

9. О НЕВЕЖЕ

Невежа некий тем более отважился,
К одному человеку ходить в гости повадился,
Где случаютца быть много званых,
К тому ж и людей изрядных.
Он же никого в компании не стыдился,
Еще против протчих выше садился
И пил питье самое виноградное,
Говорил: то мне паче всего отрадное.
Мало в беседе обще, чтоб кого слушал,

---

[1] *В списке Государственного Исторического музея:*
По их общему совету

Прежде всех пил и кушал. .
Видя то, хозяин зело осердился,
Человека своего послать к нему почтился,
Дабы более не сидел за столом,
Поколь не выгнал вон колом,
И объявить: что он любит пить,
Дубовой палкой или березовой почтить.
Человек ему того объявил,
Которое хозяин чинить приказал.
Невежа о сем не испужался,
Лишь при всей компании рассмеялся.
Говорил: мне все равно, водка и вино простое,
Не требую, чтоб было оно густое,
А из сих питей березовое отменить,
А дубовой палкой честнее будет бить.
Слыша вся компания никакой ему помехи [1]
. . . .
Более и хозяин на него не сердился,
Толко во общей компании веселился.
Притча. Невежа стыда не знает,
Все равно принимает.

10. О ВТОРОМ НИЩЕМ

Другий нищий лукавой так догадался,
В пристойных местах во граде валялся,
Якобы не может с места встать.
О ево ж умышлении никто не может познать.
Другий такой же стоя плачет и рыдает,
Како помощи сыскать, не знает,
Объявляет, яко брат был единоутробный
. . . . [2]
Се же какую возымел отраду,
На сем месте умирает от гладу,
Самы убоги и болезненный нищий,
Уже почти неделю не имеет пищи.
К тому же горкая смерть одолевает,
Что над ним учинить, не знает,
А все для того толко учиняли,
Чтоб более милостины давали.
Случилось некоему человеку мимо итти
И того лежащего на пути найти.
Познал ево умышленное лукавство,

---

[1] Слыша вся компания учинили смехи,
Никакой не сделали ему помехи.
[2] Во всем быть ему подобны.

Учинил такое ему препятство:
Стал якобы о нем воздыхать,
Толко не знает, какую помощь обыскать.
Говорил: ах, бедный, некому тебя охранить,
Хотя что-нибудь в головы положить.
Жаль мне несносно, сыскал бы способы многи,
Да видишь и сам я стал в дороги,
И взяв великую кучу соломы наложил,
А о ево тако болезни потужил.
Когда ж нищи почтился на солому лечь,
Он же принужден ее скоро зажечь.
Нищи тут боле не лежал,
Велми скоро вскоча побежал,
А малые ребята за ним бежали,
Сами ж громогласно кричали:
Государи, что так горит,
А нищий из мертвых бежит.
И тако сколко оной нищи не поступал лукаво,
А наконец дело ево стало неправо.

11. О МУЖИКЕ

Мужик некий без всякого доводу,
Грамоте не знал от своего роду
И удивлялся, как протчие знают,
Зело искусно книги читают.
Случилось ему некоторым местом идуща,
Увидел человека в очках, книгу чтуща.
Вопросил: господин мой, что это
На нос твой круглое надето,
И в сию книгу прилежно взираешь,
Конечно, по сему грамоте знаешь.
Думал о себе: ежели и ему надеть,
То и он станет разуметь.
Человек ему отвещал: грамоты не знаю,
А что на нос надето, в них читаю.
Услыша о том, радостен стал,
Пошел во град, много очков искал,
Толко мало кто мог разуметь,
Спрашивал вещи на нос надеть.
И между тем один купец познал
И хорошие очки ему показал,
Которые на нос свой радостно надевал,
У того купца книги вопрошал,
Которой ему многие давал выбирать,
Пускай в которые хощет читать.

Взяв книгу, в очки взирает
И ни единого слова в ней не прочитает.
Осердясь говорит: нет, худы, сколко не надеваю,
А ни единого слова в книге не знаю.
Я недавно видел, их человек надевал,
Тот при мне великую книгу читал.
Купец о дурачестве ево догадался,[1]
. . . .
Сказал: сколко тебе книг не разбирать,
А не учась грамоте не прочитать.
Как возму дурака толкать в толчки,
Лишь переломал у меня очки.
И тако оный мужик оттого постыдился,
С немалым бесчестием отойтить почтился.

12. О ДВОРЯНИНЕ И МУЖИКЕ

Дворянин некий дорогою шел впереди,
А мужик-крестьянин брел позади,
Которой вез на лошади дров продовать.
Кричал тому дворянину: господин, берегись,
Видишь, еду с возом, посторонись.
Дворянин же будто того не слыхал,
Мужик же в спину ево оглоблей попал,
В том велику обиду ему показал,
Епанчу ему много разодрал.
Видя дворянин стал с ним бранитца,
Схватил мужика, говорил: пойдем судитца
Или заплати мне за епанчу,
То уж и к судье не потащу.
Мужик: полно, господин, кричал, берегись,
Покинь, лучше со мной не судись,
А ты лихо спесив болно стал,
Того ради в спину оглоблей попал,
Дворянин: нет, мужик, бестия,
Хочу учиню над тобой свое отмщение.[2]
Когда стал теперь со мной бранитца,
Пойдем с тобой оба судитца,
И пришел пред судью, стал объявлять,
Какую обиду мужик мог ему показать:
Говорил: господин судья, с такого виду
Мужик сей показал обиду.
Я шел дорогою перед ним впереди,

---

[1] Купец о дурачестве ево догадался,
Взяв назад очки, лишь рассмеялся.
[2] Я буду искать на тебя бесчестия.

А он на лошади ехал позади
И оглоблей епанчу мою повредил,
А я от него требовал, мне не заплатил,
Прошу милость со мною учинить,
В том деле ево спросить.
Мужик толко на судью взирает,
Никаких речей ему не объявляет.
Судья неоднократно громко кричал,
Дабы что-нибудь мужик ему отвечал,
Свирепо закричал: слышишь ли, говорит,
Тебя вить чучелу винит.
Видя судья сказал: нечего немово судить,
Когда ничево судье не говорит.
Дворянин судье: истинно, не нем,[1]
Вить сим же часом ехал бодро
И кричал мне во все горло:
Посторонись, господин,
Изволь видеть, еду с возом — не один.
Слыша судья лишь рассмеялся,
Почто же ты и просишь,
В такой толко себя стыд приводишь,
Когда он кричать тебе громко чтилса,
Чего ж ты ему не посторонилса.
И велел дворянина прогнать в толчки,
Дать ему в спину хорошие тычки.
И тако мужик явился прав,
А дворянин нанес на себя штраф.

13. О ГЛУПОЙ ЖЕНЕ

Глупая жена сделала глупость такую,
Поставила в печь на оловянной тарелке часть жаркую.
Когда там в печи оставила,
То оная тарелка растаила.
Не знает о том, как мужу сказать,
Принуждена на кошку показать.
Лишь муж стал просить обедать,
Она ж в то время стала бегать.
Объявляет мужу: батка мой, беда приспела,
Кошка мясо и с тарелкою съела.
Слыша муж толко рассмеялся,
Тот же час учинить над ней догадался.
Добро, опять кошка не станет блудить,
Посмотри, как возму ее рубить.

[1] Дворянин судье: нет, судья, я о том вем,
Сей мужик истинно не нем.

Взял кошку, к жениной спине привязал
И немилостиво веревкой бить стал.
Кошка лапами спину дерет,
А жена кричит: ах, пришло умереть,
Воля твоя, друг мой, со мною,
Я виновата перед тобою.
Муж: не говори того, я тебя люблю,
А кошку вить за блудню бью.
Ты вить сама бить велела,
Почто она тарелку с мясом съела.
И тако жена мужа в обман не привела,
Лишь на себя погибель навела.

14. О БЕССТЫДНОМ

Бесстыдный человек такой был,
Всегда пред обедом в гости ходил.
Приидет, многие речи продолжает,
Нарочно хозяина обедать дожидает,
Как бы речей ево слушать.[1]
Хозяин о ево лукавстве мог познать,
Не велел скоро кушать сбирать.
Бесстыдный хозяину: уже утрудил вас,
Я, чаю, кушать пришел час.
Не погневайся, сам я о том ведаю,
Не противно ль что часто у вас обедаю.
Хозяин: нет, ничего, сударь, за здравие вам желаю,
А вашего выхода от себя ожидаю,
Лишь изволишь домой побрести,
То я велю кушать на стол принести.
И тако оной бесстыдной с великим стыдом отошел,
Не рад, что к нему и пришел.

15. О НЕКРАСНОЛИЧНОЙ ДЕВИЦЕ

Девица одна так некрасналична,
Красотою зело на арапку слична,
Но как себе рассуждение имела,
Драгое платье белое на себя надела,
В котором с подругами гуляла,
Прилично ли ей такое платье носить, объявляла.
Говорила: сестрицы, прошу объявить,
Пригоже ли мне белое платье носить.
Они же ей сказали: очинно украсилась (в)друк

[1] Как бы речей ево боле слушать,
Посадит ли вместе с собой кушать.

Как плавает в молоке жук.
Притча. Непристойно вороне поступать
И павлинное платье надевать.

16. О ДРУГОЙ ДЕВИЦЕ

Легкомысленная девица некая была,
В своем девичестве постоянна была,[1]
От многих находилась почтима
И протчими девицами любима.
По некоем времени мало заболела,
Кинуть кровь балвира призвать велела.
Когда ж пришел балвир, зело дивился,
О ее красоте много сумнился,
Умыслил ее искусить,
Действительно ль во своем девичестве может быть.
Объявил ей свою скоро науку,
Взял перевязал у ней руку,
Однако ж крови не кидает,
На лице ее прилежно взирает,
Которая ему говорила: что меня утруждаешь?[2]
Балвир сказал: опасаюсь вам объявить,
Чтоб вас еще не прогневить,
Ибо два ланцета при себе обретаю,
Одним девицам, а другим женщинам кидаю.
Нарочно такой сделан про девиц,
Другой про женщин краснолиц.
Каким повелите кинуть приказать,
Чтоб можно было о том знать.
Слыша девица много о том рассуждала,
Моя[3] совесть, которым женщинам, кидать приказала.
Итак, тем обманом она пристыдилась,
Несовестной девицей сама явилась.
На лукавые слова не надо сподеватца,
Надлежит самой остерегатца.

17. О ГОСПОДИНЕ И СЛУГЕ

Господин неки слугу своего любил,
Которой за ним всегда ходил,
Что ему приказывал исполнять,
То чтоб в памятную книжку писать,

---

[1] слыла
[2] Она ж вопросила: что меня утруждаешь,
Для чего крови не кидаешь?
[3] Зная

А без записки ничего не творить,
О исполнении всякого дела спросить.
Случилось тому господину гулять
И в глубокую очень яму упасть,
Которой кричал слуге, чтоб тащить,
Не знает, в яме как и быть.
Слуга отвещал: не погневайся на меня,
Сам знаешь, имею приказ от тебя,
Дабы без записки ничего не творить,
Чего ради нелзя вам пособить,
Подожди, ежели записку сыщу,
То из сей ямы вон вытащу.
Когда же записки о том нету,
Изволь оставаться до свету,
Я ваш приказ исполняю,
В противность учинить не дерзаю.
И тако оный господин в яме ночевал,
И тот ево слуга на то сказал.
Притча. Самому на себя пенять,
Надобно рассудя приказать.

19. О СТАРОМ МУЖЕ

Старый муж, а жену молодую имел,
Отпускать из дому своего никуда не смел.
Когда же с ней вместе опочивают,
Тогда спалню замком запирают,
Ключи прятал под кровать,
Чтоб неможно жене признать.
И в некоторое время веселился,
Лег спать, долго не пробудился.
Тогда жена его ключи сыскала,
Немедленно отперши, к любителю побежала.
Старой тот муж от сна восстал,
Жены своей везде в доме искал.
Познал, что к любителю пошла,
А ключи под кроватью нашла.
Заперся в доме один, стал ждать,
Откуда может жена прибежать.
Жена с любителем веселилась,
Опять в нощи в дом притти почтилась.
Стучит в ворота, чтоб пустили,
Боле стоять на улице не морили.
Услыша муж окошко отворил,
Всячески жену свою бранил.
Кричал: поди, каналия, отсюда прочь,

Нечестного ты отца дочь,
Осквернила мужа своего ложу,
Не хощу видеть скверную твою рожу.
Узришь, публично, что учиню над тобою,
Когда ты так учинила со мною.
Умилосердись, я затем отошла,
От матушки по меня девка пришла,
Что почью так ее схватила,
Когда б не пришла, к смерти ускорила,
Того ради побежала вскоре,
Не смела тебя разбудить в горе.
Ты спишь, про то не знаешь,
Видишь, на старости к чему привлекаешь.
Муж: нет, мой друг, не обманешь меня,
Уж давно вить знаю тебя,
Ничем ты от меня не отговорисса,
Узриш, где утре очутисса.
Жена: ежели ты не отворишь мне вороты,
Посмотри, какие сделаю тебе заботы,
Сей же час брошусь в колодец пред тобою,
Когда поступаешь ты так со мною.
От тебя убита являюся сей час,
К великой беде приведу вас.
Муж: утопись, каналия, не буду тужить,
Чем живу видя, себя крушить.
Мнил, что, где ей утопитца,
Толко тем хощет миритца.
А подле ворот глубокой колодезь был,
Муж для воды нарочно рыл.
Жена ево, схватя камень велик,
Насилу подняла в мочь толик
И бросила в колодезь, якобы утопилась,
А сама нарочно тяжко воздохнула
И сказала: прощай, муж, от тебя топлюся,
И в такой погибели явлюся.
И нарочно спряталась сама в такое место,
Чтоб о ней мужу было неизвестно.
Слыша муж, великий страх его одержал,
Тот час к колодезю прибежал,
Стал бросатца, помощи искать,
Чем бы жену из колодезя достать.
Между тем в дом вбежать ускорила
И крепко ворота затворила.
Под окошком в доме сидит,
На тово мужа своего глядит,
Которой потужа толко печально быти,

Хощет паки в дом внити.
Она ж немилостиво на него осердилась,
Будто так в лице изменилась.
Закричала: где ты, старой чорт, гулял?
Вижу я, что от меня . . . . . .
Какие мне от тебя радости,
Что творишь от жены пакости.
Те ли твои леты, прелюбодей,
Ты хош бы стыд возымел от людей.
Мною уж бываешь недоволен,
А к другим прелюбодейкам склонен.
Умри тут, в дом не пущу,
А над тобою суд особливой я обыщу.
Диви уж как на инова,
Особливо как на человека молодова,
Ты, старой чорт, осмидесяти лет,
А совести в тебе ничего нет.
Для чего я живу во младых летах,
Кто[1] в таких меня наветах.
Мне пред прочими женами обидно,
Осмотрись, как будет не стыдно.
Муж: любезная и верная моя супруга,
Помилуй ты своего друга.
Воля твоя, радость моя, со мною,
Совсем виноват пред тобою.
И тако хотел жену в погибель ввести
А она могла склонна к себе привести.

20. О ВОРЕ

Зело злоумышленный вор был,
Во многих градех для кражи ходил
И уже шельмован был неоднократно,
Толко ему было то невнятно,
Многие люди ево воровства знали,
Никаких вещей у нево не покупали.
Случилось тому вору мимо итти,
В деревню к крестьянину ночевать зайти.
И приметил, что есть корова,
И стал промышлять воровать,
Как бы себя в погибель не ввести,
А корову у крестьянина со двора свести.
Лишь легли в избе все спать,
То почтился вор встать

---

[1] Кто слыхал ли

И тую корову со двора увел,
Никакого о ней сумнения не имел.
Отведши в лес, корову ен привязал,
А сам паки к крестьянину прибежал,
Так же как и прочие спит,
Никто ево умышления не мнит.
Поутру встал, крестьянина благодарил,
Что ево ночевать пустил.
Увидя крестьянин сказал: куда тебе итти,
Пойдем вместе по пути.
Вор объявлял, что из деревни во град,
Чему крестьянин был и рад.
И тако оба со двора пошли
И дорогою вместе с ним шли.
Не знает вор, что сказать,
Как бы корову от дерева отвязать,
И объявил крестьянину: прошу я тебя,
Пожалуй, подожди мало меня.
Я толко маленко здесь побываю,
У некоторого человека долгу попрошаю,
Хотя б не денгами мне дал,
Рад бы чем-нибудь взял.
И так давно уж продолжился,
А скоро хотел отдать — божился.
Крестьянин: пожалуй, доброй путь,
Я подожду вас тут.
Пошед в лес, корову отвязал — бежит,
А крестьянин на него лишь глядит,
Дивитца и размышляет паче всево,
Будто как корова та ево.
Говорит: умилосердися, воля твоя,
Слово, слово, как буренушка моя.
Вор: правда в сумнение тебя приводит,
Человек человека [1] приходит.
Я сию корову за долг взял,
О чем даве прежде тебе сказал.
Крестьянин: правда, что ты объявляешь,
А сию корову с моею не распознаешь,
Да что хощешь, дома содержать
Или намерен во граде продать.
Вор: я тебя прошу потрудитца, [2]
А мне самому теперь недосужно,

[1] И человек в человека
[2] Вор: я тебя прошу потрудитца,
Продать оную корову почтитца.

Имею некоторое дело нужно.
Ведает вор, что всяк знает,
Ничево у него не покупает.
Крестьянин сказал: изволь, я продам,
Что дадут денги, отдам вам.
Взял корову, продал за несколько монет,
И принес денги, зело благодарил,[1]
Одну монету ему подарил,
Сам же отходя, с ним простился,
За ево приятельство поклонился.
Крестьянин рад, получа монету,
Не знает, что коровы дома нету.
Пошел домой, скоро поспешает,
Дети кричат: ах, батюшка, нездорова,
Везде в деревне мы искали,[2]
Теперь куда нам себя девать,
У кого знаем[3] молоко хлебать.
Слыша крестьянин, велми испужался,
Что сам продал корову, догадалса.
Закричал: ах, мои детушки, пропали.
Как я свою корову не узнал.
Явно вор меня обманул в глазах
Лишь в недавних часах.
Тот, жена, корову украл,
Что сию нощь с нами ночевал.
Мы с ним шли дорогою вместе,
Он подпустил лукавые вести.
Я дивился, корову свою примечал,
Да велми лукаво на то мне отвещал.
Будто за долг оную взял.
Тем лукавством вор обманул,
А крестьянин от него вздохнул.

21. О НЕПОСТОЯННОЙ ЖЕНЕ

Жена некая с мужем своим жила,
Толко жестоко непостоянна была,
Мужа своего мало возлюбляла,
А протчих к любви своей приобщала,

---

[1] И принес денги в тот же момент,
Вор взяв зело за то крестьянина благодарил.
[2] Пошел домой, скоро поспешает,
Жена с детьми на дороге встречает.
Дети кричат: ах, батюшка, дома нездорова,
Пропала наша бурая корова
Везде в деревне искали,
Ни у кого в доме не познали.
[3] станем

Которая находилась в преизрядной доброте,
В цветущей младости и красоте.
О таковых ее непостоянных поступках
И многих происходящих пакостей и смутках
Мужу известно о всем стало.
И стала немалая ему забота,[1]
Ибо он такого злого навета не знал
Своею горячностью верно возлюблял,
Не знал, что с ней более чинить
И от таких злодейств отлучить.
Разговаривал с ней и протчи вещал,
Склонением, любовию от того отвращал.
Она ж, яко постоянная, винность объявляла
И впредь того чинить не желала,
Яко бы то нечаянно во младости уязвили,
Некоторые жены к тому превратили.
Слыша незлобивы муж на то положился,
Более о том спрашивать не тщился.
По прошестви же нисколко не унялась,
Паки за то ж злодейство принялась.
Многих младых юношей любила
И, его покинув, и в дом к себе приводила.
Нечаянно муж к ней пришел,
Одного любителя спяща нашел,
Пресилно с ярости на него осердился,
Которой силней ево объявился.
Жена стала лукавые оправдании приносить.
Он же, не взирая на то, стал бить.
Нарочно жена громко кричала,
Яко бы в тяжкую болезнь попала,
Жена[2] побои свои тем отвести.[3]
Муж же не стал бить болше,
Чтоб не учинить чего горше,
Еще о ней потужил,
Взяв под руки, на кровать положил.
Лишь краткое время тому миновало,
За то ж дело приниматца стала,
Обыкла ту пакость творить,
Не может до смерти забыть,
Хотя какое мученье принять,
А своих верных другов не оставлять.
Познав, муж в великом сердце стал,
Взяв веревкою к столбу привязал,

[1] Немало печалей ему припало
[2] Желая
[3] А своего мужа в печаль привести.

Бил, обходя кругом, не опасно,
Стороны кому зреть ужасно.
Ни на какие увещания и ласкательства не смотрел,
У столба смертелно замучить хотел
И от великого сердца прочь побежал,
А жену битую от столба не отвязал.
Стоит привязана горко возрыдает,
Никакой помощи сыскать не знает.
В то время любитель к ней пришел,
Уведая о нещастии сам не пошел,
Такую ж подругу к ней прислал,
Сам же в потаенном стоит.[1]
Просил ту, что как можно отвязалась
Да ему и в малое время показалась
Видя подруга у столба дивовалась,
Говорила: от кого тебе, сестрица, так сталось.
Жена: матка моя, муж насилу отстал
Бил немилостиво и к столбу привязал.
Благодарна, что ты не забыла,
В моей горкой печали посетила.
Подруга: я пришла вам сказать,
Друг ваш изволил здесь ожидать,
Просил, как можно отвязатца,
На одну минуту с ним повидатца.
Жена: сестрица моя любезная,
Будь в печали моей полезная,
Пожалуй, вместо меня, привяжися,
Муж не узнает, к тому почтися,
А я с моим другом ныне узрюся,
Пришед опять к столбу привяжуся.
Подруга: поди, сестрица, повидайся
Да поскорей домой возвращайся,
А я уж к тому подсчуся,
Сама к столбу привяжуся.
Стоит у столба уныла, невесела
И голову на сторону повесила.
Прибежав, думая, что жена стоит,
Кричал ей, она ничего не говорит,
Нарочно своего гласу не объявляет,
Затем что по тому узнает.
Кричал, осердился, всячески бранил,
С великою яростию прискочил,
Выня нож: долго ль мне себя крушить,

[1] *В списке Тихонравова:*

Сам же в потаенном месте стал.

Достойна, каналия, без носу жить.
И тако, что не ево жена не видал,
С великого сердца нос отрезал
И не мог более на нее взирать,
Брося нож, принужден бежать.
Жена ж как с другом веселилась,
Опять домой притти почтилась,
Узрела подругу, ничего не говорит,
Вся в руде, без носу стоит.
Матка моя, сестрица, утрудилася,
Что над тобою так для меня учинилося.
Подруга: ах, беда, хотела тебе услужить,
Да век буду без носу жить,
Муж твой прибежал, вместо тебя,
Отрезал ножом нос у меня.
Жена: радость моя, поди, лечися,
Поскорее от столба отвяжися,
Я буду опять тут стоять.
Теперь знаю, как поступать,
Твоей любви ввек не забуду,
До моей смерти служить буду.
Подруга без носу пошла, а жена себя привязала,
А нос будто обрезан, платком обвязала.
Пришел муж: ужли тебе, каналия, полно,
Теперь без носу, толь не болно.
Жена: добро, мой свет, не озлобь меня, самому опасно,
Что бьешь и мучишь напрасно,
Посмотри твое великое мученье,
За мою совесть мне благое получение,
Ты думал по злому совету,
Яко бы уже носу у меня нету,
Зри, вот стою теперь пред тобою,
Что отрезал нос, он со мною.
И толко сия есть вещь ужасная,
Тогда бил в сердцах напрасно.
Муж, видя с носом, в сумнении стал,
Того ж часу в ноги ей пал,
Признал: к ней что мое пред ней есть погрешение,[1]
Слезно приносил на то прошение,
Обещался впредь того не творить,
Конечно, с ней в постоянстве жить.
Жена: вот так-то за мое истязание,
Уж тебе явное показание.
Подруга же отошла без носу прочь,

[1] Признал: конечно, мое пред ней погрешенье.

Пришла к своему мужу в полночь,
Застала спяща на кровати, почтилась,
Подле его тихо ложилась.
И как будто ночью беда напала,
С полки вострая бритва упала,
Нарочно закричала, нос зажимает,
Пробудился муж, того не знает,
Спрашивает: что ты так испужалась
Или во сне страшно толь явилось
Жена: радость моя, бритва с полки упала
Да по моему носу попала,
Посмотри-тка, как прискочила,
Весь мой нос прочь отхватила.
Муж возжалел, не знает, что учинять,
Стал бритвой о пол бросать.
О каналия, от вас мне печаль припала,
Жена моя без носу стала.
И тако лукавые жены правы
Отошли от мужей с поносной славы.

22. О КУПЦОВОЙ ЖЕНЕ И О ПРИКАЩИКЕ

Во Флоренцы был некто купец знатный
И по всему богатству во граде славный,
Отягчен же такими приветами,
Гораздо стар своими летами,
А жена в совершенной младости процветала,
Того купца под видом возлюбляла.
Ведая[1] по ево богатству получала славу,
За ево ж старостию казался не по нраву.
В доме ж того купца много людей было,
Из которых она одного прикащика любила,
Сицевым к нему уязвлена люблением,
Горячность имела одним мнением,
Понеже был млад и собою красноличен,
Во многих разговорах политичен.
Случилось ему в особой каморе писать,
По их должности книги исправять.
Пришед госпожа смеялась, ему говорила,
Для одной толко курьезности чинила,
Что де, господин прикащик, исполняешь,
Какие писма один разбираешь.
Прикащику в то время было недосужно,
Имел особливое дело нужно,

[1] Ведаю

С сердца сказал ей: такие наветки,
Пишу, сударыня, бабьи увертки.
Не знал других речей к ответу болше сыскать,
Вскорости не осмотрелся то сказать.
Аще бы про любление ее к себе знал,
Никогда бы того слова не сказал.
Слыша госпожа рассмеялася ответу,
Та речь пришла гораздо ей в примету,
Дивилась, почему он бабьи увертки знает,
Конечно, не рассудя об них объявляет.
Принуждена свои увертки явно показать,
Может ли он о таковых признать.
Отошед от него, на кровать свою села,
Прикащика ж призвать к себе велела,
Яко бы за каким своим делом,
Посмеятца над ним в ответе смелом.
Призвав много говорила про [1] рево приходе,
Спрашивала записок о домашнем [2]
Между тем купец на двор въезжает,
Видя жена, что творить, не знает.
Сказала прикащику: поди спрятца за картину,
Скоро наведешь мне причину,
Хозяин помыслит, тебя возлюбляю
И наедине с тобою разговор продолжаю.
И так давно того признавает,
Всякими видами о нас умышляет.
Прикащик, устрашась того, не отговорилса,
Скоро за картину становилса.
По пришествии купца в дом жена прияла,
Где он был, весело спрошала.
Он же любя ей отвещал: на старости ходил гулять,
С протчими купцами стрелять.
Жена: ах, батка, как не стыдно говорить,
Тебе ль, старому, птицу застрелить,
Вот ты и в сию картину не попадешь,
Лишь толко мне смеху наведешь.
Купец: ах, дружок, не сделаю отмену,
Сквозь картину прошибу и стену.
Прикащик стоял за картиной, умирает,
Какой помощи сыскать не знает,
Говорил: явная поспела причина,
Сим сделается неотменная кончина.
И уж самая погибель [3] напасть,

[1] при
[2] *Добавл.:* расходе
[3] погибельная

Как уж ему в картину не попасть.
Воздохнул: жалко, теперь я познал,
Что про бабьи увертки сказал.
Купец тотчас ружье схватил,
Насыпал много дроби, зарядил,
Лишь курок спускает,
Жена прибежав, руку отнимает.
И тако выпалил, картину миновал,
В покое своем в самой угол попал.
Жена рассмеялась: эдак, сударь, похвалилса,
Мимо картины, в угол очутилса.
Купец: аще бы рукою мне не помешала,
То прямо б небось в картину попало.
Жена: не ваше, сударь, дело стрелять,
Вы обыкли товарами торговать.
Муж, любя жену, был весел,
Тот же час ружье свое повесил,
Сам же сел в коляску, отъехал со двора вон,
Твоему[1] другу отдать поклон.
Жена, проводя, кликнула прикащика к себе:
Ну, каковы бабьи увертки тебе?
Прикащик: в том воля со мной твоя,
А давешнего числа была смерть моя.
Жена: таковы-то твои наветки,
Небось никогда не знал бабьи увертки.
Поднесла ему вотки: выпей, не страшись,
Опять так говорить остерегись.
Когда ж выпил, а купец едет назад;
Ах, беда, как про тебя сказать,
Поди стань в большой шкаф,
Тем разве будешь прав.
Поставя, скоро ключами заперла,
Под сострахом на кровать легла,
Яко бы жестокой от болезни не может,
Никто же ей в том не поможет.
И узрев купец: ах, что ти сотворилось,
Каким видом в лице изменилась.
Повеждь мне, радость, без всякого препятства,
Можно достать лекарства.
Жена: государь мой, не надобно покупать,
Изволь в шкафе[2]
Муж взяв ключи, скоро поспешает, желает[3]

[1] Своему
[2] *Добавл.:* достать.
[3] Муж, взяв ключи, скоро поспешает;
Для жены шкаф отперетъ желает.

Она ж, видя во всякой смелости скочила,
Целовав, мужа руками схватила
И засмеялась: нарочно тебя, друга, пробовала,
Теперь верность в тебе познала,
Вижу, любишь меня нелицемерно,
Признала всю горячность твою неотменно
И мнила, что ты меня оставляешь,
Се же познала, всем сердцем возлюбляешь.
Муж радостен был, тому подивился,
Со своей женой всячески веселился.
Потом нелзя было отменить,
Поехал своего друга посетить.
Жена из шкафа прикащика свободила,
О тех же увертках все ему говорила
Он же от того страха великого,[1]
Не отверзает и языка.
Опамятовавшись, говорил: помилуй от сей напасти,
Уже одолели смертные страсти
Лутче б смертию ныне лишился,
Нежели таковых[2] страшился.
Конечно, ни в чем смерти быть не опасен,
Бывших же страстей зело ужасен,
По моей нынешней страшной примете,
Не обретаю мудрых увертoк в свете.
Взяв его за руку, отвела,
Во уготованную нарочно баню привела,
Приказала ему немедленно раздеватца,
Уже никакой страсти не пужатца.
Прикащик бедной много о том сумневался,
Не прекословил, донага раздевался,
Думал, сия де страсть третичная,
Вскоре приидет смерть публичная,
И она разделась безопасно, смело,
Обнажа наго свое тело.
Другим ничем в бане не веселилась,
Вместе со оным прикащиком мылась
И увидела мужа, — на двор въезжает,
И она скоро в бане двери отворяет,
Кричит: дружок, поди-тка, что делаетца с тобою,
Вить прикащик твой паритца со мной.
Муж прискочил, не знает, что сотворити
И того прикащика смертию уязвити,
Рассуждая о том быть дивно,

[1] велика
[2] *Добавл.:* видов

Как он вошел в баню к ней силно.
Когда ж ко дверям мужа призывала,
Взяв таз студеной воды, ево обливала
И рассмеялась: ах, старик сердитый, опознался,
Как не рассудишь, того не догадался.
Помыслил бы, можно ли тому учинитца,
Чтоб прикащику со мной в бане мытца.
Вам толко для потехи объявляешь,
Ты, знать, заподлинно признаваешь.
Муж: ах, душенка, нет, быть ничего,
Хотя б ты облила водою всего.
Мойся одна, некуды мне спешить,
Я велю кафтан свой посушить.
И тако муж простосердечной от дверей отошел,
В свои покои раздеватца пошел.
Жена говорила прикащику: теперь полно,
Уверток моих было доволно,
Можно вам ныне со мною любитца,
Могу всячески от мужа отговоритца.
Ничем пред тобою я не солгала,
Увертки свои вам явно показала.
Теперь кто и вправду хощет сказать,
Муж не будет никому веры нять.
Тебя довольно и сердечно возлюбила,
От всякого мнения мужа отвратила.
С того времени прикащик жил с нею любовно,
Веселился всячески, сколко угодно,
По смерти ж того купца сам хозяин стал,
Оную жену себе в замужество взял.
В житии же своем, сколко с ней не обращался,
А как присмотрел, уверток боялся,
Мнил: аще и ево не станет любить,
То не может ничем ее уловить.

23. О УВЕСЕЛИТЕЛЬНОМ ШУТЕ

У некоторого короля шут был,
Доволно ево и других людей веселил.
Какие он шутки чинил, всего описать,[1]
Токмо ниже писанные можно кратко показать.
При том же короле неки маршалок находился,
А в фрейлину девицу безмерно влюбился.
Колико ж не прилагал к ней трудов,
Но никак не мог к ней пристать в любовь,

[1] не описать

Ибо она того любления не искала,
Драгоценных предметов не принимала,
Лишь маршалок приискивал те документы,
Какие по нраву ей избрать предметы.
Чаял действительно в ней любовь сыскать,
Не получа того, не хочет от нее отстать.
От такого сумнения гулять в сад пошел
И, гуляючи, во оном одну ягоду клубнику нашел,
Которая прежде времени израсте,
Еще не мало к тому, когда поспе.
Дивился, зря на клубничную честь,
Не смел он без резону съесть,
Помыслил: хотя сия вещь и не драгоценна,
Иногда фрейлине покажетца бесценна.
Скинул с себя шляпу, ягоду накрыл,
Чтоб без него ее кто не сломил.
Сам же пошел фрейлину в сад звати,
Ту удивительную ягоду-клубнику показати,
Понеже никогда так не бывало,
Чтоб в то время клубника возрастала.
Когда же маршалок над тою ягодою стоял,
А шут между древ взирал.
Познал, что маршалок фрейлину пошел в сад звать,
Осмелился шут ягоду...
Вскоре во всем том поспешил,
Паки шут тою шляпою наложил,
Сам же пошел в свое место,
Дабы о нем никак было неизвестно.
Маршал пришел, фрейлине учтиво говорил,
В тот сад гулять ее просил:
Моя государыня, аще вам непротивно,
Сей момент обыскал в саду дивно:
Ягода-клубника уж поспела,
Еще она к тому время не имела.
Всячески оной ягоде дивилса,
Осмотреть же вам объявить почтилса.
Не повелите ль вместе в саду погулять,
Тую ж удивительную ягоду сорвать.
Фрейлина: ах, как так рано поспела,
Яко бы тому веры не имела,
Пойдем, сударь, хотя не съедим,
Но оной новой вещи поглядим.
Пошли двое, толко в сад поспешали,
Чтоб без них той ягоды не собрали.
Маршал говорил: вас трудить не смею,
Оная ягода под шляпою сею.

Буде ж повелите ту шляпу снять,
Ягоду ж клубнику сорвать.
Фрейлина радостно к тому прискочила,
Тую шляпу искусно схватила,
Ягоды под шляпою не сорвала,
Белую свою руку обмарала
И закричала она: каналия скверный,
Для чего так смеялся непотребно ей,[1]
Сейчас пойду королю слезно просить,
Уже ты стал меня поносить.
Отколь обыскал какое насмеяние[2]
Осмотрись на свои скверные потешки,
Не хощу я теперь ругательной насмешки.
Маршал сам на себя возымел гнев велик,
Сорвал с себя руками парик
И вынел шпагу, наголо обнажил,
Став на колени, фрейлине говорил:
Моя государыня, аще я виновен пред тобою,
Сотвори, что хощешь сей шпагой надо мной,
Я для вас нарочно шляпою накрыл,
По отходе моем некто пошутил,
Готов хотя какую клятву дать,
Никак о том не мог умышлять,
Прошу свой гнев в том отложить
И надо мною высокую милость явить.
Фрейлина: сие погрешение ваше прощаю,
Впредь же с вами обходиться не желаю.
Маршал с великим стыдом расстался,
О вымышлении догадался.
Ведая, некому чинить такую дерзость.
Он возымел к тому смелость,
Многими мерами старался сыскать,
Как бы того шута изгнать.
Ничем же его маршал не уязвил,
Ибо король того шута любил.
И тако оной маршал, сколко во фрейлине любви искал,
А шутовым умышлением посрамлен отстал.

24. О ТОМ ЖЕ ШУТЕ

После того у короля великой бал был,
Приказано шуту, чтоб всех веселил.
В то время было господ великое собрание,

[1] непотребный
[2] Отколь обыскал такое посмеятельство,
Проводишь меня в немалое поругательство.

Огромная музыка, також и танцование,
Шут же в шутках строил шутки дивны,
Многим при бале казались противны,
Причем велико делал неостерегательство,
Но и королеве от него прищло посмеятельство.
При окончании того бала, королева просила,
На того шута королю жалобу приносила,
Объявляла, чтоб учинить отмщение,
Великую мне и другим строил поношение.
Король призвал к себе, бранил,
Для чего он такие шутки творил.
Шут: милостивый король, не буду от того отлучен,
Чему я от природы обучен,
Я человек у вас шутливый
Не изволте на меня кто[1] быть гневливый
Сам меня на тот был призвали,[2]
Я по вашему приказу все прошутил,
Которое в моей школе обучил.
Король: я хотя сам того не видел,
Как королеву мою ты обидел.
Шут: знаю, сударь, давно,
По моим шуткам мне все равно,
Я от вас велику милость получаю,
А в своих шутках мало кого величаю.
Ныне приношу те же вести,
Королева попалась с протчими вместе,
К тому ж на таких людей гневливых
Не имею в моих книгах шуток особливых.
Королева сказала: ежель сему шуту здесь жить,
Ничем не буду себя веселить,
Повели ево в другую землю прогнать,
А я не хочу пред моими очами видать.
Король шуту сказал: отсель ни часа в моей земле не живи,
Поезжай, куда хочешь, там служи,
Я тебя прежде любил и хотел любить,
Да ты ж не так стал жить.
Шут: добро, господин король, отойду.[3]
Поехал, видя, нельзя жить болше
И купил земли-дерну в Полше,
У кого ж ту землю покупал,
От того для виду своеручное писмо взял.

---

[1] никто
[2] Сам меня на тот бал призвал,
Для увеселения шутить приказал.
[3] *Добавл.:* в другую землю найду.

Купя ту землю, положил в телегу, сел,
Опять к королю везти велел.
Приехав, по всему граду разъезжает,
Без короля ездить никто не запрещает,
Дивятца, какую шут смелость возымел,
А король ему здесь жить не велел.
Шут нарочно мимо короля езжал,
Дабы, видя то, к себе призвал.
Увидел король, осердился, приказал нагнать,
Немедленно шута к себе призвать.
Когда ж ево привели, свирепо король закричал,
Я ли тебе жить здесь не запрещал,
Ты слово мое пренебрегаешь,
По се время отсюду вон не выезжаешь,
Хощешь ли что я учиню над тобою,
Как противен явился предо мною.
Шут королю: прошу вас не погневатца,
А на меня напрасно не надлежит сердитца.
Я вашею милостию прежде был доволен,
А теперь, где хощу жить волен,
Здесь буду на земле прибывать,
И вы не прикажете напрасно изогнать.
Я ныне, окроме вашей, свою землю имею,
На оной жить неопасно смею.
Изволите смотреть, нечего рассуждать болше,
Сию землю нарочно я купил в Полше,
Теперь в телеге на ней сижу,
Моя земля, ни на кого не гляжу.
Объявляю, милостивый король, чести вашей,
Нет вам дела до земли нашей,
Чисто та земля в Полше продана,
Изволите смотреть и крепость дана.
Король прочет писмо дивовался,
О умышлении шутове рассмеялся.
Нелзя того никак отменить,
Велел паки шуту при дворе жить.

25. О ТОМ ЖЕ ШУТЕ И КУПЦЕ

Оной шут зело великой забавник был,
Своими шутками людей веселил.
За такое ево увеселение возлюбляли
И немалыми дарами одаряли.
Случилось ему для забавы во град сходить,
Зашел некоторого купца посетить,

Которой был в особом рассуждении[1]
Говорил: я к вам[2] нарочно посетил,
А признаваю, что вам не мил.
Купец: ах, сударь, за великую радость примаю,
Что вас у себя ныне видаю,
Прошу сесть облехчится,[3] скажу вам причину,
Какую несу на себе кончину,[4]
Помощи ж не могу сыскать,
Хощу вам толко сказать:
В одну трактирщикову жену влюбился,
Всего веселия оттого лишился.
Хотя со мной в любовь и склоняетца,
Но вельми мужа своего опасаетця,
Потом же строго болно поступает,
Во всяких случаях ее примечает,
Егда бы кто от того отрешил,
Тому б червонных подарил.
Он же рассмеялса: я мнил, какое дело,
Изволь, учиню вам небось смело.
Пойдем в тот трактир веселитца,
Она при муже со мной явитца,
Узришь, как я над ним пошучу,
А вам желаемую веселость сыщу.
Пошли в тот трактир забавлятца,
А паче ево шуток диковатца,
Трактирщик сказал: много я шутов знал,
А такого, как ты, не видал,
Зело человек удивительный,
Воистинну во всем увеселительный.
Прошу объявить, где ему учинить[5]
Или в таком разуме родился.
Шут: я не от природы моей, изволь пробовать,
Какие науки могу показать:
Вам какую прилежность не иметь,
А в окошечное стекло полчаса не проглядеть,
Хотя б сколко вам не остерегатца,
А станешь назад озиратца.
О великой заклад станем битца,
Того дела тобой не учинитца.
Трактирщик: полно, какая наука,
Погляжу три часа; не возметь меня скука.

---

1 *Добавл.:* превращался в немалом сумнении.
2 я вас
3 о мнении
4 кручину
5 Прошу объявить, где сему учился

Аще полчаса не могу взирать,
Повинен 25 червонцев дать.
Шут не спорил, от кровати подале отвел,
В стекло трактирщику смотреть велел,
Он же встал под окном, на улицу взирает,
А купец с женою на кровати опочивает.
Прошу, нарочно говорил, обернись, полно взирать,
Погляди на кровать, кто стал лежать.
Трактирщик: добро, что не скажешь,
Тем вить меня не обманешь,
А я уж обманы давно знаю,
Свое дело смело исправляю,
Хочетца тебе искусить меня,
А я возму скоро червонцы от тебя.
Шут: пожалуйста обернись назад,
Можешь о жене своей познать.
Трактирщик: шути, что хош,
А я исправляю себе тож,
Отколь тебе такая скука припала,
Или червонцев жаль стало.
И тако трактирщик полчаса зато[1] простоял,
Купец, видя то, с кровати встал,
Сел за стол, творил смехи,
Что сделали над ним помехи.[2]
Трактирщик отошел от окна, забавлялся,
Над шутом тем все смеялся,
Говорил: изрядные, брат, ты науки учинил,
Шут! дивлюса и я, брат, светил глазами,
А не мог видеть, что делалось пред вами.
Трактирщик: добро, вить я не в обмане,
А червонцы у меня в кармане.
Шут: ну ста ин прощай.
Опять к тебе[3] когда пущай,
Недаром червонцы вам попались,
С женою твоею повалялись.
Трактирщик сказал жене: ну, сколко они не мудровали,
А платить червонцы не миновали.
Жена: я было стала страшится,
Боялась червонцев лишится,
Нарочно на кровати крепко лежала,
А жаль червонцев, все сердце дрожало.

---

[1] у окна
[2] потехи
Добавл.: в гости

26. О ШУТЕ В ЖЕНСКОЙ КОМПАНИИ

В особливом месте была женская компания,
Доволно их и веселое собрание
Хотел же шут то изыскать,
Много ль в компани честных жен познать.
Вошед к ним, говорил: здравствуйте, жены избранные,
Тако ж и, ежели есть, непостоянные.
Которые постоянные шута благодарили,
За ево решпектованье хвалили.
Между ими три непостоянных вскочили,
Сами себя непостоянными объявили,
Закричали: как так поздравляешь,
Почему непостоянных жен признаваешь.
Шут отвещал: потому, когда б вы не говорили,
То б и вы избранные жены были,
Для чего же за благо принимали [1]
Свое постоянство принимали, [2]
Вас же непостоянных совести обличили, [3]
Почему, хотя вам и стыдно,
А непостоянство ваше видно.
И тако те жены пред всеми постыдились,
А шутовым поздравлением компании лишились.

27. О ШУТЕ Ж С СОСЕДИ

Выпросили соседи бани у него истопить,
Чтоб от грязи свое тело помыть.
Он же им топить, хотя и приказал,
А паритца пустить их не желал.
Когда ту баню совсем затворили, [4]
Сор же в бане с полку не подмели,
А сами за рубашками домой побрели.
Шут взял куль, баню растворяет
И тот сор на двор таскает,
Что он какого добра желает [5]
Спросили: господин, что учиняешь,
Из бани кулем сим таскаешь.
Шут сказал: великой угар признаваю,

---

[1] принимают
[2] охраняют
[3] *Добавл.:* я не требовал ответу, вы же вскочили.
[4] Когда ту баню совсем истопили,
Закрыв трубу, и двери затворили
[5] Что он делает, никто не знает,
Думают, что он им добра желает.

Того ради пар кулем сим таскаю,
Теперь вы в баню мою не ходите,
Опять когда по времени истопите,
Мне до утра будет носить,
Разве жена будет пособить.
Соседи толко на него рассмеялись,
О таком ево умышлении не догадались.
Тут же по отходе их сам не таскал,
А затворя баню сам паритца стал.
Умыслил жену свою опробовать,
Не ходит ли она без него...
Жена ж ево в то время в гостях была,
Без ево ведома вино и пиво пила,
Пришла домой, хотела то утаить,
Что б по выходе[1] из дому не объявить.
Шут единым обманом познал,
Жене своей тако слово сказал:
Удивительно мне, сам дома не бываю,
А, что жена делает, все знаю.
Жена мнила, что по отшествии из дому знает,
Сущую правду ему объявляет:
Виновата, государь, вас не спросилась,
Из дому на малое время отлучилась,
Воля твоя в том буди со мною,
Всяк час виновна пред тобою.
Муж сказал: вину твою ныне отпущаю,
Прежде чинить запрещаю.
И тако оный обманом жену устрашил,
В гости ж ходить без ведома лишил.

28. О ШУТЕ И О ЖЕНЕ ЕВО

В забавное время шута жена просила,
Немалое почтение чинила,
Чтоб он любовь к ней явил,
Какую по своей мысли обновку купил.
Слыша от нее такое прошение,
Учинил о той обновке решение:
Сделаю по прозбе обновку неотменную,
Принес купя плеть ременную,
Подает жене: охота твоя исполняетца,
Сия же обновка тебе вручаетца.
Видя жена: батка мой, сие обновление —

[1] о выходе

Моево здравия сокрушение.
Шут: я не виноват, ты сказала,
По моей мысли купить приказала.
Мне сия обновка старая разбилась,
Для того новая плеть купилась.
Ежели бы ты на свою прикрасу,
Велела купить тафты и атласу,
То б я ничем не противился боле
Учинять по твоей воле.
Сама в той вине ты осталась,
Для чего просить не догадалась.
И тако жена обновки не видала,
А новую плеть домой достала.
Боле о том шуте зде не писано,
Толко ево курьезность сыскана.

29. О ШУТОВОЙ БОЛЕЗНИ ЗУБНОЙ

Когда у него болели зубы,
Так же от того расселись и губы.
Много сам себя травами лечил,
Однако же облегчения не получил.
Лекарю же боитца о зубах сказать,
Понеже будет их рвать.
Умышлением своим догадалса,
Призвав лекаря, ничего не боялса,
Говорил ему: зубы мои стали ныть,
Не знаю, с ними как и быть.
Лекар сказал: Ничем болше нелзя унять,
Зубы надлежит рвать.
Шут нарочно лекарю объявляет,
Ото рвания зубов тем отрешает:
Господин лекар, кто не хощет в свете жить,
То мне может сам услужить.
У меня прежде лекар зубы рвал,
То я в беспамятстве всего искусал,
Отъел ему нос, тако ж и руку,
От чего понес смертную муку.
Того ради тебе не даю рвать,
Погибнешь напрасно, могу искусать.
Ежели вам можно отменить,
Другим чем-нибудь лечить.
Лекар слыша велми испужался,
Зубов рвать у него не принималса,
Прислал самой лечебной водки на зубы пускать,
От чего он здрав стал пребывать.

И тако умышлением своим рад отговорилса,
А и без того здрав явилса.

30. О ЕВО Ж БОЛЕЗНИ ГОЛОВНОЙ

Голова у него гораздо болела,
Волосами ж вся силно поседела.
За несколько дней лекаря приговорил,
Чтоб ево голову он лечил
С таким уговором: так здраву учинить,
Как от рождения своего быть.
Лекар лечить голову обязалса,
О седых волосах не догодалса.
И вылеча: изволите себя здрава признать,
Мне ж надлежащую за то плату дать.
Шут отвещал: нелзя, о сем договор заключил,
Головы моей лечением не окончил.
Я просил так себя лечить,
Как я от рождения своего мог быть:
Зри, в то время были волоса иные,
А на сей голове, видишь, седые.

31. О ИСКУШЕНИИ ИМ ЖЕ ЛЕКАРЯ

Вздумал он одного лекаря искусить,
Каков по своей науке искусен лечить.
Говорил в компании: много бы денег дал,
Аще бы своим корпусом здрав стал.
Лекар: я тебе в том услужу,
Мое искусство и науки покажу.
Вот я таково та покойника лечил,
Он от меня великую ползу получил.
Шут: благодарен, хорошу науку знаешь,
Что покойных исцеляешь,
Посему великое искусство сыскал,
Того покойного во гроб вогнал.
Ты бы тем предо мною похвалилса,
Кто ныне здрав вами исцелилса.
И тако лекар хотел ему услужить,
Но при всей компании принужден себя пристыдить.

* *
*

ФАЦЕЦИИ ПО РУКОПИСИ А. В. КОКОРЕВА[1]

1. О ДВОРЯНАХ И О КРЕСТЬЯНАХ

Дворянин с крестьянином в компании сидели
И между собою разговор имели,
Причем дворянин мужика спросил,
Что б он о том ему объявил,
В которое время мужики веселятца,
Пьют, гуляют и прохлаждаютца.
Мужик ответствовал: господин, изволь знать,
Я вам о том могу сказать.
Мы всегда более зимою гуляем,
Пьем, едим и всячески себя забавляем,
Отложим все наши заботы,
А летом у нас великие работы.
Дворянин сказал: я думал, какая фигура,
Ажно в нем свиная натура.
Свинья, когда наелася, то веселитца,
Выставя брюхо, в грязь валитца.
Крестьянин: ну, господин, нас свиньями почитаешь,
Ты в кое время увеселяешь,
Хощу о том знать,
Когда изволиш мне сказать.
Дворянин: мы дождемся весны,
Тогда станут дни красны,
В то время весело гуляем,
Всячески забавами себя забавляем.
А паче в маии месяце забава велика,
Мало бывает тогда толика.
Мужик: ахти, господин, сие и мне мило,
В маие месяце веселитца и моя кобыла,
Так же как и вы себя забавляет,
Очень весело по полю гуляет
И поет часто: ги, ги, го, го.
Сие пение паче всего.
Тако дворянин над мужиком смеялся,
А сам от него в стыде остался.
Притча. С богатым не надлежит тягатца,
А с дураком словами распространятца.

24. О КУРЬЕЗНОМ ШУТЕ

Был шут, негде в гостях ночевал,
Другой же гость спать ему мешал,

---

[1] *Варианты к №№ 1, 27 подведены по списку Ундольского № 904, к №№ 24, 26, 30—по списку Государственного Исторического музея № 2857.*

Отчего он ушел от него в особливую комнату[1]
И лег спать один на лавку,
Яко бы давно уже опочивает,
Нарочно товарища своего ожидает,
Хорошенка чем-нибудь попугать,
Не мешал бы ему ночью спать.
Вошел, спяща скоро обыскал,
Кто тут спит спрошал
И кричит громко: кто тут.
Слыша, отвещал ему: я, шут.
Видя то, сказал: спи, к тебе не пойду,
Особливое место здесь найду.
Тут же с лавки слез, почтился,
Скоро на другое место ложился.
Нашел гость, спрашивает, кто здесь спит.
Не мешай, шут один лежит.
Испужался гость и думает там де шута я нашел,
А другой сюда отколь пришел.
Стал гость еще места искать,
Оченно болно хотел спать.
А шут на колени тихо становитца,
Влез на стол паки ложитца.
Гость пришед к столу говорит: кто?
Отвещал шут: я вить, не кто.
От страху гость вельми испужался,
О многих вить шутах удивлялся.
Рассуждает: конечно, чорт лежит тута,
Объявляет себя, вместо шута,
Пойду, авось либо получу отвагу,
Таперь на теплую печь лягу.
Как скоро возможно, шут ускорил,
На печь лечь прежде поспешил.
Видя гость: отойди, нет места,
И шуту спать одному тесно.
Вскоча тот гость от печи побежал,
А сам зело громко закричал:
Бегите, бегите, что учиняетца,
Вместо шута, чорт обращаетца.
И мне уж пришло не в примету
Нашел спящих шутов бесчету.
Разбудились протчие гости, свечу зажгли,
Все в ту комнату пришли,
Обрели одного шута спяща,
В великом сне отягчена лежаща.

---

[1] каморку

Говорили ему: как ты многих видал,
Видишь, один толко шут лежал.
За велико дурачество все вменили
И немалым стыдом в компании пристыдили.
Тем шут гостя отогнал,
Болея спать не мешал.

24. О ХВАСТУНЕ

Неки хвастун по улицам гулял,[1]
Не имея лошади, в руках плеть носил,
Якобы лошадь имеет себя объявлял
И на оной всякой день шпоры надевал.
Признавал шут хвастливые поступки,
Вздумал над ним устроить шутки.
Превеликий кувшин с ним поверстались,[2]
Разбить тот скоро догадались,[3]
Велел против хвастуна кувшин разбить.
Жена, взяв кувшин, с ним поверсталась,
Разбить тот скоро догадалась.
Закричала: государи мои, раздавил
И кувшин с молоком разбил.
Набежало доволно людей, ево догнали,
Кругом великие кучи стали,
Говорили: заплати, господин, почто разбиваешь
И очинно бодро на лошади разъезжаешь.
Можно вам лошадь одержать,
А не так как скоро бежать.
Хвастун: умилосердись, не разбивал николи
И от роду не езжал на лошади.
Люди говорят: как вам говорить не стыдно,
Вся лошадиная исправность видна.
Никогда б при себе лошади не имел,
Кто б носить плеть и шпоры велел,
Хотя вам в том судитца,
Лутче уже помиритца.
И как до суда недопускать,
А сей бабе за молоко денги отдать.
Так хвастун сам себя обвинил,
Последние ей денги заплатил.
Болея не стал в шпорах ходить,
Не хотел уже в стыде быть.

---

[1] ходил
[2] Превеликой кувшин молока наливал.
[3] Жену нарочно для того посылал.

26. О ЛГУНЕ

В компании лгун случился с шутом сидеть,
Свои лукавые разговоры иметь.
Шут ведая то, лгать не мешал,
Еще некоторых речей от него ожидал.
И между лживыми речами солгал,
Такое неслыханное слово сказал:
В наших де местах такая капуста родитца,
Под листом от дождя сто человек становитца.
Шут, слыша, говорил: сие не диво, у меня коза была,
Которая быка да корову родила.
Лгун сказал: неправда, того не чинитца,
Дабы от козы корова и бык родитца.
Шут: я на тебя глядя сказал,
Для того что ты вить солгал.
Со лгуном не надлежит правдиво поступать,
По ево лжи надо самому лгать.
Невозможно с богатым распознать,
Когда хвастливы станет повирать.
Слыша то, лгун шута постыдился,
И от всей компании в посмеятельстве явился.

27. О ДРУГОМ ЛГУНЕ

Другой лгун такой лукавой был,
У кого в гостях, то всегда свою вотку хвалил.
А никто у нево таковой не пивал,
Тако ж и в гостях в доме не бывал,
Сам по гостям охотник гулять,
А к себе людей не обык звать,
И ведая о том, шут нечаянно пришел,
Того лгуна дома нашел,
Говорил: не погневайся, пожалуй, на меня,
Приходом моим не утрудил ли тебя,
Да, истинну сказать, по охотке
Выпить хвалной вашей вотки.
Лгун знает, что вотки нету,
Не знает, как дать и ответу.
Сказал: прошу не погневатца, жены дома не застал,
К моему другу за нуждой послал,
Рад бы сам повеселитца с тобою,
Да от погребца унесла ключ с собою.
Шут о том давно знает,
Не токмо вотки и простово не бывает,

Говорит: нет, ничево, государь, я не знаю,[1]
Все[2] у себя в доме видеть желаю,
Любимого питья испить,
Которое всякой день можно любить,
К тому ж самое лекарственное охотно пить,
А на кушанье позывает, а не пить.[3]
Лгун помыслил, конечно, что отрадное,
Есть у него питие виноградное,
Думал ложью от своей водки отговоритса,
Притти к нему в дом не обленитца.
Шут, чесно ево встретя, за стол посадил,
Отрезав хлеба с солью поставил
Вынев из шкафа рюмку, воды наливает,
Выпив сам, того лгуна поздравляет,
Потом подносит ему учтиво,
Приняв рюмку, выпил неспесиво.
Шут: пожалуй, закуси с солью хлеба,
На сию вотку очинно потребно.
Видя лгун то, ничего не говоря, догадался,
Что шут над ним посмеялся.
Принужден еще ту воду пить,
Стыдитца о ней шуту объявить.
Шут говорил нарочно: каково мое любезное,
Я мню, к лекарству самое полезное,
Оно во всякое кушанье употребляетца,
Без него оное никогда не сотворяетца,
Сие питье слывет зело здоровое,
Богаты и убози примают за благое.
Я им доволен: не бываю с утратами,
По всяк день носят мне ушатами,
Никаких питей так не возлюбляю,
Оное всякой день в пищу употребляю,
Единым сказать в той примете:
Не может человек прожить без него в свете.
Лгун же не знает от стыда, что творити,
Как бы от него вон выйти.
Объявляет: благодарствую за ваше приятство,
Могу отдать сам благодарство.
Шут: прошу не погневатца, другова бы сыскал.
Да от моего погребца ключ потерял.
Отчего лгуна в великой стыд претворил,
Уж своей вотки не хвалил.

[1] я знаю
[2] Вас.
[3] И кушанье позывает опетит.

Хотел пред шутом солгать,
Он же почтился на посмеятельство дать.
Более о шуте здесь не писано,
Толко его куреозности слышано.

30. О ДВУХ ТОВАРЫЩАХ

Два товарыща некоторые были
И между собой дружно жили,
Толко из них один лакомка был,
Всегда лутчее кушанье любил.
Когда сядут кушать вмести,
То у лакомки те и вести,
Что б хорошего кушанья не покинуть,
Как можно пред себя подвинуть,
В одно время кушать сели,
Никакого сумнения не имели.
Лакомка на товарыща взглянул
И кушанья блюдо пред себе повернул
И сказал: так сие блюдо вертитца,
Как легкое колесо катитца.
Видя товарыщ лукавые его догатки, —
Устроил и над ним свои ухватки,
Сказал: великую ты науку знаешь,
Что наилутче кушанья хлебаешь.
Добро, вот и я в свои книги погляжу,
Какова есть моя наука покажу.
Лакомка отвещал: напрасно тебе мнитца,
Сие блюдо в пример колесу вертитца.
Товарыщ взял блюдо без всякого норову,
Хватил ево и с кушаньем в голову,
Всего салом кругом обмарал,
А голову довольно проломал.
И сказал: видят ли твои гласки,
Так у нас ездят громко в коляски,
Не прогневайся, что в голове засвербелось,
Я не сердит, так как колесо вертелось.[1]
Ты, брат, хлебая вмести щи,
Другова кушанья один не ищи.
Тако лакомке стало и стыдно,
А товарыщу не обидно.

[1] Я не сердит был, как колесо вертелось.

Сводная таблица стихотворных фацеций

Сборник А. В. Кокорева	Сборник Государственного Истоонческого музея № 2857	Сборник Тверского музея № 147	Сборник Тихонравова № 562
			1 О лакомке
1 О дворянине и мужике	1 О дворянине и мужике	—	2 О дворянине и мужике
2 О прохожем человеке	10 О прохожем человеке	—	3 О прохожем человеке
8 О женах	13 О лукавой жене	—	4 О лукавой жене
4 *Заглавия нет*	14 О крестьянине и жене	—	5 О крестьянине и жене
31 О воре	1 О воре	—	6 О воре
—	2 О мошеннике	—	7 О мошеннике
32 О нищем	3 О нищем	—	8 О нищем
28 О невеже	11 О невеже	—	9 О невеже
33 О другом нищем	4 О втором нищем	—	10 О втором нищем
7 *Заглавия нет*	5 О мужике	—	11 О мужике
3 *Заглавия нет*	12 О дворянине и мужике	—	12 О дворянине и мужике
9 О глупой жене	7 О глупой жене	—	13 О глупой жене
6 *Заглавия нет*	12 О бесстыдном	—	14 О бесстыдном
14 *Заглавия нет*	15 О некрасноличной девице	—	15 О прекрасной девице
13 О девицах	16 О другой девице	—	16 О девице другой
5 О господине и слуге	17 О господине и и мужике	—	17 О господине и слуге
10 О старом муже и о жене	19 О старом муже	—	18 О старом мужике
31 О воре	20 О воре	—	19 О воре
11 О муже умном и жене непостоянной	21 О непостоянной жене	—	20 О непостоянной жене
22 О купцовой жене и о прикащике	22 О купцовой жене и о прикащике	20 О купцовой жене и о прикащике	21 О купце, жене и прикащике
15 *Заглавия нет*	23 О увеселительном шуте	21 О увеселительном шуте	22 О увеселительном шуте
16 О том же шуте	24 О том же шуте	22 О том же шуте	23 О том же шуте
17 О шуте и о купце	—	23 Об оном шуте и купце	24 О том же шуте
18 *Заглавия нет*	25 О шуте в женской компании	24 О шуте в женской компании.	25 О шуте в женской компании
19 О шуте и о соседе	—	25 О шуте с соседом	26 О шуте с соседи
20 О шуте и о жене его	26 О шуте и о жене его	26 О шуте и о жене его	27 О шуте и жене ево
21 О шуте и лекаре	27 О шутовой болезни зубной	27 О шутовой зубной болезни	28 О шутовой болезни зубной
22 О шуте, как он лекаря обманул	28 О своей болезни головной	28 О своей болезни головной	29 О ево ж болезни головной
23 О шуте и о лекаре	29 О искушении им же лекаря	29 О искушении им же лекаря	30 О искушении им же лекаря
24 О курьезном шуте	30 О нем же шуте и госте	30 О нем же шуте и госте	31 О нем же шуте и госте
25 О хвастуне	31 О хвастуне	21 О хвастуне	32 О шуте и о хвастуне
26 О лгуне	32 О лгуне	32 О лгуне	33 О хвастуне
27 О другом лгуне	—	33 О другом лгуне	
30 О двух товарыщах	—	—	

Сводная таблица стихотворных фацеций

Сборник Лукашевича № 1343	Погодинский сборник № 1777	Сборник Ундольского № 904
2 О дворянине и мужике	9 О дворянине и мужике	9 О дворянине и мужике
3 О прохожем человеке	10 О прохожем человеке	20 О прохожем человеке
4 О лукавой жене	13 О лукавой жене	14 О лукавой жене
5 О крестьянине и жене	14 О крестьянине и жене	—
6 О воре	1 О воре	20 О воре
7 О мошеннике	2 О мошеннике	—
8 О нищем	3 О нищем	3 О нищем
9 О невеже	11 О невеже	11 О невеже
10 О втором нищем	4 О втором нищем	4 О втором нищем
11 О мужике	5 *Заглавия нет*	5 *Заглавия нет*
12 О дворянине и мужике	6 О дворянине и мужике	6 О дворянине и мужике
13 О глупой жене	7 О глупой жене	7 О глупой жене
14 О бесстыдном	12 О бесстыдном	12 О бесстыдном
15 О некрасноличной девице	15 О спесивой девице	15 О спесивой девице
16 О другой девице	16 О другой девице	16 О другой девице
17 О господине и слуге	17 О господине и слуге	17 О господине и мужике
19 О старом муже	19 О старом муже	19 О старом муже
20 О воре	20 О воре	20 О воре
21 О непостоянной жене	21 О непостоянной жене	21 О непостоянной жене
22 О купцовой жене и приказщике	22 О купцовой жене и приказщике	22 О купцовой жене и приказщике
23 О увеселительном шуте	23 *Заглавия нет*	—
24 О том же шуте	—	—
25 О том же шуте и купце	24 О шуте и о купце	—
26 О шуте в женской компании	25 *Заглавия нет*	—
27 О шуте и о соседе	26 *Заглавия нет*	—
28 О шуте и о жене его	27 О шуте и о жене его	28 О шуте и о жене его
29 О шутовой болезни зубной	28 О шутовой болезни зубной	29 О шутовой болезни зубной
30 О своей болезни головной	29 О шуте, как он лекаря обманул	30 О своей болезни головной
31 О искушении им же лекаря	—	31 О искушении им же лекаря
—	30 О курьезном шуте	32 О нем же шуте и о госте
—	31 О хвастуне	33 О хвастуне
—	—	34 О лгуне
—	32 О другом лгуне	35 О другом лгуне
—	8 О двух товарыщах	8 О двух товарыщах

Подписано к печати 19/IV 1941 г. Рисо № 1479—648 А-32304.
Объем 17¾ печ. л. 17,75 Уч.-изд. л. 18,8. Тираж 5000 экз. Цена книги 12 руб.

17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР, тресте „Полиграфкнига", Москва, Шлюзовая наб., дом № 10.
Заказ № 2755.